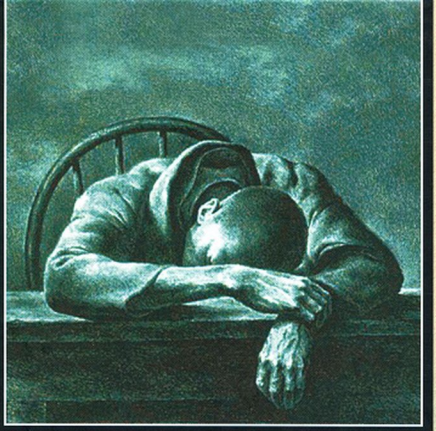


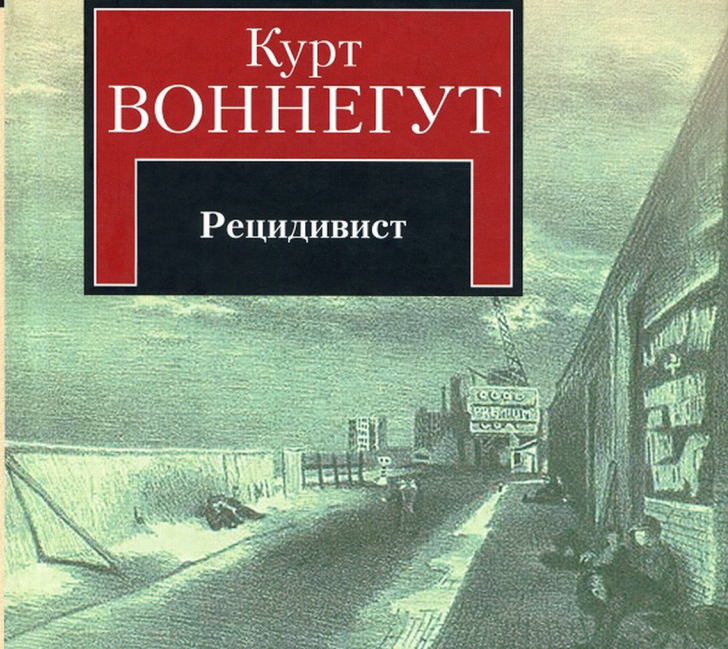
Курт ВОННЕГУТ



КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Курт ВОННЕГУТ

Рецидивист



Рецидивист
Курт Воннегут

Аннотация
Untitled
Пролог
Рецидивист
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
Эпилог
Именной указатель

Аннотация

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)
В73

Kurt Vonnegut
JAILBIRD

Печатается с разрешения издательства The Bantam Dell Publishing Group, a division of Random House, Inc. и литературного агентства Andrew Nurnberg.

Воннегут, К.
Рецидивист: роман / Курт Воннегут; пер. с англ. А. Зверева.
— М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. — 317, [3] с.

ISBN 978-5-17-062516-1 (ООО «Изд-во АСТ»)(С.: КнВВ(нов.))
ISBN 978-5-403-02530-0 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)
Серийное оформление А. А. Кудрявцева
Компьютерный дизайн Э. Э. Кунтыш

«Рецидивист» — роман, в определенной

степени знаковый для позднего творчества Курта Воннегута — писателя, чье владение фирменным сказовым стилем достигает истинного совершенства.

Перед вами — умная, тонкая и блистательная книга, обладающая, помимо всех вышеперечисленных, еще одним достоинством, — здесь Воннегут продолжает историю одного из самых обаятельных героев своей ранней прозы.

© Kurt Vonnegut Jr., 1979
© Перевод. А. Зверев, наследники, 2009
© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009

Курт
ВОННЕГУТ

Рецидивист

Роман



издательство
МОСКВА

Бенджамену Д. Хитцу,
Близкому другу моей юности,
Шаферу у меня на свадьбе.
Бен, помнишь, ты
Рассказывал
Про замечательные книжки,
Которые прочел.
И мне казалось, что я тоже
Читаю их вместе с тобой.
Ты выбирал самые лучшие
Книжки, Бен,
А я корпел над химией.
Как долго, долго мы не
Видались.

Пролог

Да — Килгор Траут снова тут. Не вышло у него на воле. И нечего стыдиться, что не вышло. Много есть хороших людей, у которых на воле не выходит.

Сегодня (16 ноября 1978) получил я утром письмо от незнакомого молодого человека, Джон Фиглер его зовут, он из Краун-Пойнт, штат Индиана. Краун-Пойнт вот чем знаменит: в самую Депрессию[1] из тамошней тюрьмы совершил побег Джон Диллинджер, ограбитель банка. Диллинджер сбежал, угрожая охране пистолетом, который вылепил из мыла, покрасив гуталином. Охрану несла женщина. Упокой, Господи, ее душу. И его тоже. Подростком я почитал Диллинджера, словно Робин Гуда. Похоронен он неподалеку от моих родителей и от Алисы, моей сестры — она Диллинджером еще больше меня восхищалась, — на кладбище Краун-Хилл в Индианаполисе. Там же, на холме — самая высокая точка в городе,

[1] Примечания: 1

Так называют в Америке период глубокого экономического кризиса, начавшегося с осени 1929 г. *(здесь и далее примечания переводчика).*

— лежит Джеймс Уитком Райли, Кукурузный бард.[2] Мама, когда девочкой была, этого Райли хорошо знала.

Диллинджера в конце концов прикончили агенты Федерального бюро расследований. Прямо у всех на глазах и пристрелили, хоть он не сопротивлялся, даже не пробовал увернуться от ареста. Поэтому, сами понимаете, ФБР я уж давно уважать перестал.

Джон Фиглер законов не нарушает, тихий такой школьник. Пишет, что прочел почти все мои книжки и вот понял теперь, какая у меня самая главная мысль, в каждой книжке она появляется, начиная с первой. Он ее, мысль эту, так сформулировал: «Обманет все, любовь сгорит, но благородство победит».

По-моему, хорошо сказано — и точно. Хотя не по себе мне нынче, на шестой день после того, как пятьдесят шесть стукнуло, — выходит, зря я мучился, книжку за книжкой сочиняя? Отбил бы телеграмму в семь слов, и все дела.

Нет, правда.

---

[2] Примечания: 2

Джеймс Уитком Райли (1849–1916), плодовитый стихотворец, автор популярных в свое время стихотворений и баллад, широко использующих особенности выговора жителей Индианы, где Райли прожил всю жизнь.

Только опоздал Фиглер, прозорливец юный. Потому что я почти уже закончил новую книжку — вот эту.

В ней есть второстепенный персонаж по имени Кеннет Уистлер, а за этим персонажем стоит один человек из Индианаполиса, он принадлежал к тому же поколению, что мой отец. Звали его Пауэре Хэпгуд (1900–1949). О нем иногда упоминают в книгах по истории рабочего движения: известен он тем, что ни на какие уступки не соглашался, участвуя в забастовках, в маршах протеста, когда казнили Сакко и Ванцетти, ну и так далее.

Сам я его видел только раз. Мы вместе пообедали в ресторане Стиджмейера — это центр Индианаполиса, — когда я вернулся со второй мировой войны, из Европы то есть; был еще мой отец и его младший брат, дядя Алекс. В июле 1945 года это происходило. Первую атомную бомбу еще не сбросили на Японию. Ее сбросят примерно через месяц. Подумать только!

Мне было двадцать два, и я еще не снял форму — рядовой, обученный, а вообще-то до войны я болтался в Корнелльском университете, химией овладевал. Перспективы передо мной открывались туманные. Своего бизнеса у нашей семьи не было, так что не пристроишься. Отцовская

архитектурная мастерская закрылась. Отец без гроша в кармане сидел. Ну, а я, несмотря ни на что, собирался жениться, уже и помолвка состоялась, — я вот что думал: «Это кто же, кроме жены, со мною в постель ляжет?»

Мать моя — в других своих книгах я уж столько раз про это писал, до тошноты надоело, — отказалась жить дальше, поскольку теперь невозможно сделалось остаться тем же, чем она была, когда выходила замуж, — одной из богатейших женщин в городе.

Тот обед устроил дядя Алекс. Они с Пауэрсом Хэпгудом вместе учились в Гарварде. Гарвард будет все время появляться в этой книге, хотя сам я там не учился. Я там преподавал впоследствии недолго и ничем не отличившись, — а дома у меня как раз в ту пору творилось черт знает что.

Как-то рассказал я про это одному из моих студентов — что у меня дома черт знает что творится.

А он выслушал и говорит: «*Да уж видно*».

Дядя Алекс в политике такой был консерватор, что, думаю, ни за что не стал бы обедать с Хэпгудом, если бы Хэпгуд не учился когда-то с ним вместе в Гарварде. Хэпгуд был профсоюзный деятель, вице-президент местного отделения

КИО.[3] А его жену Мэри Социалистическая партия выставляла кандидатом в вице-президенты Соединенных Штатов, много раз выставляла.

Знаете, когда я впервые в выборах участвовал, я проголосовал за Нормана Томаса и Мэри Хэпгуд, хотя понятия не имел, что она у нас в Индианаполисе живет. Да, а победили Франклин Д. Рузвельт с Гарри С. Труменом. Я тогда думал, что я настоящий социалист. Считал, что социализм для простого человека — то, что нужно. А сам-то я, рядовой, обученный, из пехоты, — сам я кто таков, если не простой человек?

Поговорить с Хэпгудом решили оттого, что я сказал дяде Алексу: может, когда армия от меня отвяжется, попробую устроиться на работу в профсоюз. В то время профсоюзы были самым замечательным орудием, чтобы от предпринимателей мало-мальской экономической справедливости добиться.

Дядя Алекс, должно быть, что-нибудь в таком духе подумал: «Боже правый! Против глупости даже боги бессильны. Ладно, пусть свои бредовые идеи по крайней мере хоть с гарвардцем обсудит,

---

[3] Примечания: 3

Конгресс Индустриальных Организаций — радикальное профсоюзное объединение 30-х годов.

не с кем попало».

(Насчет глупости, перед которой бессильны боги, сказал Шиллер. А Ницше поправил: «Против *скуки* боги бессильны».)

Ну, уселись мы с дядей Алексом у Стиджмейера за столик рядом со входом, заказали по пиву, ждем, когда отец и Хэпгуд появятся. Они порознь пришли. А то, если бы решили по дороге встретиться, им бы разговаривать друг с другом было не о чем. К тому времени мой отец утратил всякий интерес к политике, истории, экономике и прочему такому. Все повторял, что уж больно много болтают. Идеи для него не так уж много значили, вот ощущения — Другое дело, особенно когда что-нибудь в руках держишь. Лет двадцать спустя, умирая, он все говорил: жаль, что горшечником ему стать не довелось, сидел бы дни напролет да глину пальцами мял.

Я об этих его настроениях жалел — у него ведь такое хорошее образование было. Мне казалось, знания свои, свое умение он просто выбросил за ненадобностью — ну, как солдаты ружье и ранец выбрасывают, когда отступление.

А вот другим это в нем нравилось. Его в городе вообще очень любили, особенно руки его, на удивление талантливые. И еще он всегда был

такой простодушный, обходительный такой. Любой мастер-ремесленник для него просто святой, хоть на самом-то деле среди них много попадалось озлобленных и глупых.

Кстати, дядя Алекс руками ничего не умел делать. И мать моя тоже. Даже завтрак приготовить не могла. Или пришить пуговицу.

Зато Пауэрс Хэпгуд умел копать уголек. Этим и занимался после Гарварда: его однокашники кто по отцовским фирмам устроились, кто в маклерских конторах, банках там и так далее, а Пауэрс уголек копал. Потому как думал, что настоящий друг рабочих сам должен быть рабочим, причем настоящим.

В общем, должен сказать, что отец, когда я его узнал как следует, то есть когда сам стал более или менее взрослым, был славный человек, только от жизни он совсем отстранился. А мать уже капитулировала и больше не значилась в нашем семейном расписании. И в принципе, с самого начала меня сопровождала атмосфера неудачи. И стойкие ветераны вроде Пауэрса Хэпгуда меня, в общем, всегда восхищали, а также и другие, из тех, кому все еще ужасно хотелось в точности узнать, что же это такое вокруг происходит, и кому все еще не занимать было проектов, каким

бы образом уцепить за хвост удачу, когда неудача уже вцепилась зубьями удаче в хвост. «Раз намереваюсь и дальше жить, — думал я, — лучше вот с таких пример брать».

Однажды захотелось мне написать рассказ про то, как мы с отцом на небесах встретились. С такого эпизода, кстати, начиналась эта книжка в одном из первых вариантов. В рассказе, надеялся я, выйдет так, что я ему самый настоящий друг. Только все в этом рассказе пошло вкривь да вкось, как часто бывает, если описываешь людей, которых хорошо знал. Там, на небесах разве нет? — каждый может для себя выбрать какой хочет возраст, если только до этих лет на земле дожил. Допустим, Джон Д. Рокфеллер, который «Стэндард ойл» основал, может хоть мальчиком быть, хоть стариком — девяносто восемь ему. И царь Тутанхамон тоже, но чтобы не старше девятнадцати оказался, и так далее. Как автор рассказа я расстроился из-за того, что мой отец решил на небесах быть девятилетним.

Я-то захотел, чтобы мне сорок четыре было — мужчина почтенный, но вполне еще привлекательный по части секса. Из-за отца я расстроился, потом растерялся, потом рассердился. В девять лет он был прямо обезьяна какая-то, вроде лему-

ра, что ли, — буркалы да лапы, а более ничего. Из карманов блокноты какие-то торчат, карандашей везде понапихано, всюду за мной таскается и картинки рисует — что ни увидел, тут же и зарисовал, а я еще рисунками этими восхищаться обязан. Познакомишься с кем, тут же спрашивают: что это за странный такой мальчик? — и приходится отвечать честно, потому как на небесах не соврешь: «Это мой отец».

Всякая шпана вечно его изводила, поскольку он на других детей не похож. Не нравятся ему ни игры детские, ни разговоры. А шпана загонит его в какой-нибудь угол, штанишки с него долой, трусики и всю одежку прямиком туда, где адское пламя вырывается. Углубление такое вроде колодца, только ни ведра нет, ни ворота. А как через край перегнешься, слабенькие вскрики доносятся откуда-то с глубокого, глубокого дна, Гитлера слышно, и Нерона, Саломею, Иуду и прочих таких же. Так вот и вижу Гитлера: уж до полной агонии дошел, а тут ему еще то штаны отцовские на голову сваливаются, то трусики.

Каждый раз, как с него штаны сдирали, отец, задыхаясь от ярости, бежал ко мне. У меня, понимаете, друзья новые появились, таким воспитанным, приятным человеком меня находят,

а тут, откуда ни возьмись, папашенька: ругается на чем свет, и мошонка его крохотная туда-сюда, туда-сюда, ветром ее раскачивает.

Я матери жалуюсь, а она: знать, мол, о нем ничего не знаю, да и о тебе тоже знать не хочу, ей, видите ли, всего шестнадцать лет сейчас. Так что с папашей мне одному пришлось управляться а как управишься, разве прикрикну, если уж совсем доведет: «Папа, черт бы тебя подрал, вырастешь ты когда-нибудь?»

И так далее. Как ни верти, очень уж пессимистичный получался рассказик, ну, я его и бросил.

Да, так вот, был июль 1945 года, и входит мой отец в ресторан Стиджмейера — еще очень даже живой. Было ему тогда примерно как мне сейчас: овдовев, он не проявлял желания снова жениться или связь какую-нибудь завести, даже и не думал. Отпустил усы, теперь и у меня такие же. А в ту пору я всю растительность сбривал.

Подходили к концу времена жутких испытаний, то есть планетарный экономический коллапс, за которым последовала планетарная война. Воевавшие повсюду возвращались домой. Вы думаете, папа мой уж наверняка об этом хоть вскользь помянул, о том, что новая эпоха наступает? А вот и нет, ни словом ни обмолвился.

Совсем про другое он говорил, да так интересно, — про то, что с ним нынче утром приключилось. Ехал он на машине и видит: старый дом сносят. Остановился, развалины разглядывает. И замечает, что рама парадного из какого-то особенного дерева сделана, из тополя, наверное. Могучая такая рама, фута четыре в длину, а планки толщиной дюймов в восемь. Так ему рама эта понравилась, что попросил он работяг: отдайте, мол. Гвоздодер у них одолжил, все до последнего гвоздики повытаскивал, какие нашлись.

Повез он эту раму на лесопилку, пусть реек из нее понаделают, а сам думает: потом решу, как эти рейки использовать. Ему-то больше всего на волокно взглянуть хотелось, уж больно дерево необычное. Пильщики спрашивают: гвоздей-то точно не осталось? Ни одного, клянется. Только гвоздь там все-таки торчал. У него шляпка отлетела, потому и не виден. И как циркулярная пила на гвоздь этот наткнулась, такой раздался звук, что уши лопаются. Ни назад, ни вперед, а от ремня, который пилу удерживал, дым так и валит.

Пришлось папе замену зубцов оплатить и ремень новый, да вдобавок говорят ему: больше чтоб никогда со старыми деревяшками сюда не заявлялся. Но все равно, очень ему все это по-

нравилось. Вроде притчи получилось, причем мораль всякому видна.

Мы с дядей Алексом что-то без особого увлечения историю эту выслушали. Как все отцовские истории, очень уж она вышла гладкая да законченная, вроде яйца в скорлупе.

Ну, заказали мы еще пива. Через несколько лет дядя Алекс станет одним из учредителей Анонимного Антиалкогольного Альянса, отделение в Индианаполисе, — правда, жена его всем и каждому втолковывала, что сам-то он алкоголиком сроду не был. Сидим, а он нам про Колумбийскую Консервную Компанию рассказывает, которую отец Хэпгуда Уильям, еще один гарвардец, учредил у нас в Индианаполисе в 1903 году. Знаменитая была попытка по-демократически производство наладить, только я про нее ничего раньше не слышал. Про многое я ничего раньше не слышал.

Колумбийская Консервная Компания производила томатный суп, приправы, кетчуп и прочее в том же роде. Ей все время помидоры требовались. Прибыли никакой не было до 1916 года. А когда наконец пошла прибыль, папаша Пауэрса Хэпгуда начал из нее рабочим деньги выплачивать, потому как был убежден, что всюду в мире

рабочие имеют право получать по справедливости. Акции, кроме него, два его брата держали, тоже гарвардцы, и они согласились: правильно он решил.

Ну, организовал он совет из семи рабочих, который дирекции свои соображения представлял, как кому платить и какие условия должны быть на производстве. Совет этот без всяких подсказок со стороны постановил, что никаких остановок производства в межсезонье быть не должно, хотя консервное дело всегда по сезону разворачивается, и что отпуска надо оплачивать, а медицинское обслуживание рабочих и членов их семей пусть будет бесплатным, да еще надо предусмотреть выплаты по бюллетеням, да пенсии, а в конечном счете компания станет собственностью тех, кто в ней работает, — они акции будут приобретать со скидкой и все выкупят.

— Короче говоря, лопнуло дело, — сказал дядя Алекс и улыбнулся, довольный такой, словно дарвинист, которому законы природы подвластны.

А отец ничего не сказал. Может, вовсе и не слушал.

Вот лежит передо мной книжка «Хэпгуды. Три брата, относившиеся к жизни всерьез», сочинение Майкла Д. Маркаччо, издательство

Виргинского университета, Шарлотсвилл, 1977. Три брата — это Уильям, учредитель Колумбийской Консервной, а также Норман и Хатчинс, гарвардцы, как и он: были они журналистами с социалистическим оттенком, книжки писали, печатали кое-что в Нью-Йорке и поблизости от Нью-Йорка. Согласно Майклу Маркаччо, дела у Колумбийской Консервной шли вполне сносно до 1931 года, когда Депрессия нанесла по ней смертельный удар. Многих работавших пришлось уволить, а оставшимся плату урезали вдвое. В финансах компания сильно зависела от Континентальной Консервной Корпорации, а корпорация требовала, чтобы с рабочими в этой компании обходились более или менее так же, как с ними всюду обходятся, хоть бы они и владели акциями — большинство, между прочим, действительно владело. Эксперименты кончились. Оплачивать их больше было нечем. А те, кто акции приобрел, чтобы участвовать в прибылях, теперь оказались совладельцами компании, которая почти развалилась.

Хотя она не сразу лопнула, не до конца. Когда мы с дядей Алексом, отцом и Пауэрсом Хэпгудом на обед собрались, она вообще-то еще существовала. Только совсем другая стала компания, и ни

цента не платила больше, чем другие консервные предприятия. В конце концов все, что от нее осталось, приобрела в 1953 году фирма посолиднее.

Стало быть, появляется в ресторане Пауэрс Хэпгуд, вроде как самый обыкновенный человек, каких на Среднем Западе много, видно, что из англосаксов родом, костюмчик на нем неприметный такой. Профсоюзный значок к пиджаку приколот. Настроение у него превосходное. С отцом он был немножко знаком. С дядей Алексом знаком очень хорошо. Извинился за опоздание. В суд пришлось утром наведаться, его свидетелем вызвали: слушается дело о забастовке, которая была несколько месяцев назад, — выставили у фабрики пикеты, и кулаки в ход пошли. Сам он к этому никакого касательства не имеет. Хватит с него, было время — поучаствовал в подобных делах. А теперь ни с кем драться не намерен, не забыл, как дубинкой по голове молотят, пока с ног не свалишься, и каково оно, в тюрьме ночевать.

Любитель он был поговорить, причем истории рассказывал куда интереснее, чем отец или дядя Алекс. Когда казнили Сакко и Ванцетти, он марш протеста возглавил и его за это отправили в больницу для психов. Подрался с руководителями союза горняков, где президентом Джон Л. Льюис,

— считал, что слишком правую позицию они заняли. А в 1936 году возглавлял КИО, когда в Кэмдене, штат Нью-Джерси, началась стачка на заводах тамошних. И его за решетку упрятали. Тогда несколько тысяч бастующих окружили тюрьму, похоже было, линчевание наоборот устроят, ну, шериф и подумал, лучше уже его выпустить. Всякие такие вот истории. Я их в этой книжке пересказываю, как запомнил, только это не я, это выдуманный персонаж пересказывает, предупреждал уже.

Оказывается, Хэпгуд и в суде все утро свои истории вспоминал. Судье они жутко понравились, и почти всем остальным тоже наверно, оттого что для себя-то Хэпгуд ничего не добивался, когда все эти удивительные штуки с ним происходили. Надо думать, судья только старался, чтобы Хэпгуд побольше им такого рассказал. В то время история рабочего движения считалась чем-то вроде порнографии, даже хуже, — время-то какое было! В школах, в приличных домах касаться того, как рабочие страдают и за свои права борются, было тогда, да и сейчас тоже, нельзя: табу.

Вспомнил, как судью звали. Клейком, вот как. Без труда вспомнил, потому что в моем классе сын этого судьи учился, мы его Меднорожим

прозвали.

Отец Меднорожего Клейкома — я со слов Пауэрса передаю — как раз перед перерывом на обед и задает Хэпгуду последний вопрос: «Мистер Хэпгуд, — говорит, — вот вы из такой почтенной семьи происходите, образование вам дали превосходное, почему же вы живете-то так чудно?»

— Почему? — Хэпгуд переспрашивает (я со слов Хэпгуда передаю). — А потому, сэр, что была Нагорная проповедь.

И тут отец Меднорожего Клейкома объявляет:

— Продолжение слушаний в два часа дня.

А Нагорная проповедь — это что, собственно, такое?

Это предсказание Иисуса Христа, что нищие духом обретут Царство Небесное; и что все плачущие утешатся; и что кроткие наследуют землю; и что алчущие правды насытятся ею; и что милостивые будут помилованы; и что чистые сердцем Бога узрят; и что миротворцы будут наречены сынами Божиими; и что изгнанные за правду тоже обретут Царство Небесное; и так далее, и так далее.

Тот персонаж моей книги, который вдохновлен Пауэрсом Хэпгудом, неженат, и у него всякие

сложности из-за спиртного. Пауэрс Хэпгуд был женат, и, насколько мне известно, из-за спиртного никаких сложностей у него не было.

Есть еще один второстепенный персонаж, которого я назвал Роем М. Коном. Он списан с известного антикоммуниста, юриста и бизнесмена, которого зовут — не очень-то я изобретателен — Рой М. Кон. Приношу ему благодарность за полученное вчера (2 января 1979 года) по телефону разрешение воспользоваться его именем. Я дал слово, что не нанесу ущерба его репутации, изобразив Роя М. Кона устрашающе всемогущим судебным оратором, который кого хочешь засудит и кому угодно добьется оправдания.

Дорогой мой папочка все помалкивал, когда, отобедав с Пауэрсом Хэпгудом, мы ехали домой. Ехали мы в отцовском плимуте. За рулем сидел он сам. Лет через пятнадцать его задержат за то, что он проедет на красный свет. Выяснится, что прав у него вообще нет, хотя он уж двадцать лет машину водит, — значит, когда мы ехали с обеда, прав у него тоже не было.

Дом отцовский был за городом, но недалеко. Катим мы у самой окраины Индианаполиса, и тут он говорит: может, забавного пса сейчас увидим,

если подфартит. Немецкая овчарка это, говорит, и она уж еле на ногах держится, столько раз ее машины сбивали. А пес все равно облаивать кидается, на все четыре лапы припадает, но смелый такой, и в глазах ярость горит.

Только пес этот так и не появился. Хотя и правда, был такой. Я его потом как-то видел, когда один ехал. На самом краешке шоссе лежит, скорчившись, того и гляди ринется покрышку прокусывать на правом переднем колесе. И ринулся — жалко смотреть было. Задние лапы он уж еле волочил. Как будто, одними передними напрягаясь, пытается паровой каток за собой утащить.

В тот день сбросили атомную бомбу на Хиросиму.

Но вернусь к тому нашему обеду с Пауэрсом Хэпгудом.

Когда отец поставил машину в гараж, он наконец-то высказался насчет этого обеда. Удивило его, с какой страстностью Хэпгуд говорил о деле Сакко и Ванцетти, которое, без всякого сомнения, представляло собой один из самых поразительных вывертов в истории американского правосудия и подверглось самым злым, самым ехидным комментариям.

— Понимаешь, — сказал отец, — я понятия не имел, что их виновность, оказывается, не полностью доказана.

Вот каким художником не от мира сего был мой папа.

В книжке этой упоминается о кровавой стычке бастующих с полицией и солдатами, и эта стычка названа Бойней на Кайахоге. Бойню эту я выдумал, верней, описал ее, перемешав — вроде мозаики — свидетельства о многих подобных стычках, происходивших в не столь уж отдаленные времена.

Легендой входит это событие в память главного героя моей книги Уолтера Ф. Старбека, и получается так, что вся его жизнь тесно соприкоснулась с Бойней, хотя и случившейся в рождественское утро тысяча восемьсот девяносто четвертого года, задолго до того, как Старбек родился.

Дело вот как было.

В октябре 1894 Дэниел Маккоун, основатель и владелец компании «Кайахога», производившей металл и строившей мосты, — в ту пору крупнейший промышленник-работодатель в Кливленде, штат Огайо, собрал у себя мастеров и велел им сообщить рабочим, что их зарплата снижается на 10 процентов. Профсоюза не существовало. А этот

Маккоун был отличным инженером, только без всяких сантиментов — он ведь сам себя на ноги поставил, происходил-то он из семьи рабочих, живших в Эдинбурге, в Шотландии.

Половина работавших на его заводе, с тысячу человек, которыми предводительствовал обычный литейщик Колин Джервис — здорово он умел говорить перед толпой, — покинули свои места, угрожая остановить производство. Им и так-то еле удавалось прокормить жен с детишками, одеть и обогреть, а тут еще плату урезают. Рабочие были сплошь белые. И большей частью местные уроженцы.

Природа им в тот день благоволила. Небо и озеро Эри были абсолютно одинакового цвета: мертвенный сероватый отлив, как на оловянных кружках.

Побрели забастовавшие к себе домой, в домики, которые лепились к фабричным стенам. В большинстве эти домики, а также и лавки в этом квартале, принадлежали компании «Кайахога. Сталь и мосты».

В толпе, разбежавшейся по домам, были провокаторы и шпионы, выглядевшие такими же озлобленными, такими же мрачными, как все остальные, — их втайне нанимало, хорошо

оплачивая, сыскное агентство «Пинкертон». Это агентство по сей день существует и процветает, оно теперь полностью принадлежит корпорации РАМДЖЕК, став ее структурным подразделением.

У Дэниела Маккоуна было два сына: Александр Гамильтон Маккоун, двадцати двух лет, и Джон, двадцати пяти. Александр в мае того года окончил Гарвард, ничем так себя и не проявив. Человек он был мягкий, застенчивый, заика. А старший, Джон, ясное дело — наследник, с год проваландался в Массачусетском технологическом институте и ушел, став с того времени ближайшим помощником отца, который ему полностью доверял.

Рабочие, все как один — бастовавшие, не бастовавшие, ненавидели папашу с Джоном, однако признавали, что те лучше всех в мире знают, как лить сталь и ковать железо. А насчет молодого Александра они вот что думали: прямо барышня в штанах, башка не тем забита, а чтобы к домнам, к станам близко подойти, молотком по наковальне ударить — ни-ни, тут же струсит, где ему, такие для работы, с опасностью связанной, непригодны. Идет он по улице, а работяги ему платками машут: мол, понимаем, никакой ты не мужик.

Через много лет Уолтер Ф. Старбек, для которого

описываемые события стали легендой, как-то спросил Александра: зачем же вы после Гарварда в таком противном месте работать решили, папаша-то не настаивал, — и тот в ответ забормотал, что (расшифрую заикание его кошмарное) «тогда мне казалось, богатому человеку вроде меня надо же понимать, какая жизнь там, где богатство делают. Молодой был, слишком молодой. Богатство, если оно настоящее, надо или принимать без всяких вопросов, или вообще не принимать».

Насчет заикания его, как дело обстояло до Бойни на Кайахоге: Александр — он просто ужас до чего стеснительный был, оттого и спотыкался на каждом слове. Скажет и замолчит, но ненадолго, секунды на три, не больше, только уж как замолчит, мысли в нем словно запертые, ни одна наружу не пробьется.

Вообще-то, когда рядом отец его деловитый был или братец, он так и так не больно в разговоры пускался. Только молчание это скрывало тайну, и, сознавая ее, он начинал понимать ничуть не хуже, чем они оба. Решат они что-нибудь и еще до того, как свое решение объявят, почти всегда ему уж известно, что решили и отчего по другому решить не могли. Никто пока что в толк не взял, к чему дело клонится, а вот он все понял, потому

как, слава Богу, в индустрии, в технике там всякой разбирается профессионально.

Итак, началась в октябре забастовка, и Александр сразу угадал, как нужно действовать, хотя никогда прежде со стачками дела иметь не приходилось. Гарвард был далеко, все равно как за тридевять земель. Да и все, чему его там учили, без пользы оказалось, когда надо, чтобы завод снова заработал. Вот агентство «Пинкертон» знает, как этого добиться, и полиция знает, и, может, еще Национальная гвардия.[4] Папаша с братом рта раскрыть не успели, как Александр уж догадался, что они сейчас скажут: страна большая, много найдется таких, кого нужда заставит за любые деньги работать. Тут папа с братом именно это и говорят, а Александр еще кое-что насчет деловой жизни усваивает: есть такие компании — они часто за профсоюзы себя выдают, — которые этим вот и занимаются, рабочих набирают в подобных случаях.

К концу ноября из заводских труб снова повалил дым. А у бастовавших денег совсем не осталось — ни на хлеб, ни за жилье платить

[4] Примечания: 4

Отряды из гражданского населения, собираемые в случае необходимости для подавления уличных беспорядков и т. п.; финансируются и экипируются губернаторами штатов.

и отопление. На триста миль вокруг каждому промышленнику был послан список фамилий, чтобы упомянутых в нем не принимали на работу: смутьяны, хлопот не оберешься. А лидера их, Колина Джервиса, посадили, и он ждал судебного разбирательства по сфабрикованному делу об убийстве.

Пятнадцатого декабря жена Колина Джервиса (все ее называли просто — Мать) во главе депутации из двадцати других жен стачечников явилась к проходной завода и попросила Дэниела Маккоуна выйти к ним. Он вместо себя послал Александра и записку написал, которую Александр сумел огласить, даже ни разу не запнувшись. Говорилось в записке, что Дэниел Маккоун — человек очень занятый, нет у него времени беседы вести с людьми, которые больше не имеют никакого отношения к компании «Кайахога. Сталь и мосты». Они, видно, что-то спутали, тут производство, а не богадельня. Пусть, дескать, в церковь сходят или в полицейский участок, там им дадут список разных организаций, куда и подобает обращаться за помощью, если им помощь нужна и если заслужили, чтобы помощь им оказывали, или думают, что заслужили.

Мать Джервис говорит Александру: «Я проще

выражу, зачем пришли, я прямо говорю — бастующие обратно на работу хотят вернуться, на любых условиях. Их теперь чуть не всех из домов выселяют, и деваться им некуда».

— Вы меня извините, — Александр говорит, — я только могу снова отцовскую записку вам прочитать, если хотите, а больше ничего.

Много лет спустя Александр Маккоун признавался, что тогда разговор с депутацией этой на него никак не подействовал. Наоборот, признавался он, ему даже очень было приятно ощущать себя такой исправной «м-м-машиной».

А тут вдруг офицер из полиции появляется, капитан. И предупреждает женщин, что они нарушают закон, потому что запрещено собираться толпой — транспорту мешают и создают угрозу общественному спокойствию. Говорит: немедленно разойтись, требую именем закона.

Они и разошлись. Потянулись через большой пустырь перед проходной. Завод так построили, чтобы своим фасадом он напоминал просвещенным людям о площади Сан-Марко в Венеции. Заводская башня с часами была точной, только наполовину уменьшенной, копией знаменитой звонницы на Сан-Марко.

Вот с площадки на этой-то звоннице Александр

с отцом и братом смотрели в рождественское утро, как происходила Бойня на Кайахоге. У каждого был собственный бинокль. А также собственный маленький пистолет.

Колоколов на звоннице не повесили. А на пустыре перед нею не открыли ни кафе, ни магазинчиков. Архитектор подошел к обустройству пустыря очень по-деловому. Там нашлось место для повозок, колясок и вагонов конки, так и сновавших туда-сюда. Он и завод практично выстроил, архитектор этот, самый настоящий форт получился. Если толпе вздумается на приступ пойти, пусть для начала через незастроенный пустырь до стен доберется.

Был там один-единственный репортер, его кливлендский «Откровенный собеседник» прислал — теперь эта газета принадлежит корпорации РАМДЖЕК, — и вместе с женщинами побрел этот корреспондент через пустырь. «Что теперь предпринять собираетесь?» — спрашивает он Мать, то есть жену Джервиса.

Понятно, предпринимать-то больше нечего было. Стачечники они уже и не стачечники вовсе, просто безработные, которых из домов выселяют.

Но ответила Мать мужественно:

— Мы еще вернемся! — говорит. Хотя что ей еще сказать оставалось?

— Когда вернетесь?

Ответ ее, наверно, прозвучал, как поэтическая строка, где сказано о безнадежности, царящей в Христовом мире, когда подступает зима:

— В рождественское утро.

Так этот ответ и напечатали в газете: редактор полагал, что тут некая угроза. И слухи о предстоящих на Рождество событиях в Кливленде расползлись по всей округе. Те, кто бастовавшим симпатизировал, — священники, литераторы, профсоюзные лидеры, деятели, державшиеся популистских взглядов, и прочие потянулись в город, словно какого-то чуда ожидали. Эти не скрывали, что порядки в экономике, которые у нас тогда были, их решительно не устраивают.

Эдвин Кинкейд, губернатор штата Огайо, вызвал на сбор роту национальных гвардейцев, чтобы защищать завод. Это были деревенские парни из южных округов штата, и выбрали их оттого, что среди бастующих не было у этих парней ни родственников, ни приятелей, а значит, забастовщики для них — те же хулиганы да нарушители порядка, только и всего. Идеальные американцы все они были, не налюбуешься: здо-

ровенные, веселые, сознательные, старательно занимаются будничными своими делами, но если вдруг потребуется взяться за оружие и щегольнуть дисциплиной, страна может положиться на таких, как они. Возьмутся невесть откуда, а враги Америки оцепенеют от ужаса. А когда опасность останется позади, исчезнут, как будто их и не было вовсе.

Регулярная армия, которая сражалась с индейцами до тех пор, пока у индейцев больше не осталось сил сражаться, насчитывала тогда всего-то тридцать тысяч человек. Но зато у нас была потрясающая наша гвардия, и она сплошь состояла из деревенских парней, потому что у фабричных со здоровьем дело обстояло неважно — слишком длинный рабочий день. Между прочим, когда началась испано-американская война, выяснилось, что в бою гвардейцы ни на что не годны, такая скверная была у них подготовка.

* * *

Молодой Александр Гамильтон Маккоун именно так о них и подумал, когда накануне Рождества гвардейцы прибыли охранять завод: тоже мне, солдаты называются. Их доставили специальным эшелоном прямо на заводскую территорию, за

высокую железную ограду — туда от магистрали ветка отходила. Выскакивают из вагонов на грузовую платформу, точно обыкновенные пассажиры, которые по своим делам торопятся. Мундиры у кого нараспашку, у кого на одну пуговицу застегнуты, да еще и не на ту. Некоторые фуражки потерять умудрились. И чуть не у каждого то баул, то саквояжик какой-то, ну и вояки, смех один.

А офицеры-то, офицеры! Командовал почтмейстер из Гринфилда, штат Огайо. Помогали ему два лейтенанта, близнецы они бьыи, сыновья президента гринфилдского банковского треста. Президент с почтмейстером оказывали губернатору кое-какие услуги. Вот за это и погончики офицерские. А кто офицерам услуги оказывал, тоже не оставался внакладе: сержантом сделают или там капралом. Ну, а рядовые — они же на выборах голосовать пойдут, если не сами, так родители их, стало быть, если охота будет, могут начальникам своим кровь попортить, всласть над ними поиздеваться, словечком каким так припечатать, что век не отмоешься.

Стоят они на грузовой платформе, шуточки шутят, жуют что-то, а старый Дэниел Маккоун, владелец компании «Кайахога. Сталь и мосты»,

все допытывается: «У вас кто командиром-то?»

И надо же, оказывается, он как раз к капитану с вопросами своими пристал, а тот и говорит: «Вообще-то, наверно, я, кто ж другой?»

К их чести, хоть и патроны у них были, и штыки навинченные, на следующий день гвардейцы никому не сделали худого.

Разместили их в пустовавшей мастерской среди станков. В проходах они и спали. Каждый из дома кой-чего перекусить прихватил. Ветчину там, цыплят жареных, пироги, сладкого немножко. Подкрепляются в свое удовольствие, когда проснется аппетит, — прямо не мастерская, а поляна для пикника. Ушли гвардейцы и просто свалку после себя оставили. Ладно, что с них взять.

Да, а старик Дэниел с сыновьями тоже на заводе ночь провели, походные койки в конторе поставили, которая помещалась в звоннице, в самом низу, а под подушки револьверы сунули. Когда они, бедные, за рождественский стол-то сядут? А только в три часа дня назавтра. Беспорядки к тому времени уж совсем кончатся. Отец распорядился: не зря же, говорит, тебя учили, давай-ка, Александр, придумай молитву благодарственную, скажешь, что нужно, прежде чем за трапезу

приниматься.

Охранники, которые на жалованье в компании состояли, да агенты из «Пинкертона» вместе с полицейскими всю ночь, сменяя друг друга, вдоль ограды патрулировали. У этих охранников обычно были только пистолеты, а тут кто с винтовкой, кто с дробовиком из дома принесли или одолжили у приятелей.

Четырем от «Пинкертона» дали спокойно поспать. Они в своем деле мастера были. Снайперы настоящие.

Наутро не гудок заводской Маккоунов разбудил. А разбудили их визжащие пилы да стук молотков по всему пустырю перед заводом. У проходной сколачивали высокий помост, прилепившийся изнутри к самой ограде. На этот помост взойдет начальник кливлендской полиции, чтобы всем видно было. И в нужный момент зачитает толпе Акт о нарушениях порядка, принятый сенатом штата Огайо. По закону требовалось публично ознакомить с этим актом. Там говорилось, что несанкционированный митинг с участием двенадцати человек или более в течение часа по оглашении Акта должен быть прекращен и собравшиеся обязаны разойтись. А если не прекратят и не разойдутся, будут признаны ви-

новными в преступлении, караемом тюремным заключением от десяти лет до пожизненного.

Природа опять-таки благоприятствовала — пошел легкий снег.

Вот так-то, а тут появляется на пустыре закрытый экипаж, две белые лошади запряжены, и на полном скаку подкатывает к проходной. В полутьму начинающегося рассвета выходит из экипажа полковник Джордж Редфилд, губернаторский зять, которому губернатор полковничью должность и выхлопотал, — из самого Сандаски[5] прикатил, чтобы принять командование над гвардейцами. У Редфилда был свой деревообрабатывающий завод, а кроме того, он замороженными продуктами торговал. Воевать ему не приходилось, но вырядился он как настоящий кавалерист. Сабля на боку болтается, тесть подарил.

Двинулся он прямиком в мастерскую, чтобы обратиться к подчиненным.

А вскоре стали прибывать повозки с полицейскими — специальный отряд для подавления беспорядков. Вообще-то это обыкновенные кливлендские полицейские были, только им

---

[5] Примечания: 5
Город на побережье озера Эри.

деревянные щиты выдали и пики затупленные.

На звоннице вывесили американское знамя, а другое подняли на флагштоке перед проходной.

Целое представление устраивают, подумал молодой Александр. Никого, конечно, не убьют, не поранят. Тут вся штука в том, кто как себя поведет. Бастующие предупредили, что с ними будут жены и дети, а оружия никакого не будет, даже ножика, разве у кого перочинный в кармане завалялся, лезвие три дюйма длиной, не больше.

«Мы хотим только последний раз взглянуть на завод, которому отдали лучшие годы нашей жизни, — было сказано в их послании, — и пусть каждый, у кого будет желание, взглянет, кто мы такие, пусть взглянет Всемогущий Бог, если снизойдет Он на нас взглянуть, пусть все увидят кротость нашу и безропотность, а тогда пусть сами судят, достойно ли американца терпеть нужду и страдание, какие мы терпим».

Так все было красиво выражено, Александр просто расчувствовался. Вообще-то письмо сочинил поэт Генри Найлс Уистлер, еще один гарвардец, он специально приехал в Кливленд поддержать бастующих. Надо, подумал Александр, чтобы ответ тоже получился величественным. И решил: вот для того и знамена подняли, гвардейцев

выстроили шеренгами, понаставили всюду полицейских, сосредоточенных таких, подтянутых, — все как подобает.

Прочтет сейчас начальник Акт, все выслушают да по домам разойдутся. И больше никогда не будут нарушать порядок.

В своей молитве перед трапезой он попросит Бога хранить рабочих от крикунов вроде Колина Джервиса, которые обрекают их на такую нужду, такое страдание.

— Аминь, — пробормотал он.

Народ между тем начал собираться, как и предполагалось. Пешочком к пустырю потянулся. Чтобы пыл поумерить, отцы города в этот день отменили движение трамваев в районе, прилегающем к заводу.

Детей в толпе было немало, даже младенцев на руках несли. Одного младенца пристрелили, и Генри Найлс Уистлер сочинил по этому поводу стихи «Бонни Фейли»,[6] их потом на музыку положат, а песню поют до сих пор.

Солдаты вот как расположились. Их в восемь утра построили вдоль заводской ограды, велели примкнуть штыки, а в ранцах у них полная

---

[6] Примечания: 6
Букв.: «Бедная крошка».

выкладка была. Ранец фунтов пятьдесят весил, если не больше. Это полковник Редфилд так своих солдат нагрузить додумался: мол, вид у них от этого получится еще более грозный. Встали они шеренгой по одному, всю стену со стороны пустыря прикрыли. А план операции был такой: если толпа не разойдется по приказу, солдаты — штыки опустить! — двинутся на нее, словно наползающий ледник, и очистят пустырь, наступая успешно, неукротимо, этакая по линейке вычерченная колонна, поблескивает холодной сталью и шаг за шагом вперед, все вперед, раз-два, раз-два…

С восьми утра на пустыре ни души не было, одни солдаты. Снег все падал. И когда в дальнем конце начала собираться толпа, между нею и заводской оградой лежало припорошенное свежим снегом пустое поле. Ни следа на нем не видно, только там, где эти, из толпы, сами натоптали.

А пришло сюда и много таких, у кого с компанией «Кайахога. Сталь и мосты» никаких дел не было, они к ней вообще касательства не имели. Сами бастовавшие не знали, что это за оборванцы тут объявились, никому не ведомые, да некоторые еще и семьи свои привели. А оборванцы-то просто хотели всем и каждому

показать в рождественское это утро, какую они терпят нужду, какое страдание. В бинокль молодой Александр разглядел на груди одного из них плакатик: «ПОЗОР ТРЕСТУ «ЭРИ. УГОЛЬ И ЖЕЛЕЗО», УГНЕТАТЕЛЯМ РАБОЧЕГО ЛЮДА». А трест «Эри. Уголь и железо» даже и не в штате Огайо находится. Он находится в Буффало, штат Нью-Йорк.

Так что Генри Найлс Уистлер, когда стихи свои сочинял про маленькую девочку, которая погибла во время Бойни, просто наугад изобличает компанию «Кайахога. Сталь и мосты» — где у него гарантия, что девочка была из семьи бастовавшего на заводе «Кайахога», не знает толком, а все равно клеймит:

Чугунное сердце, всех давит, как слон.

Навеки будь проклят, железный Маккоун!

Молодой Александр рассматривал плакатик про трест «Эри. Уголь и железо», стоя у окна на третьем этаже административного корпуса, который приткнулся к северной стене звонницы. Там, тоже в подражание венецианскому стилю, устроили длинную галерею: по окну через каждые десять футов, а в самом конце зеркало. Благодаря

зеркалу создавалось впечатление, что галерея тянется бесконечно. Окна выходили на пустырь. Вот в этой галерее и заняли свои рабочие места четыре снайпера, присланных «Пинкертоном». Каждый облюбовал по окошку, придвинул к нему столик и в креслице за ним уселся. На столиках лежали, дожидаясь своего часа, винтовки.

Тот снайпер, который находился всего ближе к Александру, еще мешок с песком положил на столик и, помолотив по нему волосатой ладонью, сделал желобок. Пристроил ствол в этот желобок, приклад в плечо упирается, развалился в кресле да лица в толпе высматривает, то вправо повернется, то влево. А дальше по коридору еще был снайпер, механик по профессии, так он треногу соорудил, уключина у него там такая вращающаяся. Занятная штуковина, этакая горка на столе получилась. Когда придет время, он винтовку на этой треноге закрепит.

Поглаживает ее да Александру подмигивает:

— Видели? Запатентовать хочу.

И у каждого снайпера по запасной обойме, шомпол тут же, и пакля, и масло смазочное в пузырьке — все на столах разложено, словно торговать собрались.

Пока окна еще были все закрыты. Дальше, за

снайперами, сидел у бойниц народ злой, недисциплинированный. Охранники там сидели, которые у компании на жалованье, — они почти всю ночь не спали. Кой-кто из фляги потягивал, прочухаться надо, говорят. У кого ружьишко, у других дробовики: а ну как толпа, соображение потеряв, кинется штурмовать завод, тогда ее не остановишь, придется ураганный огонь открыть.

Они сами себя уверили, что штурм непременно будет. И, видя, как охрана напряглась, как люди злятся да себя заводят, молодой Александр почувствовал наконец, что «к-к-карнавал нес-с-скл-л-кл-кладн-н-ный получается» — так много лет спустя рассказывал он молодому Уолтеру Ф. Старбеку.

Само собой, у него тоже пистолет был заряженный, в кармане пальто лежал, и папаша его вооружился, и братец, они теперь по галерее прохаживались, все напоследок проверяя. Было десять утра. И они приказывают: открывайте окна, пора. На пустыре народу набилось — не протолкнешься.

Давай, говорят они молодому Александру, наверх надо подняться, оттуда все видно.

Стало быть, распахнули окна, и снайперы вин-

товки свои в желобки да на треноги пристроили.

Снайперы эти вот что за люди были — хотя, если разобраться, странное это ремесло, снайпер. У него работы-то тогда было меньше, чем у палача, который вешает. Из тех четверых никого делом своим прежде не нанимали заниматься, похоже, и не наймут никогда, если только не начнется война, так что ни доллара им своей профессией было не заработать после этой Бойни. Один снайпер подрабатывал у «Пинкертона», а трое других были его приятели. Они любили вчетвером на охоту ездить и все друг друга нахваливали: здорово ты палить научился, сказать — не поверят. И когда агентство «Пинкертон» дало знать, что ему потребуются меткие стрелки, эти четверо тут же и объявились, как национальные гвардейцы по первому зову являются.

Тот, с треногой, для такого случая даже устройство это свое изобрел. И другому, который притащил мешок с песком, раньше никогда не приходило в голову стрелять с желобка. Все это они тут же, на месте придумали — столы, кресла, обоймы с шомполами, на обозрение разложенные, — надо, решили, всем показать, что они настоящие снайперы, знают, как профессионал действовать должен.

Много лет спустя Старбек спросит Александра Маккоуна, что было главной причиной, приведшей к Бойне на Кайахоге, и услышит: «В Ам-м-мерике п-п-п-роф-ф-фесси-онально никто д-действовать не ум-м-меет, когда дело ж-ж-жизни и с-смерт-ти касается».

Когда распахнули окна, вместе с холодным воздухом галерею заполнил гул голосов волновавшейся, как океан, толпы. Люди хотели стоять тихо и думали, что стоят тихо, но ведь надо же шепнуть соседу два слова, а соседу как не ответить, в общем, понятно. Вот и получалось: словно морская волна накатывает.

Александру, пока он стоял на верхней площадке звонницы вместе с отцом и братом, почти ничего слышно не было, только всплески этой волны. Защитники завода хранили безмолвие. Только хлопали створки открываемых на третьем этаже окон да шпингалеты поскрипывали, а так больше ни звука.

Стоят Маккоуны наверху, а папаша и говорит: «Вы, мальчики, вот что запомните: железо выделывать — это вам не в бирюльки играть, и сталь тоже. Кто в своем уме, за такое ни в жизнь бы не взялся, только вот страшно, что иначе с голоду помрешь да вымерзнешь к чертовой матери.

Главное, что людям без железа, без штук этих стальных никак не обойтись. А раз не обойтись, пусть к Дэну Макоуну обращаются, он в этом деле все на свете знает».

Тут как раз и охрана зашевелилась. Начальник кливлендской полиции берет листок с текстом Акта о нарушениях порядка и по лесенке на помост лезет. А молодой Александр думает: вот сейчас на карнавале самое главное начнется, ах, красота-то, красота какая, хоть и страшно немножко.

Только вдруг он возьми да чихни у себя на верхотуре. Ладно там, что из носа течет, главное, все его романтическое настроение долой. И почувствовал он, ничего такого уж величественного внизу не происходит. Глупость одна, и только. На самом-то деле нет ведь никакой магии, а вот отец его, и брат, и губернатор, а может, сам президент Гровер Кливленд хотят, чтобы полицейский начальник этот в волшебника превратился, обернулся Мерлином — чтобы околдовал толпу своими чарами, а она тут же и разойдется.

«Не получится, — подумал он. — Не может получиться».

И не получилось.

Пустил начальник в ход свое волшебство.

Выкрикивает грозные слова, они от стен отскакивают, отзвуки один на другой налезают, в общем, пока наверх долетят, где Александр стоял, слова эти на слух воспринимаются вроде вавилонского наречия.

И не происходит абсолютно ничего.

Слез начальник с помоста. По всему видно, он и не ждал, что у него что-нибудь такое получится, уж больно много народа собралось. И он тихо так, незаметно к своему штурмовому отряду присоединился, который в полной безопасности стоял за оградой щиты наготове, пики хоть сию минуту в ход пускай. Хотя начальник никого арестовывать пока не собирался, не хотел провоцировать такую огромную толпу.

А вот полковник Редфилд просто заходится от ярости. Ворота приоткрыл, хочет к промерзшим своим солдатам выйти. Встал между двумя парнями в самом центре длинной шеренги. Приказывает: штыки к бою! — и чтобы уперлись прямо в тех, кто был вплотную к солдатам. А потом приказывает: шаг вперед! Ну, они и сделали шаг вперед.

Сверху Александр увидел, как стоявшие первыми попятились, вдавливаясь в толпу, чтобы отступить от надвигавшейся стали. А те, кто за-

ди, еще не сообразили, что там такое делается, стоят, как стояли, когда надо бы им чуток отойти, чтобы не получилось давки.

Солдаты, видит, еще на шаг вперед продвинулись, заставив передних еще отступить, подминая и тех, кто сзади них, и кто сбоку. Там и сям, видно, кого-то уже вплотную к ограде поприжало. А солдаты, замечая такое, не стали — сердце-то есть у них — протыкать штыками совсем беспомощных, они винтовки вниз опустили, и маленькая щелочка образовалась между оградой и сверкающей сталью.

Тут опять шеренга шаг делает, а народ, он «в-в-вроде р-р-ручейк-кком-м вокр-кр-круг нее потек» — так Александр много лет спустя рассказывал. И ручейки эти в ливневые потоки превратились, бушуют вокруг шеренги наступающей, сотни людей подхватывают и несут за собой к стене ограды, где у солдат незащищенный тыл.

Полковник Редфилд с горящим взором все дальше, дальше устремляется, в соображение не возьмет, что у него творится на флангах. Приказывает: «Шаг вперед!» — и это в который уже раз.

А толпа, которая сзади солдат очутилась, совсем потеряла контроль над собой. Какой-то юнец солдату на спину прыгнул, словно обезьяна. Солдат

так и рухнул, барахтается на земле, встать не может — и смех, и грех. А за ним и других солдат вот так же повалили. И поползли солдаты один к другому, чтобы всем вместе защищаться. Стрелять они не стали. Сбились в кучу, оборону заняли — в точности дикобраз, параличом разбитый.

Полковника Редфилда среди них не было. Его вообще нигде видно не было.

Так потом и не дознались, кто отдал снайперам и охране приказ палить из заводских окон, только вдруг загремели выстрелы.

Четырнадцать человек прямо на месте уложили, среди них одного солдата. А двадцати трем нанесли тяжелые ранения.

Александр под старость вспоминал: ему показалось, стрельба вроде понарошку идет, «к-к-как хл-хл-хлопья ж-ж-жуют кук-курузные», — и решил он, что, видно, ветер на пустыре разгулялся, а то с чего бы народ, словно подкошенный, «в-валится с н-ног».

Когда все кончилось, было чувство удовлетворения от того, что защитили честь и справедливость. Закон и порядок восторжествовали.

Старый Дэниел Маккоун, окидывая взглядом опустевшее поле боя, на котором остались одни трупы, сказал сыновьям: «Так-то, мальчики,

нравится, не нравится, а вот такой у нас с вами бизнес».

Полковника Редфилда обнаружили на боковой улочке — голого, обезумевшего, но в остальном невредимого.

Молодой Александр после всего случившегося рта не открывал, пока не пришлось открыть рот, чтобы произнести положенные слова перед рождественской трапезой. Он должен был произнести слова благодарения. И оказалось, что он сделался словно коза мекающая и уж так сильно заикался — лучше б ему сидеть и помалкивать.

На завод он больше ни шагу не ступил. Стал самым известным в Кливленде коллекционером и попечителем Кливлендского музея изящных искусств, демонстрируя всем и каждому, что семейству Маккоунов ведомы разные интересы, не только к деньгам и власти ради денег и власти.

Всю оставшуюся жизнь заикался он до того сильно, что редко осмеливался покидать особняк на авеню Евклида. За месяц перед тем, как с речью у него стало совсем скверно, он женился на девушке из семейства Рокфеллеров. Потом говорил: вовремя надумал, а то бы вообще жениться не пришлось.

Была у него одна дочь, которая его стеснялась.

Как и жена. И еще после Бойни появился у Александра один-единственный друг. Он с ребенком подружился. С сыном своей кухарки и шофера.

Этому миллионеру надо было, чтобы кто-нибудь с ним играл в шахматы весь день напролет. Вот он, как бы это сказать, соблазнил, что ли, мальчишку, для начала играми попроще его завлекая — ну там в очко, ведьму, или шашки, или домино. А заодно шахматам учил. Скоро они только за шахматной доской и сидели. И только и разговоров было, что про всякие шахматные ловушки да комбинации, какие уж тысячу лет всем известны.

Например: «Ты этот дебют знаешь?» — «Нельзя сюда, ладья под боем». — «Ферзя жертвую, не проворонь». — «Еще чего, я же тогда мат получу».

Мальчишка этот был Уолтер Ф. Старбек. Ему нравилось таким вот странным образом проводить свои детские и юношеские годы по одной простой причине: Александр Гамильтон Маккоун обещал, что когда-нибудь пошлет его в Гарвард.

К.В.

Рецидивист

Помоги слабым, которые меня оплакивают, помоги преследуемым и жертвам, потому что лучше друзей у тебя не будет, они соратники, которые борются и погибают, как боролись и вчера погибли за радость свободы для всех несчастных рабочих твой отец и Бартоло. В этой борьбе ради жизни найдешь ты настоящую любовь, и тебя полюбят тоже.

Никола Сакко (1891–1927) — из предсмертного письма своему тринадцатилетнему сыну Данте, написанного 18 августа 1927, за три дня до казни в Чарлзтаунской тюрьме, Бостон, штат Массачусетс.

Бартоло — это Бартоломео Ванцетти (1888–1927), казненный в ту же ночь, на том же электрическом стуле изобретении одного дантиста. Тогда же и тем же способом казнили совсем уж теперь забытого Селестино Мадейроса (1894–1927), признавшегося,

что это он совершил преступление, в котором обвиняли Сакко и Ванцетти, когда приговор самому Мадейросу, осужденному по обвинению в другом убийстве, рассматривал апелляционный суд. Мадейрос был уголовник, снискавший дурную славу, но перед смертью он вел себя благородно.

1

Идет жизнь помаленьку, идет, а дураку скоро становится не за что себя уважать, распрощался он с гордостью своей, распрощался и не встретится, пожалуй что, до самого Судного дня. Прошу вас, обращайте внимание на даты, потому что в этой книжке, которая, в общем-то, представляет собой историю моей жизни, даты такие же герои, как люди. Год тысяча девятьсот двадцать девятый сокрушил американскую экономику. Год тысяча девятьсот тридцать первый сделал меня гарвардским студентом. А год тысяча девятьсот тридцать восьмой принес первую должность в правительственном учреждении. Сорок шестой одарил супругой. Сорок шестой неблагодарным сыном. Пятьдесят третий выставил из правительственного учреждения на улицу.

Понятно, отчего я к датам точно к живым лицам отношусь.

Тысяча девятьсот семидесятый дал мне работу в Белом доме, где был Никсон. Тысяча девятьсот семьдесят пятый послал в тюрьму за личные мои — какой абсурд! — преступления, которые способствовали американскому политическому

скандалу, известному под собирательным именем Уотергейт.

Тысяча девятьсот семьдесят седьмой — три года назад, выходит, это было — вроде как обещал выпустить меня на свободу. Я тогда себя чувствовал так, словно на помойке очутился. Таскал комбинезон линючего зеленоватого цвета, роба у нас была такая. Одеяло, две простыни, подушку вместе с робой этой верну правительству, все у меня на коленях горкой сложено. А поверх горки руки сцепил старые, все в пятнышках. Сижу, тупо стену разглядываю, а камера моя на третьем этаже, в тюремном бараке, который на задах авиабазы Финлеттер, тридцать пять миль от Атланты, штат Джорджия, — Федеральная исправительная колония обычного режима для совершеннолетних, вот как это место называется. Жду конвоира, который меня в административный корпус отведет, а там бумагу выдадут об освобождении и костюмчик мой цивильный вернут. Как выйду, никто за воротами встречать не будет. В целом мире ни души не найдется, чтобы приголубила меня да за все простила, и не покормит никто бесплатно, не приютит на денек-другой.

Заглянули бы ко мне в глазок, увидели бы: примерно раз в пять минут я какие-то совсем

непонятные движения произвожу. Выражение-то все то же самое, тупое выражение, но руки вдруг от бельишка сложенного вверх и — хлоп! хлоп! хлоп! Объясню потом, с чего это я и зачем.

Девять утра было, двадцать первое апреля. Конвоир уж час назад явиться бы должен. С ближайшей полосы взмыл истребитель, израсходовав энергию, какой сто квартир тысячу лет отапливать бы хватило, небо в клочья разорвал. А я хоть бы шевельнулся. Кто на авиабазе Финлеттер давно служит или успел посидеть в этом бараке, к таким штукам привык, не замечает. Каждый день одно и то же.

Почти всех заключенных — тут по ерундовым делам сидят, сплошь чистая публика, никого не резали, так, малость провинились — с утра увозили на красных школьных автобусах, работенка для них всякая на базе имеется. А в бараке оставляли только тех, кому доверено убирать помещение, подмести, окна вымыть. Ну, еще такие есть, кто от работы освобожден, не могут они физическим трудом заниматься, больные, значит, сердце пошаливает, а еще чаще спина болит. Будь день как день, меня бы в прачечную при госпитале для летчиков погнали, отжимным катком орудовать. Здоровье у меня, они так счи-

тают, на зависть.

Вы думаете, раз я в Гарварде учился, ко мне, как сел, по особенному отнеслись, с уважением? А вот и нет, чихать им было Гарвард, не Гарвард. Я человек семь гарвардских знаю, кого встречал, про других слышал. Кстати, только меня выпустили, койку мою занял Верджил Грейтхаус, бывший министр здравоохранения, просвещения и социальных пособий, он тоже из гарвардцев. По части образования я среди тех, кого в Финлеттер упекли, стоял довольно низко, подумаешь, всего-то диплом университетский. Даже без отличия. А у нас человек двадцать набралось бы, которые с отличием кончили, да с десяток врачей патентованных, если не поболе, и дантистов не меньше, и один ветеринар, и еще доктор богословия был, и доктор экономики, и доктор философии или там химии, не помню, а уж юристов, у которых лицензию отобрали, — пруд пруди. Столько их там сидело, что мы, когда новенькие появлялись, даже предупреждали друг друга: «Язык-то с ним не распускай, пока насчет специальности не выяснил. Который в школе права не учился, точно говорю, из администрации подосланный».

Дипломчик мой жалкий — по гуманитарным дисциплинам: история, экономика. Я, когда в

Гарвард поступил, надумал государственным служащим сделаться, из тех, которые на жалованье, а не на выборной должности. Я так рассуждал: раз у нас демократия, значит, выше нет призвания, чем всю жизнь проработать на правительство. Не угадаешь ведь, что за контора тебя наймет, может, Госдепартамент, или там Бюро по делам индейцев, или еще какая, вот я и решил образование получить такое, чтобы везде пригодиться мог. Потому и подался на гуманитарное отделение.

Талдычу вот: я надумал, я рассуждал — а по правде-то, мне тогда все в диковинку было, хорошо еще, думал за меня и рассуждал человек намного старше годами, а я только под его рассуждения подстраивался. Звали этого человека Александр Гамильтон Маккоун, миллионер из Кливленда, в тысяча восемьсот девяносто четвертом Гарвард кончил. Был он сын Дэниела Маккоуна, сильно заикался и общества избегал. А Дэниел Маккоун из шотландцев родом, инженер он, по металлам специалист, талантливый человек, но грубый, и принадлежала ему им же основанная компания «Кайахога. Сталь и мосты», крупнейший он был промышленник-работодатель в Кливленде, когда я родился. Нет, подумать

только, как давно это было! Я ведь родился в тысяча девятьсот тринадцатом. Усомнятся ли нынешние молодые, если я, глазом не моргнув, сообщу им, что в те времена неба над штатом Огайо видно не было, когда пролетали стаи ухающих птеродактилей, а бронтозавры весом в сорок тонн нежились да посапывали в тихих заводях речки Кайахога? И не подумают усомниться.

Александру Гамильтону Маккоуну было сорок один год, когда я родился в его особняке на авеню Евклида. Его жена Элис, в девичестве Рокфеллер, была даже богаче, чем он сам, и время большей частью проводила, скитаясь по Европе в обществе единственного их ребенка, девочки по имени Клара. Ясное дело, и мать, и дочку смущало, что мистер Маккоун так жутко заикается, а еще больше — что он ничего от жизни не хочет, только сидеть у себя на диване да книжки весь день читать, — вот они и старались домой как можно реже заглядывать. А развод в ту пору был дело немыслимое.

Клара, ах, Клара, жива ли ты еще? Как же она меня ненавидела! Были еще другие, которые меня ненавидели. Были и сейчас есть.

Такова жизнь.

А до меня-то мистеру Маккоуну что за дело

было, хоть я и родился в его особняке, где царили тишина и несчастье? Мать моя, Анна Кайрис, уроженка Литвы, которая в России, служила у него кухаркой. А мой отец, Станислав Станкевич его звали, уроженец Польши, которая в России, состоял при нем шофером и телохранителем. Оба они мистера Маккоуна по-настоящему любили.

Он для них, и для меня тоже, на втором этаже своего каретного сарая устроил очень миленькую квартирку. И когда я подрос, стал я для него партнером по разным играм, в которые дома играют. Он меня научил в очко играть, в ведьму, шашки, домино — ив шахматы. Скоро только в шахматы мы с ним и играли — ни во что больше. Он играл не очень-то. Почти все партии за мной оставались — может, оттого, что он пил потихоньку. Похоже, выиграть он особо и не старался, я по крайней мере так думаю. Короче, совсем я еще был мал, а он уже родителям моим да и мне самому сообщает, что я, мол, гений — хотя куда там! — и что он меня в Гарвард пошлет. Тысячу раз, не меньше, он маме с папой повторял все эти годы: «Вот увидите, сын у вас настоящим гарвардским джентльменом будет».

Вот затем-то и заставил он нас, когда мне было десять лет, переменить фамилию: из Станкеви-

чей мы Старбеками сделались. В Гарварде у меня все еще лучше получится, говорил, если фамилию взять на английский лад. И так вот вышло, что зовусь я Уолтер Ф. Старбек.

У него-то самого в Гарварде дела шли неважно, он еле до окончания дотянул. К тому же товарищи его презирали, и не только из-за этого заикания его, а за то, что был он непристойно богатенький иммигрантский сынок. В общем, ему бы Гарвард этот ненавидеть, все у него основания были, только с годами, вижу, такие он сантименты развел, так романтически про Гарвард вспоминает, ну поклоняется, да и только: когда я в школе учился, он уж до того дошел, что почитал гарвардских профессоров первыми мудрецами, каких знала история. Америка в рай бы превратилась, надо только, чтобы гарвардские выпускники заняли все главные посты в правительстве.

И получилось так, что к тому времени, когда я при Франклине Делано Рузвельте начал работать в Министерстве сельского хозяйства, оценившем мои таланты, все больше и больше таких постов действительно занимали питомцы Гарварда. Мне тогда казалось: прекрасно, что они. А теперь немного даже смешным кажется. Ведь даже в тюрьме, я уже говорил, к гарвардцам относятся,

как ко всем прочим.

Пока я был студентом, случалось мне тешиться туманными надеждами: вот кончу университет, и выяснится, что я получше других умею растолковывать разные важные материи тем, кто слабовато соображает. Ничего из этих надежд не вышло, увы.

Стало быть, семьдесят седьмой, сижу я у себя в камере, жду, когда конвоир за мною явится. Мне-то без разницы, что он уж на целый час опаздывает. Спешить мне ну совершенно некуда, потому как совершенно некуда пойти, когда выпустят. Конвоира того Клайд Картер звали. Он был одним из немногих, с кем я подружился, пока сидел. Сблизило нас главным образом вот что: есть такая фабрика дипломов в Чикаго, заочное обучение, и мы с Клайдом на один и тот же курс записались, барменами решили сделаться при помощи этого Иллинойсского института инструкторов, подразделение корпорации РАМДЖЕК. В один и тот же день, одной почтой то есть, дипломы свои получили, что нам присвоена степень доктора миксерологии. Правда, Клайд к этому времени обойти меня успел, он еще курс по кондиционерам осваивает. Клайд — он троюродным братом президенту Соединенных Штатов прихо-

дится, Джимми Картеру. Хоть на пять лет моложе он, а все равно ну прямо копия президентская — и похож как две капли воды, и держится так же. Тоже обходительный такой, приятный, и улыбка такая же, все зубы видны.

Вот отчего руки-то я от барахлишка своего вверх и — хлоп! хлоп! хлоп!

Тут еще один истребитель сорвался с ближайшей полосы и небо в клочья разодрал. «Ладно, — думаю, — зато я курить бросил!» Правду говорю, бросил. Нет, подумать только! Я же по четыре пачки «Пэлл-Мэлл» без фильтра за день высаживал, а теперь все, никакой я не раб Его Величества Никотина. Вот сейчас кое-что напомнит мне, как я одну за другой смолил, ведь небось уж вытащили из конторки костюмчик мой серый в полоску, троечку эту от «Братьев Брукс», а на ней всюду дыры да пятна табачные. Помнится, дырища с четвертак величиной прямо на ширинке. Есть снимок газетный, где меня после приговора увозят, на заднем сиденье я в седане полицейском. Сколько всего понаписали: глядите, дескать, от стыда не знает куда деться, сквозь землю провалиться готов, ужас его скрутил, стыдно людям в глаза посмотреть. А на самом деле у меня как раз штаны загорелись, вот она история-то какая.

Подумалось мне о Сакко и Ванцетти. Я, когда молодой был, верил: их страдания ну просто мир встрепенуться заставят, всеми овладеет неодолимая, маниакальная жажда справедливости, чтобы простой человек мог правды добиться. Теперь кому про них ведомо, кому не все равно?

Да никому.

Я вспомнил Бойню на Кайахоге, самое кровавое столкновение забастовщиков и предпринимателей за всю историю американского рабочего движения. Она в Кливленде происходила, эта Бойня, прямо перед проходной завода компании «Кайахога. Сталь и мосты», и было это утром на Рождество в тысяча восемьсот девяносто четвертом году. Задолго до того, как мне родиться. Родители мои тогда еще детьми были и оставались у себя в Российской империи. А человек, который послал меня в Гарвард, Александр Гамильтон Маккоун, вместе с отцом и с Джоном, братом своим старшим, эту Бойню своими глазами видел — они на башне находились: была там, на заводе, башня такая с часами. И вот тогда он не просто заикаться начал, он с тех пор просто мычит да мекает, ни слова не разобрать, хоть бы вовсе его не волновало, про что идет разговор.

Кстати, компания «Кайахога. Сталь и мосты»

давно уже одним историкам рабочего движения известна, а так про нее никто и не помнит. После второй мировой войны ее трест «Янгстаунсталь» к себе присоединил, а теперь сама «Янгстаунсталь» сделалась подразделением корпорации РАМДЖЕК.

Бог с нею.

Да, так, значит, руки мои старые от узелка оторвались, вверх и — хлоп! хлоп! хлоп! Тут вот какое дело, как ни глупо вам покажется: песенка есть одна непристойная — никогда она мне не нравилась, да и не вспоминал я ее уж лет тридцать, — так там под конец три раза в ладоши хлопнуть нужно. Понимаете, я старался ни о чем не думать, ну вообще ни о чем, потому как в прошлом все было так погано, а будущее и представить себе страшно. До того много врагов у меня всюду, не уверен, что хоть барменом удастся где пристроиться. Похоже, думаю, так вот мне и суждено до лохмотьев обноситься да грязью зарасти, денег-то ни единого шанса нет подзаработать. И кончится тем, рассуждал я, что по каким-нибудь придется сшиваться заплеванным кабакам да сивухой накачиваться, чтоб не замерзнуть, хотя мне ведь никогда пить не нравилось.

А всего хуже, думаю, если я вдруг где-нибудь в

Бауэри[7] прямо на тротуаре засну, и наткнутся на меня, спящего, подростки эти там всякой шпаны полно, а грязные старики очень их раздражают, ну, из канистры и плеснут. Вымажут всего бензином, а потом разбудят: вставай, дедушка. А уж самое-то жуткое, думаю, как глаза от пламени лопаться будут.

Теперь понятно, почему я старался ни о чем не думать?

Только мне плохо это удавалось — так, отвлечешься на минутку, и все. Сижу себе на койке, и еще хорошо, если хоть малость удается успокоиться, про что-нибудь такое поразмышлять, что мне не страшно, — про дело Сакко и Ванцетти, допустим, или про Бойню на Кайахоге, про то, как мы со стариком Александром Гамильтоном Маккоуном в шахматы играли, и прочее такое.

Если и удавалось так сделать, чтобы совсем была пустая голова, то ненадолго — всего-то секунд на десять, а потом песня эта в башку лезет, какой-то незнакомый голос орет во всю мочь, каждое словечко слышно, а я — хлоп! хлоп! хлоп! Слова, между прочим, жутко грубыми мне показались, когда я эту песню первый раз услышал на

---

[7] Примечания: 7
Район нью-йоркских трущоб.

вечеринке в Гарварде — ребята наши с первого курса ее устроили, ох, и надрались же мы тогда! При дамах такое не больно-то запоешь. Думаю, никто из дам песню эту отродясь не слышал, хоть нравы уже довольно свободные были. У сочинившего текст намерения ясно какие были: пусть, мол, ребята попоют от души, пусть загрубеют как следует, чтобы уж больше ни в жизнь рассуждениям этим не поверить, которым мы верили всем сердцем, что женщина существо духовное, изысканное, высокое, не чета нам, мужланам.

А я и сейчас так про женщин думаю. Смешно, правда? За всю жизнь я только четырех женщин любил: мать свою, да покойную жену, и еще женщину, которая когда-то моей невестой была, и еще одну. Расскажу потом про всех них. Пока же знайте: они, все четыре, по-моему, в смысле морали стояли куда выше, чем я, и выдержки у них больше было, а уж насчет понимания тайн жизни не мне с ними тягаться.

Ладно, чего уж там, узнаете сейчас слова мерзкой этой песенки. Все во мне противится, небось до меня и в голову никому такое не пришло — на бумагу их переносить, хотя, занимая последнее время соответствующую правительственную должность, я-то, собственно, и нес ответствен-

ность за то, что были напечатаны кое-какие книжки, где женщин осыпают немыслимыми поношениями. Пелась эта песенка, кстати, на старый, всем знакомый мотивчик, мне она известна под названием «Руби! Ах, Руби!» Но, конечно, у нее и другие названия есть.

Прошу вас, вы не забывайте, что слова эти не какие-нибудь там работяги заматерелые распевали, а студенты-первокурсники, дети в общем-то, да что поделать, Депрессия никак не кончалась, и вторая мировая война близко была, а главное, очень уж этим студентикам досаждала собственная невинность, вот из-за всего этого решительно им стало наплевать, чего от них тогдашние женщины ожидают, чего требуют. Тогдашние женщины ждали и требовали, чтобы студентики, когда окончат курс, хорошие деньги стали зарабатывать, а как их заработаешь, если экономика совсем разваливается. И еще женщины ждали и требовали, чтобы студентики проявили себя храбрыми солдатами, а очень даже было похоже, что на войне их просто в клочья разорвет шрапнелью да пулями, вот и все дела. Кому же наперед известно, как он сумеет держаться под шрапнелью и пулями? Да плюс огнеметы там и газы отравляющие. Грохот жуткий, взрывы.

Стоял вот рядом с тобой приятель, бац! и голову ему оторвало, из шеи кровь фонтаном хлещет.

И еще женщины, становясь этим студентикам женами, ждали, чтобы те даже в брачную ночь оказались любовниками хоть куда, нежными, умелыми, грубоватыми, когда требуется, а когда надо само преклонение, голову чтобы терять умели, потому как такое тоже возбуждает, и чтобы про органы размножения знали абсолютно все, словно вчера из Гарвардской медицинской школы.

Вспоминаю споры, возбужденные статьей, которая как раз тогда появилась в одном вызывающем журнальчике. Там подсчитывалось, сколько раз за неделю американские мужчины в постели делом занимаются, — по разным профессиональным категориям подсчеты велись. И оказалось, что тут никому не угнаться за пожарными, те по десять раз еженедельно. А хуже всех университетские преподаватели, эти хорошо если раз в месяц раскачаются. Посмотрел статейку один мой однокурсник — его, беднягу, потом на второй мировой войне ухлопали, — покачал грустно головой и говорит: «Черт, да я бы все отдал, чтоб поскорей преподавателем стать».

Короче говоря, песенка та грубоватая, возмож-

но, всего то и придумана была, чтобы воздать должное женской силе и приглушить вызываемые ею страхи. Ну, вроде тех песенок, где львов высмеивают, — их распевают охотники перед тем, как идти в джунгли.

Вот эта песенка, слушайте:

Просеивает Салли
Золу перед крылечком,
И ногу отставляет,
И — ой! ой! ой! — пердит.
И лопнули трусы на ней,
А сито изорвалось,
А жопа так и прыгает —

И тут поющие выбрасывают руки вверх — хлоп! хлоп! хлоп!

2

Официально моя должность в Белом доме при Никсоне — эту должность я занимал, когда меня арестовали за присвоение государственного имущества, лжесвидетельство под присягой и противодействие правосудию, — называлась так: специальный помощник президента по делам молодежи. Оклад был тридцать шесть тысяч долларов в год. Кабинет мне предоставили, хотя и без секретарши, и находился он в здании, занимаемом органами исполнительной власти, на цокольном этаже — потом выяснилось, что прямо надо мной была комната, где и разрабатывали планы кражи документов, а также прочих преступлений, которые предполагалось совершить для поддержания авторитета президента Никсона. Я слышал, как наверху расхаживают, а иногда начинали громко спорить. А у меня внизу ничего не было, только отопительные приборы да кондиционеры, и еще аппарат с кока-колой, про него, похоже, никто и не знал, кроме меня. Я единственный аппаратом этим пользовался.

Да, сидел я, значит, у себя в кабинете и всякие студенческие газетки почитывал, журнальчики

там разные — «Роллинг стоун», и «Чокнутый папаша», и еще другие, которые, считалось, выражают мнение молодых. Мне надо было сделать перечень политических высказываний, встречающихся в популярных песнях. Поручили мне этим заниматься, думаю, прежде всего по той причине, что в Гарварде я сам был радикалом, с первого же курса начиная. И не каким-нибудь там болтуном, из тех, что в компании любят щегольнуть левизной. Я был сопредседателем гарвардской секции Коммунистической лиги молодежи. И соредактором радикального еженедельника «Массачусетский прогрессист». Короче, я был коммунистом с партийным билетом в кармане, не скрывал этого, гордился этим, пока Гитлер со Сталиным не подписали Акт о ненападении в тысяча девятьсот тридцать девятом. Я понял случившееся так: небо и ад объединяются против слабо защищенных повсюду на земле. И с тех пор снова, хотя и с оговорками, уверовал в капиталистическую демократию.

Было время, когда у нас в стране быть коммунистом настолько не считалось зазорным, что мне это не помешало поехать по стипендии Родза[8]

[8] Примечания: 8
Сесил Джон Родз (1853–1902), британский политик и финансист.

после Гарварда в Оксфорд, а затем получить работу в рузвельтовском Министерстве сельского хозяйства. Ну что тут, в конце-то концов, такого уж отвратительного, тем более что была Депрессия и приближалась новая война за природные богатства да рынки. Что такого ужасного, если молодой человек верит: каждый пусть трудится, как способен, и каждого надо вознаграждать соответственно простым его потребностям, слабый он или сильный, старый или не очень, не обделен мужеством или робок, одарен или недалек? Кто бы стал утверждать, что я, мол, ничего не соображаю, когда лезу со своими разговорами про то, как мы могли бы обходиться без всяких войн, достаточно лишь, чтобы простые люди во всем мире взяли под свой контроль все богатства, распустили армии и забыли про государственные границы, — чтобы они почувствовали себя братьями, да, братьями и сестрами, а также отцами и матерями, равно как детьми трудового народа? И кого в это сообщество великодушных друзей нельзя допускать — так это тех, кто норовит больше заграбастать, чем им требуется.

Даже вот и сейчас, в свои шестьдесят шесть, когда уж мало что способно радовать, у меня сердце ходуном от радости начинает ходить, как увижу

кого-нибудь, кто все еще считает возможным, чтобы со временем вся земля стала домом для одного огромного мирного семейства, для Семьи Человеческой. Да случись мне сегодня самого себя встретить, каким я был в тысяча девятьсот тридцать третьем, я бы от умиления, от восторга в обморок свалился.

Так что и в Белом доме при Никсоне мой идеализм еще не испарился, он даже в тюрьме не совсем увял, даже вот сейчас тлеет, когда я — самая последняя моя должность — стал вице-президентом компании звукозаписей «Музыка для дома», она в корпорацию РАМДЖЕК входит.

Я все еще верю, что мира, изобилия, счастья когда-нибудь можно будет достичь. По глупости верю.

Когда я с тысяча девятьсот семидесятого по семьдесят пятый состоял при Ричарде М. Никсоне специальным советником по делам молодежи и четыре пачки «Пэлл-Мэлл» без фильтра каждый день выкуривал, никто у меня не справлялся насчет фактов, мнений моих и прочего. Я бы мог на службу вовсе не являться, может, и правда лучше бы мне было сидеть дома да помогать бедной моей жене, у которой имелось свое небольшое дело — она дизайном занималась, уютно обу-

страивала квартиры, а контора ее была прямо у нас в крохотном таком, славненьком таком кирпичном бунгало, Чеви-Чейз, штат Мэриленд. Единственные посетители кабинета на цокольном этаже, где стены покрашены темно-зеленой краской и в пятнах от сигарет, — это президентские специальные грабители, у них офис прямо над моим. Раз я закашлялся сильно, и тут они сообразили, что внизу кто-то сидит, значит, может подслушать их разговоры. Так они опыты разные производить начали: один наверху орет, ногами топает, а второй прислушивается у меня в кабинете. Убедились, что ничего я слышать не могу, да и вообще безвредный старикашка, только и всего. Тот, который орал да топал, в прошлом служил оперативником в ЦРУ, а еще детективные романы сочинял — он окончил Браунский университет. А который у меня сидел, тот раньше был агентом ФБР, потом прокурором округа состоял — из университета Фордхэма он. Ну, а я, сказано уже, в Гарварде образование свое получил.

Вы не поверите: гарвардский выпускник, а все равно — знает ведь, что писульки его порвут, не читая, и сунут в мусорные мешки, заготовленные в Белом доме для прорвы бумажной, — все равно

каждую неделю заготовляет по двести штук отчетов, как молодежь настроена да чего говорит, и сноски там, библиография, примечания, прочее такое. Хотя выводы год за годом получались у меня до того одинаковые, что можно было просто каждую неделю одну и ту же телеграмму посылать, пока не посадили. Вот такую примерно:

> «Молодежь по-прежнему отказывается осознать невозможность всемирного разоружения и экономического равенства тчк не исключено всему виною Новый завет (см.) тчк
>
> ***Уолтер Ф. Старбек, специальный помощник президента по делам молодежи».***

Закончив очередной свой бесплодный день в кабинете этом, я отправлялся домой, к жене, которая у меня всю жизнь была одна-единственная, к Рут то есть — она меня ждала в нашем крохотном таком кирпичном бунгало, Чеви-Чейз, штат Мэриленд. Она у меня еврейка (я — нет). Наш единственный сын — он книжки рецензирует в «Нью-Йорк таймс», — стало быть, наполовину еврей. В конфессиональные и расовые дела он внес дополнительную путаницу, женившись на певи-

це-негритянке из ночного клуба, у которой двое детей от предыдущего мужа. Предыдущий муж тоже в ночных клубах выступал, он конферансье, а родом пуэрториканец и звать его Джерри Ча-Ча Ривера, — пристрелили его, подвернулся под руку, когда происходило ограбление принадлежащей корпорации РАМДЖЕК автомобильной мойки в Голливуде. Сын мой детей на себя записал, так что по закону они теперь мои внуки, единственные мои внуки.

Такова жизнь.

Покойная моя жена Рут, бабушка этих детей, родилась в Вене. У ее отца там антикварная книжная лавка была, пока нацисты не отобрали. Рут шестью годами меня моложе. Отец, мать, двое других детей из их семьи погибли в концлагерях. Саму ее одна христианская семья прятала, но потом раскрылось это, и в тысяча девятьсот сорок втором ее забрали вместе с главой этой семьи. И она тоже попала в концлагерь, который был под Мюнхеном, два последних года войны там провела, пока не пришли американцы и этот лагерь не освободили. Рут умерла в тысяча девятьсот семьдесят четвертом — у нее, когда она спала, разрыв сердца случился, это было за две недели до моего ареста. Меня куда жизнь ни кинет — бывало, и

в совсем уж неподходящие места, — Рут туда же, со мною вместе, если только сможет. Иной раз не удержусь, удивляться этому начинаю, а она мне: «Как же по-другому? Мне-то что делать остается, ты как думаешь?»

А вообще ей бы переводчицей быть, прекрасно это у нее получалось. Языки она выучивала с невероятной легкостью, куда мне до нее. Я после второй мировой войны четыре года в Германии находился, но немецким так и не овладел. А Рут — не было такого европейского языка, на котором бы она не говорила, хоть немножко. В концлагере, к смерти приготовившись, все свое время проводила вот как: просит других заключенных научить ее их языку, если она его не знает. Так она по-цыгански начала свободно объясняться, выучила этот цыганский говор, и даже на языке басков несколько слов могла сказать — по их песенкам запомнила. А может, ей бы лучше живописью заняться, портреты рисовать? В лагере она и это дело освоила: пальцы сажей вымажет, которая нагорела на фонаре, и рисует сокамерников на стенке, старается, чтобы вышло похоже. Еще могла бы она стать отличным фотографом. В шестнадцать лет, за два года до того, как немцы Австрию аннексировали, она сняла

фотоаппаратом сотню венских нищих, они все до одного были покалеченные ветераны первой мировой войны. Снимки эти потом продавали альбомчиком, я отыскал недавно один такой — где бы вы думали? — в нью-йоркском Музее современного искусства, от изумления у меня просто в сердце закололо. Ко всему прочему Рут и на пианино хорошо играла, а мне слон на ухо наступил. Я даже «Просеивает Салли» как следует напеть не сумею.

Короче говоря, по всем статьям я своей Рут уступал.

Когда в пятидесятые-шестидесятые дела у меня пошли совсем скверно, когда, несмотря на бывшие свои высокие посты в правительственных учреждениях, несмотря на все знакомства с важными людьми, мне не удавалось найти приличной работы, Рут — а кто же еще? — вытащила из пропасти наше маленькое и не слишком популярное в Чеви-Чейз, штат Мэриленд, семейство. У нее поначалу два раза не получилось: очень она было расстроилась, но потом над неудачами своими смеялась так, что слезы из глаз. Первая неудача вышла, когда она устроилась в коктейль-холле тапером. Хозяин этого заведения, когда ей расчет давал, говорит: уж больно хорошо она

играет, не для такой публики это, «они ведь что поизящнее оценить не в состоянии». А второй раз не повезло, когда Рут взялась фотографировать на свадьбах. Снимки у нее мрачные какие-то выходили, словно завтра война, и ни один ретушер тут ничего не мог поделать. Впечатление такое, что вот веселятся, а завтра вместе с гостями в траншеях очутятся или в газовой камере.

Тогда Рут дизайном занялась, рисовала акварелью красиво обставленные комнаты и возможных клиентов приманивала: хотите, у вас такие же будут, уж постараюсь. Я-то всего лишь ей пособлял неумело, драпировки развешивал, демонстрировал на стене образцы обоев, записывал, что клиенты по телефону передадут, бегал по разным поручениям, подбирая ткани по лавкам, и так далее. Раз как-то спалил рулон бархата на обивку, больше тысячи он стоил. Понятно теперь, почему наш сын никогда ко мне уважения не испытывал.

Да и с какой, собственно, стати?

Бог ты мой, мать-то из сил выбивается, чтобы семья удержалась на плаву, каждый цент считает. А папаша, безработный, вечно всем только мешает, сам ничего не умеет, да еще из-за этого его курения рулон обивочной ткани сгорел, кото-

рый стоит целое состояние.

Он, видите ли, в Гарварде обучался! Больно оно нужно, гарвардское образование, спасибо за честь!

Рут, кстати, маленького роста была, миниатюрная такая, кожа с медным отливом, волосы черные, прямые, на лице скулы выпирающие, а глаза запавшие, глубоко посажены. Когда я ее впервые увидел в Нюрнберге это случилось, в тысяча девятьсот сорок пятом году, — она была в армейских штанах и гимнастерке, сидевших на ней мешком, и принял я ее за цыганенка. Мне тридцать два в тот год стукнуло, я на армию работал, но сам был штатский. Все еще неженатый. Штатским я оставался всю войну, но власти у меня, случалось, побольше было, чем у генералов с адмиралами. И вот попал я в Нюрнберг, первый раз увидел, как война все раскурочила, — глазам не поверишь. Меня командировали проследить за размещением и питанием делегаций союзников — американцев, англичан, французов, русских, когда трибунал начнет судить военных преступников. До этого я на разных курортах в Соединенных Штатах устраивал восстановительные центры для наших солдат, понаторел в этих делах, с отелями связанных.

С немцами я как диктатор должен был держаться, когда дело касалось продуктов, напитков там и номеров в гостиницах. Был у меня служебный автомобиль, белый мерседес, для экскурсий предназначенный — с откидным верхом, четыре дверцы, по ветровому стеклу что спереди, что сзади. Сирена на нем установлена. А над передними колесами дырочки для флажков. Я, понятное дело, американский флажок закрепил. Молодые скажут: ну и машина, такая разве что во сне пригрезится, — а на самом деле ее к годовщине свадьбы в доброе мирное время подарил супруге Генрих Гиммлер, придумавший концлагеря. Куда ни поеду, шофер меня везет, он же охранник. Если не забыли, отец мой тоже шофером-охранником у миллионера был.

И вот катим мы как-то августовским полднем по главной улице, по Книгштрассе. Трибунал, который военных преступников судит, в Берлине собрался, но переедет в Нюрнберг, как только я все что нужно тут приготовлю. Улица еще там, сям мусором всяким завалена. Пленные немцы расчищают полосу движения, а за ними американская военная полиция присматривает, да так строго оказывается, негритянскому подразделению это дело поручено. Тогда в армии у нас еще

сегрегация была. Либо сплошь черный полк, либо сплошь белый, это не считая офицеров, потому что офицеры все равно почти всегда одни белые. Не скажу, чтобы мне это тогда чем-то странным казалось. О черных я вообще ничего не знал. В особняке Маккоуна черной прислуги не было, и в школах моих кливлендских черных тоже не было. Даже когда я коммунистом стал, ни одного черного среди моих приятелей не появилось.

У церкви Святой Марты на Книгштрассе — крыша снесена прямым попаданием бомбы — мой мерседес остановил патруль. Американская военная полиция, белые. Ищут таких, которые не там, где им полагается быть, — цивилизацию-то уже начали восстанавливать по кирпичику. Дезертиров ищут из всех армий, какие ни есть, включая американскую, а также еще не опознанных военных преступников, и свихнувшихся, и просто уголовный элемент, который поразбежался с приближением фронта, и граждан Советского Союза — кого немцы угнали, а кто сам к ним переметнулся, и теперь вот на родину возвращаться для них труба: посадят, а то и к стенке. Но все равно надо было, чтобы русские к себе в Россию вернулись, а поляки в Польшу, а мадьяры в Венгрию, и эстонцы в Эстонию, и так

далее. В общем, каждый пусть домой собирается, неважно, что там да как.

Любопытно, подумал я, где же полиция переводчиков берет, мне-то вот никак не удается подыскать толковых. Особенно мне нужны были такие, которые по три языка знают, чтобы помимо немецкого и английского могли еще с французами объясняться или с русскими. Да к тому же воспитанные должны быть люди, приятные в обращении, и чтобы я на них мог положиться. Вышел я из мерседеса своего, решил взглянуть, как проводят опросы задержанных. И вижу — ну, дела! — всем мальчишка такой заправляет цыганистого вида. Ясное дело, это Рут была. Ей в санпропускнике голову обрили, чтобы вывести вшей. Штаны, гимнастерка на ней армейские, но ни погон нет, ни знаков различия. Любо-дорого было смотреть, как она с каким-то живым скелетом управляется, которого полицейские привели, — выпытывает, кто он и откуда. На семи языках, кажется, пробовала с ним заговорить, нет, на восьми, и до того легко с одного на другой переходит, совсем как пианист, который пробует разные тональности. И жестикуляция при этом меняется, руки словно другие.

И вдруг, вижу, скелет этот в лад ей начинает

шевелить руками, и звуки издает похожие, как будто они друг с другом в рифму заговорили. Рут потом рассказывала: македонец он оказался, крестьянин югославский. А разговор у них по-болгарски шел. Его немцы угнали в Германию, хоть он на фронте вовсе и не был, и заставили работать так, словно он раб какой, — линию Зигфрида укреплять надо было. По-немецки он так и не выучился. И теперь хочет в Америку — так он Рут сказал, — чтобы стать там богатым человеком. Думаю, отправили его назад, в Македонию эту.

Рут было тогда двадцать шесть, только последние лет семь до того она скверно питалась — все турнепс да картошка, — что выглядела как засохший кустик, и не поймешь: мужчина? женщина? Оказывается, она патрулю этому случайно на глаза попалась всего-то час назад, и ее взяли, потому что она знала столько языков. Сержанта их патруля спрашиваю: сколько ж ей лет? — А он в ответ: пятнадцать, наверно. Он думал, мальчишка это, просто голос еще не поломался.

Усадил я ее к себе в мерседес, на заднее сиденье, расспрашиваю, кто она да что. Выяснилось, ее весной, месяца четыре назад, освободили из концлагеря, и с тех пор она так вот и бродит, боится обращаться в комиссии, которые ей могли бы

помочь. А то бы отлеживалась сейчас в госпитале для перемещенных лиц. Но как-то не хотелось ей кому-нибудь чужому свою судьбу вверять, хватит уже. И решила, что станет просто скитаться по дорогам совсем одна, ну как юродивые скитаются, и так вот попробует просуществовать без крыши над головой. «Меня, говорит, — никто пальцем не тронет, и я никого не обижу. Живу себе, как птички вольные живут. Ой, как хорошо было. Только Господь Бог да я, и больше никого».

Я вот что подумал, на нее глядя: она на Офелию похожа, та ведь, когда жизнь стала невыносимой, точно так же скукожилась и в лирику пустилась. У меня книжка с «Гамлетом» под рукой, посмотрим-ка, что Офелия распевала, когда уж не могла разумно объяснить, что с ней такое творится, — ерунду какую-то, помнится.

Ага, вот:

А по чем я отличу
Вашего дружка?
Плащ паломника на нем
Странника клюка.
Помер, леди, помер он.
Помер, только слег.
В головах зеленый дрок;

Камушек у ног.[9]

И дальше в том же духе.

Рут, одна из миллионов Офелий, бродивших по Европе после второй мировой войны, потеряла сознание в моем мерседесе, на заднем сиденье.

Я ее доставил в официально еще не открывшийся госпиталь на двадцать коек в Кайзербурге, это роскошный такой замок. Госпиталь предназначался исключительно для работающих в трибунале. Главным врачом там состоял один мой гарвардский однокурсник, доктор Бен Шапиро, он в студенческие годы тоже коммунистом был. А теперь он подполковник медицинской службы. В Гарварде, когда я там учился, евреев по пальцам можно было пересчитать. Точно определенная квота существовала, причем небольшая: вот столько-то евреев принять каждый год, и ни одного больше.

— Ну что, Уолтер, какие проблемы? — спрашивает. А я Рут на руках вношу, она так в себя и не пришла. Весила она — платок носовой тяжелее.

— Видишь, — говорю, — девушка вот. Еще дышит. Послушал бы, как она на разных языках говорит. Обморок у нее, понимаешь. А больше

---

[9] Примечания: 9
Перевод Б.Пастернака.

ничего про нее не знаю.

У Бена целый штат был сиделок, поваров, техников и так далее, делать им нечего, а уж лекарства, продукты — все самое лучшее, что на армейских складах нашлось, пациенты-то высокопоставленные ожидались. Так что Рут такую медицинскую помощь получила, какой тогда нигде в мире нельзя было получить, причем бесплатно. А почему? Главным образом, думаю, потому, что мы с Беном в Гарварде на одном курсе учились.

Примерно год спустя, 15 октября тысяча девятьсот сорок шестого, Рут стала моей женой. Нюрнбергский процесс закончился. В тот день, когда мы поженились и, похоже, сделали своего единственного ребенка, рейхсмаршал Герман Геринг надул тех, кто его вешать собирался, — цианистый калий проглотил.

Витамины да соли разные Рут на ноги поставили, да еще белки, а главное, само собой, уход заботливый, с любовью. Всего три недели в госпитале провела, а вижу, становится настоящей интеллигенткой из Вены — остроумной, жизнерадостной. Взял я ее на службу в качестве своего личного переводчика, и всюду она со мною разъезжала. С помощью еще одного знакомого по

Гарварду, незаметного полковника, который в Висбадене в службе тыла работал — уж наверняка на черном рынке промышлял, — удалось мне кое-какую одежку для нее раздобыть, за которую — ума не приложу, отчего, — не пришлось выложить ни доллара. Шерсть шотландская, все хлопковое из Египта, а шелк, надо полагать, прямиком из Китая. Туфли французские, к тому же сделанные еще до войны. Помню, одна пара из крокодиловой кожи была, и к ней сумочка такая же. Цены этому барахлишку не было, ведь по всей Европе, да и Северной Африке тоже, нигде бы магазинчика такого не отыскалось, чтобы подобный товар в те годы предлагал. И размеры — ну в точности как на Рут сделано. Приволокли ко мне в офис картонные коробки с этими сокровищами, которые на черном рынке раскопали, а в коробках, мол, бумага, документы размножать, собственность королевских военно-воздушных сил Канады. Привезли это добро двое неразговорчивых молодых людей, армейской санитарной машиной воспользовались, какая осталась от немцев. Один из них — Рут сразу догадалась — бельгиец был, а другой литовец, как моя мать.

Принял я доставленное, на самое крупное нарушение пошел, пока состоял чиновником государ-

ственных служб, да что крупное единственное это было у меня нарушение — до Уотергейта. И пошел я на него из-за любви.

Про любовь я с Рут разговоры повел, сразу как она из госпиталя выписалась и поступила ко мне на работу. Она же в ответ все шуточки, все замечания всякие проницательные — только очень уж мрачно она настроена была. Считала, и должен признать не без причины, что люди все до одного по природе своей злые, и нет особой разницы, мучители они, жертвы или так себе, безучастные наблюдатели. Ничего от них, говорит, ждать не приходится, только трагедии бессмысленные из всех их затей получаются, потому что не хватает соображения, чтобы добром дело окончить, даже если хотят добра. Мы, говорит, вроде опухоли, вот один участочек вселенной из-за этой опухоли уже омертвел, только она дальше и дальше пойдет.

— Что это вы мне все про любовь да про любовь, — сказала она как-то, когда я только начал за нею ухаживать. — Я ведь так думаю, что лучше бы всего детей вообще больше не рожать, пусть человечество на нас закончится.

— Ничего вы такого не думаете, — говорю, — меня не обманете. Да бросьте, Рут, я ведь вижу, в вас *столько* жизни!

Так оно и было. Да у нее любое движение хоть невзначай, а обязательно кокетливым выходило, любое словечко, а раз кокетничает, значит, верит, что жизнь должна продолжаться вечно, правильно ведь?

Обаяния в ней было, Бог ты мой! Да, а меня между тем награждали за то, что все как по маслу шло. Родина меня медали «За заслуги» удостоила, Франция — ордена Почетного легиона, Великобритания и Советский Союз благодарственные письма прислали. Хотя вообще-то всем этим я Рут обязан, она прямо чудеса творила, и каждый, кого мы принимали да размещали, блаженствовал себе — хоть бы все вкривь и вкось шло.

— Говорите вот, что вам жизнь отвратительна, откуда же у вас столько жизненной энергии берется? — спрашиваю.

— Какой там еще энергии, — машет она рукой. — Детей у меня все равно быть не может, даже если захочу.

Сами понимаете, напрасно она так думала. Просто вбила себе в голову. Кончилось тем, что она-таки родила сына — очень, между прочим, неприятный тип, он теперь рецензирует книжки в «Нью-Йорк таймс», да я уж говорил.

Так вот мы с ней и беседовали в Нюрнберге,

долго беседовали. Рядом с церковью Святой Марты разговор происходил, где нас свела судьба. Службы в этой церкви еще не возобновились. Крышу, правда, опять поставили, но где раньше окно-розетка было, пока что пришлось натянуть брезент. Старик-сторож рассказывал: окно это, а также алтарь бомбой с английского истребителя разворотило — прямое попадание. Так торжественно обо всем этом повествовал, что, видно, счел случившееся одним из чудес, на какие вера подвигает. Должен сказать, мало встречал я немцев, которых огорчало, что их страна превратилась в руины. Мужчины их ни о чем другом и говорить не желали, только про баллистику — нет, ну надо же, как научились замечательно стрелять.

— Жизнь, — говорю, — это не только детей рожать.

А она в ответ:

— Если б у меня родился, так уж точно урод какой-нибудь.

Как в воду глядела.

— Ладно, — говорю, — хватит про детей. Вы только подумайте, ведь совсем новая эпоха наступает. Мир наконец кое-чему научился, понял кое-что. Десять тысяч лет все как полоумные,

только норовили побольше хапнуть, но теперь все, тут, в Нюрнберге, черта под этим подводится. Про это еще книги будут писать. И фильмы снимут. Самый важный поворотный пункт в истории. — Тогда я действительно так думал.

— Знаете, Уолтер, — отвечает она, — мне иногда кажется, вам от роду восемь лет, не больше.

— А больше и не надо, — говорю, — раз новая эпоха начинается.

Тут по всему городу начали бить часы, шесть вечера. И в этом колокольном хоре новый голос прозвучал. Вообще-то не новый это был голос, только мы с Рут никогда его раньше в Нюрнберге не слышали. А был это густой бас Männleinlaufen,[10] как называют особенные такие часы на Фрауенкирхе, которая стоит в стороне от центра. Башню с этими часами построили четыреста лет назад, даже больше. Мои предки, и литовские, и польские, тогда, должно быть, воевали с Иваном Грозным.

На часах этих семь фигур видно было, изображающих семь выборщиков четырнадцатого века, и все они двигались. Они вокруг восьмой фигуры были поставлены, которая тоже

---

[10] Примечания: 10
Букв.: ход человечка *(нем.).*

двигалась, и эта фигура представляла Карла IV, императора Священной Римской империи, а все сооружение возвели по случаю того, что Карл IV в тысяча триста пятьдесят шестом году покончил с такими порядками, когда нельзя было выбрать правителей Германии без санкции папы. От бомбардировок часы совсем перестали ходить. Солдаты наши американские, которые хорошо разбираются в механизмах, как только в город вошли, сразу принялись чинить эти часы в свободное время. Немцы, с которыми мне доводилось иметь дело, почти все до того пали духом, что им уже безразлично стало, хоть бы этот Männleinlaufen никогда больше голоса не подал. А вот, пожалуйста, работает, как новенький. Это благодаря гению американскому выборщики снова императора своего ходить заставили.

— Пусть так, — сказала Рут, дождавшись, чтобы стих колокольный звон, — только, когда вы, восьмилетние, истребите зло вот здесь, в Нюрнберге, не забудьте, пожалуйста, труп на перекрестке зарыть да вбить осиновый кол прямо в сердце, не то выберется из могилы на свободу, как только луна взойдет, *берегитесь*!

3

Однако победил мой бестрепетный оптимизм. В конце концов Рут согласилась стать моей женой, дав мне шанс попытаться превратить ее в самую счастливую из женщин, невзирая на все кошмарное, что было в ее жизни. Она девственница была, как, в общем-то, и я, хоть мне уж тридцать три сравнялось, стало быть, полжизни позади.

Нет, вы не подумайте, я, когда в Вашингтоне крутился, конечно же, как теперь выражаются, трахался от случая к случаю то с одной, то с другой. Одна была из Женского вспомогательного корпуса. Другая — медсестра, к флоту приписана. И еще стенографистка, в Министерстве торговли работала, отдел документации. Но, если разобраться, жил я тогда строго, как монах, который всего себя одному-единственному посвятил служению победе, победе, вот именно, победе. И таких, как я, много было. Ничто на свете так мною не владело, как это одно, безраздельное — победа, победа, вот именно, победа.

На свадьбу я подарил Рут деревянную статуэточку, которую сделали по моему заказу. Две старческие руки, сложенные и воздетые в моль-

бе. Переведенный на язык скульптуры рисунок Альбрехта Дюрера, художника шестнадцатого века. Мы с Рут, пока я за нею ухаживал, много раз посещали его дом в Нюрнберге. Если память не изменяет, это я и придумал знаменитый его рисунок со сжатыми руками в пластическую форму перевести. Потом рук этих понаделали в мастерских полным-полно, в любую сувенирную лавочку зайди, и вот они, пожалуйста, — на радость малахольным, которым вздумается продемонстрировать свое благочестие.

Вскоре после нашей свадьбы перевели меня в Висбаден, неподалеку от Франкуфурта-на-Майне, и поручили возглавлять группу экспертов, которые разгребали горы немецких технических патентов, изобретения всякие отыскивали да коммерческие тайны, чтобы ими смогла воспользоваться американская промышленность. В математике я ничего не смыслю, в химии тоже, и в физике, но это не имело значения — взяли же меня на работу в Министерство сельского хозяйства, и не имело значения, что я в жизни на ферме не бывал, даже фиалки на подоконнике и то отродясь не выращивал. Кто кончил гуманитарное отделение, везде руководить сумеет, так по крайней мере тогда считалось.

Сын наш в Висбадене родился, пришлось делать кесарево сечение. Бен Шапиро всем этим занимался, он у меня и на свадьбе был шафером — его тоже в Висбаден перевели. Он как раз получил полковника. А через несколько лет сенатор Джозеф Р. Маккарти выяснит, что напрасно ему полковника дали, поскольку ни для кого не секрет: до войны Бен Шапиро был коммунистом. «Кто приказ о переводе Бена Шапиро в Висбаден отдал?» — вот что ему хотелось непременно установить.

Назвали мы сына Уолтером: Уолтер Ф. Старбек-младший. Нам и в голову прийти не могло, что он будет стыдиться этого имени, словно его Иуда Искариот-младший зовут. Только ему двадцать один год исполнился, он бегом в суд фамилию менять и не успокоился, пока не стал Уолтером Ф. Станкевичем, так и подписывает свои рецензии, которые в «Нью-Йорк таймс» появляются. Не забыли? Станкевич была фамилия моего отца, которую он поменял. Смешно мне становится, как вспомнишь рассказы отцовские, что ему сказали на Эллис-Айленд, когда он прибыл иммигрантом в Америку. Ему сказали: Станкевич — на американский слух как-то неприятно звучит, подумают, от человека с такой фамилией должно

скверно пахнуть, хоть бы он просиживал в ванне от зари до зари.[11]

Вернулся я с маленькой своей «семьей человеческой»[12] в Соединенные Штаты, опять в Вашингтон, округ Колумбия, осенью тысяча девятьсот сорок девятого. Оптимизм мой стал прямо-таки железобетонным, ни щелочки, ни трещинки не отыскать. Купили мы дом, единственный собственный дом, какой был у меня за всю жизнь, то самое крохотное бунгало в Чеви-Чейз, штат Мэриленд. На каминную полку Рут ту статуэточку поставила — руки воздетые, по рисунку Альбрехта Дюрера. Два, говорит, обстоятельства побудили ее этот вот дом выбрать, никакой другой. Во-первых, там нашлось самое подходящее местечко для рук. А во-вторых, над дорожкой к крыльцу старое, согнутое дерево нависает, тень дает. Яблоня это была дикая, по весне вся в цвету.

Спросите: она набожная, что ли, Рут ваша? Нет. Она из такой семьи происходила, где ко всем формальным обрядам относились очень скеп-

---

[11] Примечания: 11

Stink *(англ.)* — вонять.

[12] Примечания: 12

Аллюзия на знаменитую фотовыставку «Семья человеческая», популярную в Америке в 30–40-е гг.

тически — нацисты рассматривали подобный скепсис как проявление еврейского духа. Близкие Рут верующими себя не считали. Я ее как-то спрашиваю: «Ты, когда в лагере была, пробовала найти утешение в религии?»

— Нет, — говорит. — Я же понимала: Бог в такие места никогда не наведывается. И нацисты это понимали. Оттого и не боялись ничего, им только весело было. В этом сила их была, нацистов то есть. — говорит. — Они насчет Бога лучше прочих понимали. Им было известно, как сделать, чтобы Бог в их дела не вмешивался.

До сих пор голову себе ломаю, что она имела в виду, когда как-то на Рождество произнесла за столом тост, году в семьдесят четвертом это было или что-то вроде того. Тост я один и слышал, потому как никого больше у нас в бунгало не было. Сыночек даже открытки рождественской не прислал. А произнесла она вот какой тост, и я бы не удивился, если бы при первой же нашей встрече в Нюрнберге то же самое от нее услышал, только бы логично было: «Выпьем за Всемогущего Бога, первого лентяя во всей округе».

Так и сказанула.

Да, значит, сижу я на койке своей тюремной в Джорджии, руки старческие в пятнышках сло-

жил — ну, в точности как у Альбрехта Дюрера на рисунке, — и жду, когда опять для меня жизнь на воле начнется.

Нищий я был, гол как сокол.

Все сбережения свои ухнул, и страховку пришлось продать, и машину — фольксваген у меня был, и кирпичное бунгало в Чеви-Чейз, штат Мэриленд, — адвокатов ведь надо оплачивать, хотя зря старался, уж какая там защита.

Адвокаты утверждают, что я им еще сто двадцать пять тысяч долларов должен. Возможно. Все возможно.

Тут бы в самый раз славу свою запродать, только не для меня это. Я был самый старый из всех, кому пришлось держать ответ за Уотергейт, и меньше других известен публике. Никакого интереса для нее не представляю, а все оттого, думаю, что мне особенно терять нечего было — ни власти у меня, ни денег. Другие-то, кто со мной в заговоре состояли, они, как бы это выразиться, пенки снять сумеют, хоть на самой высокой колокольне суп вари. А тут что: ну, забрали чиновника, который в полуподвале штаны протирал. Что мне сделать-то могли? Разве что еще ножку подпилят на стуле моем, и без того колченогом.

Да мне и самому было наплевать. Жена у меня

умерла за две недели до моего ареста, сын со мной и разговаривать не желал. А все равно — наручники нацепили. Все как полагается.

— Фамилия? — сержант полицейский, который за мной явился, спрашивает.

Я думаю: пропадать, так с музыкой. Почему нет?

— Гарри Гудини[13] — говорю.

Взлетел с ближайшей полосы истребитель, разодрал небо в клочья. Каждый день, с утра до ночи.

«Ладно, по крайней мере я курить бросил», — думаю.

Раз как-то сам президент Никсон высказался насчет того, что курю слишком много. Я тогда только начал у него в администрации работать, весной тысяча девятьсот семидесятого это было. Вызвали меня на срочное совещание: национальные гвардейцы штата Огайо пристрелили четырех студентов университета Кент, участников антивоенной демонстрации. Человек сорок на совещание собралось. Президент Никсон сидел во главе огромного овального стола, а я в самом конце местечко занял. Первый раз я его вживе

[13] Примечания: 13

Гарри Гудини (1874–1926), знаменитый иллюзионист; его коронный номер — бесследное исчезновение со сцены на глазах публики.

увидел с тех пор, как лет за двадцать до того привелось на него взглянуть, он тогда просто конгрессменом был. До этого случая не изъявил он желания со своим специальным помощником по делам молодежи встретиться. И так получилось, что больше у него желания со мною встречаться не возникнет.

Верджил Грейтхаус присутствовал, министр здравоохранения, просвещения и социальных пособий, о котором говорили, что он из самых близких друзей президента. Он начнет срок свой отбывать в тот самый день, как мне из тюрьмы освободиться. И вице-президент Спиро Т. Агню тоже присутствовал. Его обвинят в том, что взятки брал и от уплаты налогов уклонялся, а он заявит *nolo contendere*.[14] Был еще Эмиль Ларкин, из всех президентских помощников самый озлобленный, настоящий ястреб, все его боялись. Потом он возвестит, что Иисус Христос вознамерился спасти лично его, никого другого, — ему большой срок грозил за лжесвидетельство и противодействие правосудию. Был Генри Киссинджер. Он впоследствии порекомендует массированный налет на Ханой в Рождество.

---

[14] Примечания: 14

Подчиняюсь решению суда, но своей вины не признаю *(лат.)*.

Был Ричард М. Хелмс, глава ЦРУ. Его потом уличат в том, что лгал на слушаниях в Конгрессе, хотя поклялся говорить правду, ничего, кроме правды. Х.Р. Холдмен присутствовал, и Джон Д. Эрлихман, и Чарлз У. Колсон, и Джон Н. Митчелл, генеральный прокурор. Все они тоже сядут, один за другим.

Я перед этим совещанием всю ночь не спал, набрасывал для президента свои соображения по случаю трагедии в университете Кент. Я так считал: от судебной ответственности гвардейцев надо сразу освободить, затем порицание им вынести и уволить из гвардии без права восстановления. А еще надо, чтобы президент распорядился провести повсеместную инспекцию Национальной гвардии на предмет установления, допустимо ли выдавать ей боевые патроны, когда эти штатские надевают мундиры и выходят против безоружной толпы. Надо, чтобы президент в своей речи назвал случившееся ужасной трагедией, чтобы все видели: у него сердце от горя прямо разрывается. Надо, чтобы он национальный траур объявил — день, а может, и неделю национального траура, когда везде флаги приспущены. Причем траур не только по этим погибшим из университета Кент, а по всем амери-

канцам, которых во Вьетнаме на войне убило или покалечило физически, а также психологически. И тогда он вправе еще большую, чем обычно, решимость выразить: война, без всяких сомнений, должна быть доведена до победного конца.

Только никто и не подумал пригласить меня высказаться на том совещании, и бумажки мои приготовленные никому просмотреть не захотелось.

А под конец сам президент заметил, что надо мной столб дыма стоит, так на меня и уставился — все замерли. У Эмиля Ларкина спрашивает: это кто такой?

И улыбочка кривенькая такая по его лицу пробежала, верный признак, что сейчас шуточку отпустит. Мне эта улыбочка всегда напоминала розовый бутон, по которому врезали молотком. Что же касается шуточки его, то это был единственный раз, когда он что-то действительно остроумное сказал, так по крайней мере все считают. Может, поэтому я и останусь в истории: по моему поводу Никсон единственный раз в жизни удачно пошутил.

— Прервемся на минуточку, — сказал он, — вы поглядите на нашего специального советника по делам молодежи: вот как надо костры раз-

жигать.

И все вокруг захохотали.

4

Хлопнула дверь нашего спального корпуса — а камера моя как раз над дверью, — и я подумал: вот и Клайд Картер, пришел наконец. Но тут на лестнице как запыхтят, загорланят: «Чертог с небес за мной спустился»[15] — ясное дело, Эмиль Ларкин это, ястреб президентский. Здоровенный был мужчина, глаза навыкат, губы как кровью перемазанные, просто кусок печенки, а не губы, он в свое время за Мичиганский университет в бейсбол играл, на задней линии. А теперь он всего лишь юрист, у которого отобрали лицензию, и день напролет молится да хвалу возносит тому, кого принимает за Иисуса Христа. Между прочим, на работы Ларкина не посылали, даже помещение наше убирать не требовали, потому что он все молился, по цементному полу с утра до ночи ползал, и плохо это для него кончилось. Ноги у него совсем перестали сгибаться, как у горничной набегавшейся.

Добрался он наверх, а из глаз слезы градом.

— Ах, брат мой, Старбек, — говорит, — тяжело

---

[15] Примечания: 15
Знаменитый негритянский духовный гимн.

мне по лестнице подниматься, и радуюсь я, что так тяжело.

— Понятно, — отвечаю.

— Ко мне Иисус приходил, — сообщает он. — И вот что сказал: ступай к брату Старбеку, последний раз попроси его с тобой вместе помолиться, а что трудно тебе лестницу одолеть, про это позабудь, знаешь почему? Потому что на этот раз брат Старбек преклонит колени свои, про гордыню гарвардскую позабыв, и вслед тебе молитву вознесет.

— Жаль, что огорчить Его придется, — говорю.

— А ты разве когда Его радовал? — спрашивает. — Я вот тоже раньше такой был, только огорчал Иисуса каждый день.

Не хочу представить его медоточивым лицемером, гиганта этого лепечущего, да и права у меня такого нет. Уж до того он уверовал в утешения, какие дарует вера, совсем в детство впал. Когда мы в Белом доме работали, я перед ним трепетал, как, должно быть, предки мои трепетали перед Иваном Грозным, но теперь измываться над ним можно сколько угодно. Его как ни задевай, как ни подкалывай, все ему без разницы, словно дурачку деревенскому. Позвольте добавить, что сейчас Эмиль Ларкин свои денежки исключи-

тельно на такие дела тратит, о которых всем уши прожужжал. В Цинциннати, штат Огайо, есть издательство «Хартленд хаус», религиозные книжки печатает, оно собственность корпорации РАМДЖЕК, тот же отдел, к которому и моя фирма относится, — так вот, это издательство полтора месяца назад выпустило ларкиновскую автобиографию «Брат мой, не помолишься со мною?» И что Ларкину с проданных экземпляров причитается, а это с полмиллиона долларов, если не поболе, все на Армию спасения пойдет.

— Тебе кто сообщил, что я у себя? — интересуюсь. Недоволен я был, что он заявился. Думал, выйду из тюрьмы потихоньку и не придется мне просьбы эти выслушивать, чтобы я с ним помолился напоследок.

— Клайд Картер, — говорит. Значит, тот самый конвоир, который доводится троюродным братом президенту Соединенных Штатов.

— Куда он подевался, хотел бы я знать.

А Ларкин рассказывает: вся тюремная администрация засуетилась, потому как Верджил Грейтхаус, бывший министр здравоохранения, просвещения и социальных пособий, — из богатейших он людей у нас в стране — вздумал прямо с сегодняшнего дня срок свой отбывать, хватит

уже апелляций этих да всяких проволочек. В федеральных тюрьмах, пожалуй, никогда еще не было заключенных, которые до суда такие высокие посты занимали.

Грейтхауса я в основном только по виду знал да по репутации, конечно. Кто же о нем не слышал, он ведь шишка был, фирма у него, «Грейтхаус и Смайли»; сам ее создал и до сих пор контрольный пакет акций удерживает; они мнение общественное создают, такая их специальность, вовсю трудятся, чтобы публика как можно благосклоннее относилась к разным там карибским и южноамериканским диктаторам, и к тому, что на Багамах в казино миллионы проматывают, и что всякое жулье на танкерах панамские да либерийские флаги повывешивало, и что ЦРУ весь мир своими сетями оплело, и что существуют профсоюзы, где всеми делами мафия ворочает, вроде Интернационального братства шлифовальщиков-монтажеров или Объединения обслуживающих бензоколонки, и что есть на свете международные суперконцерны типа РАМДЖЕК или «Фрукты Техаса», ну и так далее.

Лысый он был. Челюсти так и выпирают. Лоб весь в морщинах, не кожа, а доска стиральная. А в зубах трубка давно прогоревшая, в жизни

с нею не расставался, даже когда в суде давал показания. Как-то раз я совсем рядом с ним сидел, и оказалось, он на трубке своей мелодии всякие насвистывает — уметь надо. Вроде как птички чирикают. В Гарвард он поступил через шесть лет после того, как я его окончил, поэтому мы с ним там не встречались. Да и вообще виделись прежде только один раз, в Белом доме, на том самом совещании, когда я оконфузился из-за того, что дымил, точно паровоз. Для него-то я ничего собой не представлял, так, мышка незаметная, каких много шустрит по кладовкам в Белом доме. И разговором своим он меня тоже только раз удостоил, это когда уж нас обоих забрали. Случайно столкнулись мы нос к носу в коридоре суда — нас по разным статьям проводили. Выяснил он, кто я такой, и, видно, испугался, как бы я против него не начал свидетельствовать, а я и не думал. Короче, хвать меня за лацканы, а глаза так и горят, трубка во рту перекатывается — и вот такие мне посулил радости незабываемые: «Запомни, пьянь, хоть словечко про меня пикнешь, я тебе устрою: будешь счастлив, если в борделе каком в Порт-Саиде сортиры чистить пристроят, когда срок кончится».

И пока он мне судьбу мою предрекал, я и рас-

слышал, как у него в трубке птички чирикают.

Он, между прочим, квакер был, Грейтхаус этот, и Ричард М. Никсон тоже — все это знают. Это, несомненно, как-то их по-особенному связывало, оттого они одно время заделались такими душевными друзьями.

Эмиль Ларкин был просвитерианин.

Сам я по этой части вообще никто. Отца еще там, в Польше, католиком окрестили, конфессия это римско-католическая. А вырос он — стал агностик. Маму в Литве по-православному воспитывали, а в Кливленде она стала католичкой, из греческой веры в римскую перешла. Отец никогда с нею в церковь не ходил. Меня тоже католиком крестили, но мне больше импонировало отцовское равнодушие к таким делам, и с двенадцати лет я в храм ни ногой. Когда в Гарвард заявление подавал, старый мистер Маккоун, он баптист был, говорит: пиши, что ты индепендент,[16] — я и написал.

Сын мой, по слухам, унитарий,[17] причем

---

[16] Примечания: 16

Индепенденты (букв. — независимые) — наиболее радикально настроенная часть пуритан.

[17] Примечания: 17

Унитарианство (от лат. unitas — единое) — принцип единоличия бога в лице бога-отца; унитарианство противостоит доктрине триединства.

деятельный такой. А его жена как-то мне призналась, что она хоть и методистка, а поет по воскресеньям в епископальной церкви, там платят недурно. Пусть поет, жалко, что ли?

Ну и так далее.

Эмиль Ларкин, который пресвитерианин, и Верджил Грейтхаус, квакер наш, в славные старые денечки очень даже не дураки были хапнуть. И кражи крупные под их контролем находились, и с подслушанных телефонных разговоров денежки им капали, и налоговая инспекция по их распоряжению душила тех, кто поперек дороги им вставал, — все мало, они даже с благотворительных завтраков свою долю забирали. Спрашиваю я Ларкина: ну как тебе, не страшно будет с Верджилом тут повстречаться?

— Верджил Грейтхаус, — говорит, — тоже мне брат, как и любой другой, ни больше, ни меньше. Попробую его спасти, чтобы в ад не угодил, вот как тебя спасать пытаюсь. — И цитирует из Матфея про всякие ужасы, какие Христос грешникам на Судный день напророчил.

Вот что он цитирует: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его».

Меня тогда слова эти в ужас привели и сейчас

приводят. Тут вот и черпает для себя вдохновение всем известная жестокость христиан, уж это точно.

— Может, — говорю Ларкину, — Христос такое и вправду сказал, только очень уж не похоже это на все прочее, Им изреченное, так что одним только могу объяснить эти слова: видать, в тот день у Него малость в голове помутилось.

Ларкин отступил этак на шаг-другой, головой качает насмешливо — дескать, шляпу только снять остается, какой молодец.

— Видал я богохульников, — говорит, — да еще каких, только с тобою им не тягаться. Ты всех своих друзей против себя настроил шуточками своими дурацкими, а теперь и Последнего, Который готов был прийти тебе на помощь, во врага обращаешь — Христа, Спасителя нашего.

Я промолчал. Мне одного хотелось — чтобы он убрался поскорее.

— Нет, ты скажи, у тебя в друзьях-то кто остался? — не унимается.

Подумал я, что Бен Шапиро, шафер мой, наверняка от меня бы не отступился, что бы ни произошло, — приехал бы сейчас на машине да к себе домой отвез. Только это я так, сентиментальным мечтаниям поддался. Бен много

лет тому назад уехал в Израиль, и его убили на Шестидневной войне. Слышал, в его честь школа названа в Тель-Авиве.

— Ну, имя-то хоть одно назвать можешь? — все пристает ко мне Эмиль Ларкин.

— Боб Фендер, — называю. Он в тюрьме у нас единственный, кому пожизненный срок дали, вообще единственный американец, которого посадили за государственную измену, когда шла война в Корее… Вообще-то его надо именовать доктор Фендер, потому что он ученый, ветеринар. Каптеркой он у нас заведует, откуда мне скоро принесут цивильную одежду. Там, в каптерке, всегда музыка слышна, позволили Фендеру крутить, сколько хочет, пластинки одной французской певицы, Эдит Пиаф зовут, он и крутит целый день. Еще он рассказы пишет, научную фантастику, и довольно известен, что ни год, с десяток-другой таких рассказов печатает за разными подписями — среди его псевдонимов Фрэнк Икс Барлоу и Килгор Траут.

— Боб Фендер, он каждому друг и никому, — Ларкин говорит.

— Ну, Клайд Картер мне друг.

— Я про тех, кто на воле, — поясняет Ларкин. — На воле-то есть кто, чтобы помочь тебе был

готов? Видишь, никого. И сын твой собственный тоже помочь тебе не хочет.

— Посмотрим еще, — говорю.

— Ты куда отсюда, в Нью-Йорк? — спрашивает.

— Угу.

— А зачем в Нью-Йорк тебе?

— Люди там приветливые, — объясняю, — особенно к тем, у кого никаких нет знакомых, к иммигрантам нищим, из которых миллионеры получаются.

— К сыну ведь за поддержкой обратишься, хоть он словечка тебе не написал, пока ты тут сидел. — Эмиль у нас в корпусе всей почтой ведает, поэтому ему известно, писал мне кто, не писал.

— Он, если и узнает, что я с ним в одном городе нахожусь так только по чистой случайности, — отвечаю. С сынком своим я последний раз на похоронах его матери двумя словами обменялся, в Чеви-Чейз, на маленьком еврейском кладбище. Моя, исключительно моя идея была похоронить ее на этом кладбище, в этом вот обществе ее оставить, — идея, которая могла прийти в голову только старику, оказавшемуся вдруг совсем одиноким. Рут бы сказала, и правильно: совсем спятил.

Хоронили мы ее в простом сосновому гробу,

который стоил сто пятьдесят шесть долларов. На крышку я положил ветвь с цветущей нашей яблони, обломив по дороге — пилить охоты не было.

Раввин прочитал молитву на иврите, которого она не знала, даже не слыхала никогда этого языка, хотя в концлагерях, должно быть, сколько угодно возможностей имелось его выучить.

Сын мне вот что заявил, поворачиваясь спиной к отцу своему и к могиле разверстой, потому что торопился — такси его ждет.

— Мне тебя жалко, но любить тебя я не могу и не стану. Я так думаю, ты и сжил со свету эту несчастную женщину. И никакой ты мне больше не отец, вообще не родственник. Видеть тебя отныне не желаю и слышать про тебя не хочу.

Так и сказанул.

Все же надо признать, что, мечтая о Нью-Йорке у себя в тюрьме, я смутно представлял себе каких-то старых знакомых — ни одного имени назвать бы не смог, — которые мне помогут отыскать работу. Трудно, знаете, от этих мечтаний отказаться, признав, что друзей-то у тебя не осталось вовсе. Если бы жизнь чуть менее сурово со мной обошлась, сохранились бы и друзья, причем почти все из Нью-Йорка. И грезилось мне, что вот курсирую я день за днем по Манхеттену, когда

там жизнь кипит, пересекаю город с запада, где театры, на восток, до громады Объединенных Наций, и с юга, от Публичной библиотеки, на север, до отеля «Плаза», мимо зданий шествую, в которых фонды разные помещаются, издательства, книжные лавки, магазины одежды для джентльменов со средствами, клубы для них же, а где-то поблизости дорогие отели и рестораны, — и уж обязательно встречаю кого-то из старинных знакомых: он не забыл, какой я прежде был славный человек, презрения особенного ко мне тоже не испытывает, а значит, пустит в ход свое влияние, чтобы мне где-нибудь в баре работу дали.

Уж я-то, будьте уверены, хоть на коленях умолять его об этом примусь, свои диплом доктора миксерологии прямо в физиономию ему суну.

А если вдруг сына своего на улице запримечу — это я грезил так, — сразу же повернусь спиной, и пусть его своей дорогой идет.

— Христос, — никак Ларкину не надоест вещать, — велел не отступаться от грешников, но от тебя я, кажется, сейчас отступлюсь. Сидишь как пень, стены разглядываешь — ничем тебя не пронять.

— Похоже, ничем, — соглашаюсь.

— Упырь, — говорит, — ненасытный, сроду

таких не встречал.

Знаете, таких в балагане показывают: валяется в клетке на соломе и головы живым петухам откусывает, да еще при этом рычит, а все объясняют, что его привезли с острова Борнео, где он вырос среди диких зверей. По американской иерархии ниже находиться уж никак невозможно, разве если в ящик сыграешь.

Вот Ларкин, обозлившись, и взялся меня, как встарь, изводить.

— Помнишь, тебя в Белом доме так и прозвали — Упырь. Чак Колсон придумал.

— Было дело, — говорю.

— Никсон ни во что тебя не ставил. Просто пожалел. Поэтому ты и должность свою получил.

— Да знаю.

— Тебе даже на службу являться не обязательно было.

— Не обязательно.

— Мы тебе поэтому и кабинет подобрали без окон, без соседей, — пусть сразу поймет, можно и не являться, никто внимания не обратит.

— Но я-то кое-что делать все равно старался, — возражаю. Может, твой Христос примет это во внимание.

— Если насмехаться над Ним вздумал, так луч-

ше вообще помолчи, — советует он.

— Хорошо. Только ведь это ты про Него первый заговорил.

— А знаешь, когда ты упырем заделался?

Я только одно знал: с какого момента у меня в жизни все покатилось под откос — крылья сломались, и почувствовал я, что никогда больше не смогу взлететь. Больно мне вспоминать, как я все это понял, больнее не бывает. Вот и сейчас горечь на меня нахлынула, такая горечь, что заставил я себя, наконец, прямо в лицо Ларкину посмотреть и — сказал:

— Бога ради, я же старый человек, оставь ты меня в покое.

А он от радости так и сияет.

— Ура, — вопит, — видишь, Старбек, не выдержала твоя гарвардская шкура задубелая. Прошиб я тебя все-таки, а?

— Прошиб, — признаю.

— Глядишь, теперь дело легче пойдет.

— Надеюсь, нет, — буркнул я и опять уставился в стену.

— Я, — сообщает, — твой голос еще мальчишкой первый раз услышал, в Петоски, штат Мичиган.

— Понятно.

— Ты по радио говорил. Отец нас с сестренкой

тогда все время радио заставлял слушать. «Только, — предупреждал, — не провороньте ничего. Ведь сейчас совершается история, слушайте повнимательнее».

Это он, значит, тысяча девятьсот сорок девятый год вспомнил. Я со своей маленькой семьей человеческой только что вернулся в Вашингтон. И мы въехали в свое кирпичное бунгало, Чеви-Чейз, штат Мэриленд, — где дикая яблоня, помните? Начиналась осень. Яблоня вся в плодах, мелких таких, кривеньких. Рут, жена моя, собиралась джем из них сварить, она потом каждый год это делала. Спросите: как же получилось, что я по радио говорил и меня слышал у себя в Петоски маленький Эмиль Ларкин? А дело было в Палате представителей, в специальном комитете, у них свое помещение имелось. Везде микрофоны, прямо в нос тебе микрофон суют, а я даю показания, и дотошнее всех оказался один молодой конгрессмен из Калифорнии, Ричард М. Никсон, так в меня и вцепился: расскажите, дескать, про свои связи с коммунистами, вы обязаны доказать лояльность Соединенным Штатам.

Тысяча девятьсот сорок девятый: небось молодые теперь за чистую правду примут, если, глазом не моргнув, поведаю им, что этим спе-

циальным комитетам приходилось заседать на ветках, да чтобы дерево повыше было, оттого что на земле так и рыскали саблезубые тигры. Точно говорю, поверят. Тогда Уинстон Черчилль еще жив был. Иосиф Сталин тоже. Нет, вы только подумайте. А президентом был Гарри С. Трумэн. И вот Министерство обороны мне, в прошлом коммунисту, поручает подобрать команду из военных да ученых и вдобавок еще ее возглавить. Команда эта должна была разработать тактику наземных сил на случай, если на вооружении появятся атомные бомбы небольшого калибра, а все явно к этому и шло.

Комитет желал выяснить, разумно ли человеку с моей политической биографией доверять такое деликатное дело, а особенно мистер Никсон по этому поводу беспокоился. Что как возьму и передам наши тактические схемы Советскому Союзу? Или нарочно сделаю, чтобы схемы эти никуда не годились, и если нам придется воевать с Советским Союзом, то Советский Союз наверняка победит.

— Знаешь, что я, тогда радио слушая, понял? — спрашивает Эмиль Ларкин.

— Нет, — отвечаю с интонацией: мне абсолютно все равно.

— Я понял, человек может такое сделать, что его потом никто за это не простит, неважно, какие у него политические взгляды. Сам он себя за такое не простит, потому что не прощается, когда предают лучших своих друзей.

Так и не заставил я себя улыбнуться, пока он разглагольствовал насчет того, что он, дескать, тогда понял, и сейчас не заставлю, сколько ни старайся, а ведь смешно это все, правда смешно. Немыслимая получалась пародия на слушания в Конгрессе и на судебное разбирательство по гражданским делам, а кончилась эта гнусная бодяга процессом, который тянулся два года. Что он там мог слышать, когда сидел перед приемником в штанишках своих до колен?

Одни перепалки словесные, скука смертная, все равно что целый день наслаждаться треском в наушниках. Это уж когда Ларкин стал взрослым и, насмотревшись ковбойских фильмов, выработал свои моральные понятия, вот тогда и стало ему казаться, будто, ручку приемника вертя, он ясно чувствовал, что человек предает своего лучшего друга.

— Леланд Клюз никогда лучшим моим другом не был, — сказал я.

Так звали того, кто из-за моих показаний на

самое дно пошел, и фамилии наши одно время постоянно упоминались вместе: Старбек и Клюз — ну совсем как Гилберт и Салливен, или Сакко и Ванцетти, как Лорел и Харди, как Леопольд и Леб.[18]

Давненько мне не доводилось слышать, чтобы о нас опять вспомнили.

Клюз был мой сверстник, он из Йейля. А познакомились мы в Оксфорде, на регате Хенли:[19] я был рулевым, а он загребным, и наша лодка пришла первой. Я был коротышкой. А он был здоровый такой. Я коротышка и остался. А он все по-прежнему здоровый. Мы одновременно начали работать в Министерстве сельского хозяйства, кабинетики наши рядом располагались. По воскресеньям с утра играли сет-другой в теннис, если позволяла погода. Ах, денечки наши давние, салатные, мы тогда и судили обо всем как зеленые юнцы.

У нас с ним даже какое-то время машина бы-

---

[18] Примечания: 18

Гилберт и Салливен — создатели популярных комических опер, с успехом шедших в Англии и США в конце XIX — начале XX века; Лорел и Харди — знаменитые актеры-комики; Леопольд и Леб молодые чикагцы, выходцы из богатых семей, в 1924 г. убившие из «ненависти к миру» — знакомого-подростка.

[19] Примечания: 19

Ежегодно проводимая гребная гонка на Темзе.

ла одна на двоих фордовского производства, «фаэтон» марка эта называлась, — и мы на ней устраивали совместные прогулки с девушками. Фаэтон — сын Гелиоса, бога солнца. Однажды он у папы одолжил солнечную колесницу и до того безрассудно на ней раскатывал, что в Северной Африке целые области выгорели, превратившись в пустыню. Пришлось Зевсу молнией его прикончить, не то бы он всю землю спалил. Правильно Зевс сделал, я так считаю. А что еще оставалось?

Но вообще-то мы с Клюзом никогда особенно близки не были, а потом совсем разошлись: он увел у меня девушку и женился на ней сам. Она была из прекрасной семьи — Новая Англия, старинный род; им принадлежала часовая компания «Уайет», в Броктоне, штат Массачусетс, да и еще много чего принадлежало. В Гарварде на первом курсе мы с ее братом жили в одной комнате, так я с нею и познакомился. Она одна из тех четырех женщин, которых я в своей жизни по-настоящему любил. Сара ее звали, а девичья фамилия Уайет.

После того как я своими показаниями его, сам того не желая, заложил, мы лет десять, а то и побольше, не поддерживали друг с другом никаких контактов. У них с Сарой ребенок был, девочка,

на три года старше моего сына. Клюз поначалу считался самой яркой звездой в Госдепартаменте, все думали, что со временем он станет государственным секретарем, а может, и президентом. Да во всем Вашингтоне не нашлось бы человека, который так к себе притягивал, так очаровывать умел, как Леланд Клюз.

А заложил я его вот как: находясь под присягой, я по требованию конгрессмена Никсона перечислил имена людей, которые в Депрессию — кто этого не знал? — были коммунистами, а потом, когда началась вторая мировая война, проявили себя необыкновенными патриотами. И в этом почетном списке было имя Леланда Клюза. Тогда как-то без всяких комментариев обошлось. Но вернулся я под вечер домой и от жены, которая слушала мои показания по радио и за всеми другими программами новостей старалась уследить, узнал, что Леланд Клюз, оказывается, никогда с коммунистами связан не был, ну никоим образом.

Ставит Рут ужин на стол — мы тогда всем покупным кормились, потому что кухня в бунгало еще не была как следует оборудована, — и тут по радио передают, как Леланд Клюз отреагировал на мои показания. Он настаивал, чтобы его

немедленно вызвали на слушания в Когрессе, где он под присягой засвидетельствует, что никогда не был коммунистом и не проявлял ни малейшего сочувствия коммунистическим идеалам. Босс его, государственный секретарь он тоже из Йейля, — подтвердил (так радио сообщило), что Леланд Клюз — американский патриот, каких ему больше встречать не приходилось, и что свою безусловную лояльность он продемонстрировал на переговорах с представителями Советского Союза. Этих коммунистов, говорит, Клюз в пух и прах раздраконил. А вот я, наверно, как был коммунистом, так и остался, я от своих хозяев задание такое получил — заложить Леланда Клюза.

Прошло два жутких года, и Леланд Клюз сел — его уличили в лжесвидетельстве по шести пунктам. Оказался он среди первых осужденных, которые отбывали срок в только что тогда открывшейся Федеральной исправительной колонии обычного режима, которая расположена на задах авиабазы Финлеттер — тридцать пять миль от Атланты, штат Джорджия.

Мир тесен.

5

Лет двадцать спустя Ричард М. Никсон, став президентом Соединенных Штатов, вдруг заинтересовался, что там со мною сталось. Президентом он почти точно не сделался бы, если бы не прогремел на всю страну тем, что разоблачил и упек в тюрьму этого изовравшегося Леланда Клюза. Эмиссары Никсона отыскали меня, когда я — помните? — помогал жене, открывшей свою фирму дизайна, которая располагалась в нашем крохотном, кирпичной кладки бунгало в Чеви-Чейз, штат Мэриленд.

Вот через эмиссаров этих он и работу мне предложил.

Как я к этому отнесся? Чувство гордости испытал: значит, кому-то еще нужен. В конце концов, Ричард М. Никсон — это не просто какой-то там Ричард М. Никсон. Это еще и президент Соединенных Штатов Америки, а я так хотел снова послужить своей стране. Что же мне, отказываться было по той причине, что Америка тогда не такая была, какой я хотел ее видеть?

Мне, стало быть, по соображениям чести следовало так вот и замуроваться у себя в Чеви-Чейз,

где я, по сути, никому и нужен-то не был?

Нет уж, увольте.

Ага, явился, наконец, Клайд Картер, конвоир этот, которого я так долго прождал у себя в камере, — значит, сейчас на волю отправимся. А Эмиль Ларкин оставил меня к этому времени в покое, дальше поковылял.

— Ты уж извини, Уолтер, — Клайд говорит.

— Ладно, — отвечаю. — Спешить-то мне, сам понимаешь, некуда, а автобусы каждые полчаса ходят. — Поскольку никто меня встречать не приехал, придется с авиабазы Финлеттер в Атланту добираться автобусом. Да еще стоять всю дорогу, поскольку к остановке рядом с нашим бараком автобус всегда приходит битком набитый.

Клайд знал, что сыну на мои невзгоды ровным счетом наплевать. Все в тюрьме у нас про это знали. И знали, что он книжки рецензирует. Похоже, чуть не каждый, кто здесь сидит, боевики про шпионов сочиняет, мемуары какие-нибудь, романы с тайнами и все такое прочее, так что про рецензии разговор заходит то и дело, особенно про те, которые в «Нью-Йорк таймс» печатаются.

Клайд возьми да ляпни:

— Может, не надо мне про такое говорить, только сынка твоего я бы своими руками прикончил,

раз он отца даже встретить не захотел.

— Правильно, — говорю.

— Все-то у тебя правильно, — укоряет меня Клайд. — Что ни скажи, один ответ: правильно, дескать.

— Так ведь почти всегда так оно и есть: все правильно.

— Надо же, Кэрил Чессмен ну в точности то же самое сказал, когда его казнить повели, — замечает Клайд. — И ты, наверное, скажешь.

Кэрил Чессмен двенадцать лет просидел в камере смертников, в Калифорнии, — насильничал он и детей похищал, правда, никого не убил. Сам все свои апелляции составлял и прошения об отсрочке казни, а пока эта волокита тянулась, успел выучить четыре языка и сочинить две книжки, которые стали бестселлерами, но потом все-таки заперли его в тесной комнатенке без окон и пустили отравляющий газ.

Последние его слова были и правда те самые, какие Клайд вспомнил: «Все правильно».

— Послушай, — говорит Клайд. — Ты, как в Нью-Йорк приедешь, поскорее устраивайся на работу в бар, я же точно знаю, через два года хозяином бара этого станешь. — Это он по доброте, не подумайте, что и вправду он такой уж оптимист.

Просто ободрить меня старается. — А когда у тебя свой бар будет, лучший в Нью-Йорке, может, вспомнишь про старика Клайда, вызовешь меня. Я же не просто за стойкой стоять могу, я тебе кондиционеры буду чинить. А к тому времени и замки научусь ставить.

Мне было известно, что он подумывает записаться на слесарные курсы в Иллинойском Институте Инструкторов. Значит, соблазнился-таки.

— Соблазнился, что ли? — уточняю.

— Ага, — говорит, — соблазнился. Первое задание нынче прислали.

Тюрьма наша состоит из невзрачных трехэтажных военных бараков, которые поставлены в каре, посередине плац незастроенный. Прямо по центру мы с Клайдом этот плац и пересекли. Я узелок с простынками тащу. Вот тут, на плацу, юные пехотинцы, краса и гордость страны, когда-то парады устраивали, всем показывая свою готовность победить или умереть. Ладно, думаю, я тоже своей стране послужил, целых два года только то и делал, что моя страна от меня требовала. Она требовала, чтобы мне было скверно. И не требовала, чтобы я загнулся.

Кое-где в окнах лица показывались, преступ-

ники, от старости трясущиеся, — у кого сердце никуда, у кого легкие отказывают, печень барахлит, ну и так далее. А на плацу, кроме нас двоих, только еще один арестант находился. Тащит за собой необъятный мешок для мусора, длинной палкой с гвоздем на конце бумажки подцепляет. Низкорослый такой старичок, вроде меня. Завидев нас, преградил дорогу к административному корпусу, пикой своей в меня тычет — значит, имеет что-то важное сообщить. Это доктор Карло ди Санца, юрист, Неаполитанский университет ему степень присвоил. Он в Америке натурализовался, получил гражданство, а теперь вот второй уже срок отбывает по делу, называющемуся «план Понци», — они почту по-хитрому использовали. Жуткий патриот этот ди Санца, скажу я вам.

— Ну что, домой? — интересуется.

— Домой.

— Ты, — говорит, — одно всегда помни. Как бы эта страна с тобой ни обошлась, все равно она самая великая в мире. Усвоил?

— Так точно, сэр, усвоил.

— А дурак же ты был, что с коммунистами связался.

— Так то давно было.

— Если коммунисты у власти, никаких дел не

сделаешь. А что за интерес в такой стране жить, где дела сделать нельзя?

— Ошибки молодости, сэр, — оправдываюсь я.

— Я вот в Америке два раза миллионером становился, хвастает, — и опять стану.

— Обязательно станете! — Я в самом деле так думал. А как иначе, он в третий раз свой план Понци запустит, опять сумеет соблазнить дураков огромными прибылями, если они ему денежки свои доверят. Эти денежки, как прежде, он пустит на покупку особняков роллс-ройсов, яхт и тому подобного, из них же и прибыль кое-кому выплатит, как было обещано. Тут к нему, прослышав, какие он проценты дает раздувшимся от самодовольства клиентам, народ повалит толпами, а значит, деньги рекой потекут, будет из чего платить проценты тем, кто раньше записался, — ну и так далее.

Теперь-то я думаю, что сила доктора ди Санца главным образом проистекала из его непроходимой глупости. Удивительно легко ему удавалось морочить своим клиентам голову, а все оттого что, несмотря на два тюремных срока, никак до него не доходило, почему его план Понци непременно заканчивается катастрофами для участников.

— Я вот многих богатыми сделал, счастливыми, — хвалится он. О себе можешь такое сказать?

— Нет, сэр, — говорю, — пока не могу. Но попробовать никогда не поздно.

Теперь-то я, хоть в экономике не больно разбираюсь, все же никак не отделаюсь от подозрения, что любое правительство, которое успешно справляется со своими делами, — тот же самый план Понци, а по-другому просто быть не может. Оно знай себе одалживает да одалживает, и не думая возвращать. А иначе как мне объяснить моим внукам-полиглотам, что собою представляли Соединенные Штаты в тридцатые годы, когда политикам и людям, которые всем крутили, не удавалось так сделать, чтобы народ хоть на самое необходимое зарабатывал, на продукты там, одежку, на топливо к зиме. Башмаки тогда купить, это ж какая была проблема!

И вдруг смотрите, пожалуйста: те, кто еще вчера были нищими, сидят себе в офицерских клубах, выряжены с иголочки и филе с грибами заказывают, запивая шампанским. А другие недавние бедняки в столовых для рядового состава сидят, но тоже одеты, обуты, гамбургеры уписывают и запивают их пивом. Этот вот два года назад голову себе ломал, как бы залатать изорвавшиеся

подошвы, а теперь джип водит или грузовик, а то, глядишь, самолет, катер там какой-нибудь, и всего у него вдоволь: бензина, снаряжения всякого. Очки ему выдали, зубы вставили, если требовалось, и никакие больше несчастья ему не страшны — он от них застрахован. И где бы ни находился он на планете, уж будьте уверены, в День благодарения, в Рождество будет у него к столу горячая индейка под клюквенным соусом, придумают, как доставить.

Что же случилось?

А ничего другого и случиться не могло, просто план Понци заработал.

Отошел от нас доктор Карло ди Санца, а мы дальше двинулись, и Клайд давай себя поносить за то, что не умеет вперед рассчитывать. «Бармен, стало быть, кондиционеры чинить умею, замки ставлю да вот вас конвоирую, — бормочет. — Что за черт, почему ж это я плаваю-то так мелко?»

И рассказывает мне, чему научился, столько лет общаясь с арестантами из белых воротничков, а вывод для себя он вот какой сделал:

— Понимаешь, кто у нас в стране человеком стать сумел, те по-мелкому не думают.

— Человеком стать? — переспрашиваю. — Ты что несешь, они же все преступники осужден-

ные.

— Преступники, понятно, — говорит, — только почти у всех большие деньги припрятаны. А если поиздержались, так знают, как еще больше заработать можно. Ты посмотри: всякий, кто отсюда выбирается, на воле-то в свое удовольствие живет.

— Ну, значит, я исключение из правила, так и запомни. Я, как женился, почти все время на заработанное женой существовал.

— У тебя когда-то тоже миллион был, — отвечает. — А мне миллиона не видать, хоть я миллион лет проживи.

Это он про corpus delecti[20] моего уотергейтского преступления, про старомодный плоский чемодан, где лежал миллион долларов банкнотами по двадцать: самыми обыкновенными, не мечеными. Противозаконное пожертвование на нужды избирательной кампании. Пришлось эти деньги спрятать, когда люди из ФБР и из прокуратуры по особо важным делам принялись вытряхивать в Белом доме один сейф за другим. Решили, что мой мало кому известный кабинет на цокольном этаже — самое место для этого

---

[20] Примечания: 20
Вещественная улика *(лат.)*

саквояжика. А я не возражал.

Как раз в ту пору умерла моя жена.

Чемодан, увы, нашли. Явилась за мною полиция. Я-то знал тех, кто перенес чемодан ко мне в кабинет, знал, чьи распоряжения они выполняли. Все до единого шишки, хоть и пришлось им как обычным грузчикам потрудиться. Ни суду, ни адвокатам моим, вообще никому не сказал я, что это были за люди. Поэтому меня и посадили.

Из того несчастья, когда я заодно и Леланда Клюза потопил, я крепко усвоил нужный урок: отвратительно, коли дуралея какого-нибудь несчастного в тюрьму упечешь. Если под присягой такие вот показания дал, потом жизнь тебе покажется до того пошлой, до того гнусной — хуже не бывает.

И еще: ведь только что умерла моя жена. И мне стало безразлично, что будет дальше. Отупел я, совсем отупел.

Я и сейчас никому не скажу, что за люди с тем чемоданом фокусы проделывали. Да теперь уж и не важно.

Однако не могу допустить, чтобы для истории пропало сказанное одним из этих фокусников, когда чемоданчик уже стоял в моем офисе. Вот что было сказано: «И какой мудозвон выдумал в

Белом доме говно это хранить!»

— Такие, как ты, — сказал Клайд Картер, — всегда около больших денег крутятся. Если б я в Гарварде обучался, может, и меня бы в эту компанию приняли.

Послышалась музыка. Мы были рядом с каптеркой, где от зари до зари проигрыватель не останавливается. Пела Эдит Пиаф: «Non, je ne regrette rien». То есть: «Нет, я ни о чем не жалею».

Как раз она эту песню допела, когда мы с Клайдом входили в каптерку, а доктор Роберт Фендер, который тут заведует — у него пожизненный срок, — давай нас уверять, что в песне этой ему каждое слово в душу западает.

«Non!» — кричит, а глаза так и горят, улыбка до ушей растянулась. — Je ne regrette rien! Rien!

Этот Фендер, я уже говорил, был ветеринар, и он единственный в Америке, кого посадили за государственную измену, когда шла Корейская война. Могли и к расстрелу приговорить за такие дела, он же был старшим лейтенантом армии Соединенных Штатов, в Японии служил инспектором по качеству мяса, направляемого в Корею на фронт. Лишь по соображениям гуманности трибунал заменил ему высшую меру пожизненным заключением без права обжалования

приговора.

Этот предатель Америки как две капли воды похож лицом на героя Америки Чарлза Августа Линдберга.[21] Тоже высоченный, широкий в кости. В нем скандинавская кровь есть. По-французски может объясниться, хотя и с акцентом, но свободно — еще бы, столько лет дни напролет Эдит Пиаф слушает. А вообще-то, кроме нашей тюрьмы, он почти нигде и не бывал, только в Эймсе, штат Айова, да в Осаке, Япония. До того он от природы застенчивый, что, пока в Осаке не очутился, все никак не мог потерять невинность — сам как-то мне рассказывал. А в Осаке без памяти влюбился в певичку из ночного клуба, она себя за японку выдавала, — здорово она выучилась подражать Эдит Пиаф, прямо не отличишь. На самом-то деле она шпионкой была, работала на Северную Корею.

— Смотрите-ка, кто пожаловал, сам Уолтер Старбек, друг мой бесценный, — приветствовал он меня. — Как ты, ничего?

Я ему описал свое утро: сижу на койке, одна и та же песня в голове вертится: «Просеивает Салли…»

---

[21] Примечания: 21

Чарлз Линдберг (1902–1974), американский летчик, совершивший первый перелет через Атлантический океан.

Смешно ему стало. Потом-то он это мое описание вставил в свой научно-фантастический рассказ, который, сообщаю с гордостью, появится в ближайшем номере «Плейбоя», журнала, издаваемого корпорацией РАМДЖЕК. Подписан рассказ так: Фрэнк Икс Барлоу. Там говорится про бывшего судью с планеты Викуна, которая расположена на расстоянии двух с половиной галактик от Земли, этот судья освободился от собственного тела, а душа его странствует в космосе, ищет подходящую для себя планету и новое тело, в которое могла бы вселиться. Оказывается, во Вселенной почти нигде нет жизни, но под конец судья попадает на Землю, аккурат на авиабазе Финлеттер приземляется, там, где рядовой состав паркует свои машины, — тридцать пять миль от Атланты, штат Джорджия. Судья этот может выбрать для своей души любое тело, через ушное отверстие в него внедриться и обустроиться там как следует. И он подыскивает такое тело, чтобы поактивнее в жизни общества участвовать. В рассказе говорится, что душа без тела лишена возможности участвовать в жизни общества, ее же никто не видит, душу эту, а она тоже не может ни прикоснуться ни к кому, ни шум какой-нибудь произвести.

Судье кажется, что тело, которое он облюбовал, можно будет в любой момент покинуть, если выяснится, что не так оно себя ведет, как следовало бы. Он вот что не учитывает: химия организмов, которые на Викуне обитают и на Земле, совсем разная, и как только он внедрился в тело кого-то из землян — все, назад уже не вырваться. Там, в рассказе, целое небольшое эссе имеется про склеивающие вещества, которые некогда встречались на Земле, и отмечено, что самое из них сильное то, каким моллюски прилепляются к днищам, утесам, сваям и прочему такому.

«Когда моллюски только-только появляются на свет, — пишет доктор Фендер, сделав вид, что он Фрэнк Икс Барлоу, — они могут дрейфовать, куда влечет натура, забираться в любой конец любого океана, вольно странствовать по морям и по устьям впадающих в моря рек. Сверху их тельце прикрыто конусообразным панцирем. А крохотулечки-лапки болтаются под этим конусом, как язычок колокольчика, которым к обеду созывают.

Но для каждого моллюска наступает время, когда детство кончается, и тут на его панцире появляется по краям клейкое вещество, которым моллюск прилепляется к первой подвернувшей-

ся твердой поверхности, так что уже не оторвать. А потому не зря принято на Земле говорить моллюскам, когда они своей половой зрелости достигли, и бездомным душам с планеты Викуна: «Ты присядь, голубок, ты присядь».»

Описанный в рассказе викунский судья сообщает, что на планете его есть такое выражение, которым и приветствуют и прощаются, и благодарят, и просят. Оно так звучит: «Тинь-линь». Еще он сообщает, что на этой планете тело можно в любой момент снять и обратно надеть, ну как у нас на Земле одежду. И если тело сбросишь, вес исчезает, становишься прозрачный, хотя все понимаешь, все чувствуешь, только никак словом этого не можешь выразить. На Викуне, сообщает, нет музыкальных инструментов, потому что люди, когда они, сбросив тело, так вот парят, сами превращаются в мелодии. А всякие там кларнеты, арфы, рояли и прочее совсем ни к чему, это же просто машинки, то есть грубые суррогаты бестелесных душ.

Но у них там, на Викуне, оказывается, время кончилось. Трагедия там произошла, а все из-за того, что их ученые понаторели извлекать время с поверхности почв и океанов, а также из атмосферы — дома им отапливали, моторы приводили

в движение на яхтах, удобряли поля, даже в пищу его употребляли, костюмы из него шили и так далее. Подают к столу время что на обед, что на ужин, собакам и кошкам своим скармливают, очень этим, с Викуны, нравилось показывать всем на свете, какие они умные да богатые. Здоровые ломти беспечно бросали в переполненные мусорные баки пусть себе сгниют, к чертовой матери.

«На Викуне, — признается судья, — мы жили так, как будто никакого завтра не существует».

Хуже всего, говорит, были фейерверки из времени, которые устраивали по парадным дням. Он еще совсем мальцом был, когда родители повели его полюбоваться, как миллион лет из ракетниц по ветру пустят, отмечая день рождения королевы, — смотри, малыш, красота какая! Но когда судье пятьдесят исполнилось, в запасе у них уже осталось всего-то несколько недель. И все разваливаться начало, куда ни посмотришь. В стенах такие дырищи, можно насквозь пройти, даже не нагибаясь. У судьи яхта была скоростная, так она теперь так, лодочкой тихоходной сделалась. А на площадках, где играют ребятишки, появились какие-то ямы, куда дети проваливаются, и с концами.

Так что пришлось всем жителям Викуны выбраться из своих тел и по-тихому отправиться в космос. «Тинь-линь», — сказали они своей планете на прощанье.

«Аномалии времени, гравитационные возмущения и магнитные бури раскидали семьи с Викуны по всему космосу, — говорится в рассказе, — и никак им было не собраться снова вместе». Судье еще удавалось держаться рядом со своей красавицей дочкой. Она, конечно, красавицей быть перестала, поскольку тела-то у нее больше не было. А кончилось тем, что она пала духом, ведь, к какой планете ни приблизятся, нигде жизни нет. Отцу только и осталось, что безучастно наблюдать, как она внедряется в какую-то расщелину, чтобы стать душою скалы, — удержать ее от этого он все равно не может. И вот ирония судьбы: расщелина эта на Луне была, а значит, до Земли, самой многонаселенной из планет, оставалось всего двести тридцать девять тысяч миль.

А сам судья, когда он уже к авиабазе Финлеттер подлетал, очутился вдруг среди стаи грифов. Так вот с ними и летел-парил дальше, чуть к одному в ушное отверстие не внедрился. У него такое чувство, что эти плотоядные, которые падалью питаются, принадлежат к правящему классу

— так судья представляет себе социальное расслоение на Земле.

Оглядевшись, он находит, что жизнь на этом участке авиабазы, где машины паркуют, очень уж деловитая, суетливая уж очень, и тогда решает судья опять в воздух подняться, тут же и заметил несколько рядком поставленных зданий, где вроде бы жизнь течет спокойно: наверное, подумал он, тут центр для медитаций, философы тут собираются. А как ему было догадаться, что это исправительная колония обычного режима, где держат проштрафившихся из числа белых воротничков, — на Викуне-то подобных заведений вовсе нет.

Там, на Викуне, сообщает он, преступникам из числа белых воротничков, осужденным за то, что они доверием во зло воспользовались, закладывают ушные отверстия, чтобы душа не могла выбраться наружу. А потом тела помещают в искусственные колодцы, заполненные экскрементами, — по шейку погружают. А помощники шерифа разгоняют свои скоростные катера и прямо по головам едут.

Судья, видите ли, сам сотни людей приговорил к такому наказанию, и все эти преступники утверждали, что закон-то они не преступили,

только, возможно, слегка нарушили его дух, ну самую чуточку. И, прежде чем свой приговор огласить, он, чтобы слова его прозвучали весомо и недвусмысленно, водружал на голову кувшин такой, вроде ночной посуды, а уж затем зачитывал следующую сентенцию: «Вы, ребята, не с духом закона сейчас познакомитесь. Вы с телом его познакомитесь и с существом».

А в эту минуту, говорит, слышно уже было, как помощники шерифов запускают моторы на катерах, которые поблизости от суда стояли, где пруд, — «*Вж-ж-ж-ж-жик!*»

6

Судья в рассказе доктора Боба Фендера все пытается угадать, кто из философов, посещающих центр для медитаций, самый мудрый, самый ему нужный. И решает, что, наверное, тот вон низкорослый старичок, который сидит у себя на койке в спальном корпусе, третий этаж. До того уж, видать, радуется этот старичок своим глубоким мыслям, что то и дело руки над головой взмывают и хлоп! хлоп! хлоп!

Ну, внедряется судья в ушное отверстие этого старичка, раз и навеки к нему приклеился, так прочно, повествует рассказчик, «как муравей к щепочке, намазанной эпоксидной смолой». А только вслушался, что там у старичка в голове раздается, и пожалуйста:

Просеивает Салли
Золу перед крылечком,
И ногу отставляет,
И — ой! ой! ой! — пердит.
И лопнули трусы на ней,
А сито изорвалось,

А жопа так и прыгает…

* * *

Очень интересная получилась история. Судья потом еще дочку свою вызволять будет из расщелины на Луне, да много там всего. Хотя, по-моему, уж никак не хуже доподлинная история про то, как сочинитель этой истории совершил государственную измену, находясь в Осаке. Боб Фендер влюбился в шпионку, работавшую на Северную Корею, в певичку эту, которая Эдит Пиаф имитировала, с расстояния в двадцать метров влюбился: тот ночной клуб любили посещать американские офицеры, и столик его стоял ровно за двадцать метров от эстрады. Поближе сесть он так и не решился или там цветы ей послать, записочку, просто всегда за свой столик усаживался да глазел на нее, взгляд не оторвет. И всегда он один приходил, и всегда так получалось, что крупнее его ни одного мужчины в баре не найдется, — ну, в общем, певичка, которая выступала просто под именем Идзуми, начала выспрашивать у других американцев, кто да что этот Фендер.

А он был инспектором по качеству мяса, и женщин отродясь не знал, только сослуживцы решили подшутить и говорят Идзуми: он такой

насупленный да серьезный, оттого что работа у него очень важная, сплошная секретность. Говорят ей: он, дескать, командир специальной отборной части, которая охраняет атомные бомбы. А если к нему с расспросами пристать, говорят, он скажет, что ничего такого, просто инспектор он по качеству мяса.

Ну, Идзуми и принялась его обхаживать. За столик к нему садится, разрешения не спросив. Рубашку ему расстегивает, по груди гладит — соскам жутко щекотно! — и все такое. Говорит: нравятся, мол, ей такие вот крупные молчаливые мужчины, а то американцы обычно уж очень болтливые. И предлагает — давай, стало быть, к тебе домой поедем, когда клуб закроется в два ночи. Она, понятное дело, хотела выяснить, где атомные бомбы находятся. Хотя вообще-то никаких атомных бомб в Японии не было. Они на авианосцах были, на базе окинавской и так далее. Да, а Идзуми весь оставшийся вечер песенки свои исключительно для него поет, ни для кого больше. Он от радости да от смущения едва не лишился чувств. Джип у него стоял на улице перед клубом.

Залезает она в два часа ночи к нему в джип и говорит: хочется ей посмотреть, где ее большой

американец живет, и где работает тоже хочется. А он в ответ: пожалуйста, какие сложности, он ведь где работает, там и живет. И повез ее в доки, где размещались новенькие казармы корпуса тыла армии Соединенных Штатов, расквартированного в Осаке, а там посередине длинный такой сарай стоит. С одного конца кабинеты разные. С другого — двухкомнатная квартира для ветеринара, которого из Америки присылают. А посередке большие холодильные камеры, битком набитые тушами, которые Фендер уже проверил или намеревался проверить завтра. Оградой весь этот городок обнесен, у ворот часовой стоит, только дисциплинка-то — трибунал это выяснит — там сильно хромала. Часовой так свою обязанность понимал, что он должен не допускать на территорию тех, которые норовят оковалок со склада спереть, а больше ничего от него не требуется.

Короче, часовой этот — трибунал его потом оправдает спокойно пропустил джип фендеровский, даже ручкой помахал. И не заметил, что спряталась в машине женщина, которой в расположение части вход запрещен.

Идзуми просит, нельзя для нее какую-нибудь камеру открыть, а Боб-то и рад стараться. И пока они до его квартирки добрались, которая поме-

щалась в конце этого длинного сарая, стало ей понятно, что он и правда инспектор по мясу, ничего больше.

— Она такая милая была, — рассказал мне Фендер, — и я, прошу прощения, тоже был такой милый, одним словом, она у меня до утра осталась. Трусил я, сам понимаешь, жутко, я же до этого ну ни разочка. А потом говорю себе: «Хватит, Боб. Возьми себя в руки. Ты же всегда с разной живностью обращаться умел, с той самой минуты, как родился. Ты раскинь умом — просто еще один славненький зверек, неужто не справишься?»

Трибунал вот что установил: Фендер, как все прочие из армейской ветеринарной службы, с виду был вояка, но рассуждать его по-военному не выучили. Считалось, что незачем, они же за качество мяса отвечают, только и всего. Последний ветеринар, которому по-настоящему в бою участвовать довелось, оказывается, погиб на речке Малый Бигхорн, когда Кастер свою Последнюю оборону держал.[22] И еще установили: в армии, как выяснилось, нередко смотрели сквозь пальцы, если ветеринар нарушал уставы,

---

[22] Примечания: 22
Боевой эпизод периода Гражданской войны в США (1861–1865).

потому как ветеринаров очень трудно привлечь военной службой. Они, ветеринары эти, целое состояние могли нажить, особенно если их часть стояла где-нибудь в большом городе, — они по вызовам частных лиц собак да кошек лечили. Вот и Фендеру собственную квартиру предоставили в казармах, приятную такую. За мясом он ведь наблюдает как положено? Наблюдает. А раз так, кому же в голову придет за ним самим понаблюдать.

— Да хоть бы и наблюдали они за моей квартирой, — рассказывал он мне, — все равно бы ничего не нашли, ни зацепочки.

Только бы нашли там, говорит, «одно из лучших в Осаке частных собраний японской керамики и тканей». Очень он восхищался, как это у японцев все тонко да хитро сделано, прямо с ума сходил. Эта его страсть к их искусству, уж точно, еще и оттого развилась, что сам он был такой здоровый, руки — так ему казалось — неуклюжие, безобразные такие тяжелые лапищи, и вообще медведь медведем.

«Идзуми, — рассказывал он, — глазками так и шастает по полкам моим, по картинам, ящички осматривает, заглянула в буфет. Ты бы ее видел в ту минуту, как у нее то и дело менялось выра-

жение, согласился бы, что не вру я, не хвастаюсь: влюбилась она в меня, вот и все дела».

Наутро он завтрак приготовил на сковородочках японских, чайничек, кофейничек — все японское, хотя завтрак-то по-американски, яичница с беконом. А ей из постели лень вылезать, сидит себе, закутавшись в одеяло. Смотрит он на нее, и вспомнилась ему косуля, которую он мальчишкой прикармливал. Тоже мне, нашел оригинальное сравнение. А над своей новой косулей он всю ночь хлопотал. Радио включил, которое американские передачи для армии принимает. Ему музыки захотелось. А идет выпуск новостей. И главная новость, что в Осаке сегодня ночью раскрыта и обезврежена шпионская организация, работавшая на северокорейцев. Передатчик их засекли и изъяли. Все, кто в эту организацию входил, уже арестованы, осталось найти только одну шпионку, женщину, известную под именем Идзуми.

А Фендер-то к этому моменту «в другой вселенной себя ощутил» — это он так выразился. И в этой вселенной настолько ему лучше было, чем в прежней, хотя просто женщина у него появилась, только и всего, — словом, в прежнюю вселенную он ни за что возвращаться не хотел. Идзуми

призналась ему: да, я живу на свете ради коммунистической идеи, — но Фендеру почему-то не показалось, что так только враги могут разговаривать. «Я подумал: нормально рассуждает, она просто хороший человек и в другой вселенной живет».

В общем, одиннадцать дней он ее у себя прятал и при этом старательно выполнял, что требовалось по службе, осторожность проявил. А на двенадцатый день — наивный человек, да и голова у него совсем пошла кругом — спрашивает у одного матроса с новозеландского судна, доставившего говядину: возьмешься за тысячу долларов девушку из Японии вывезти? Матрос об этому своему капитану доложил, а тот американским властям. Тут же Фендера с Идзуми забрали, его в одну камеру, ее — в другую, и больше они так и не свиделись.

Про ее судьбу Фендер не знал ровным счетом ничего. Исчезла она. По слухам, которым скорее всего можно верить, ее незаконно передали южнокорейским агентам, а те доставили Идзуми в Сеул, где она без всякого судебного разбирательства была расстреляна.

Фендер ни об одном своем поступке не жалеет.

Вижу, брюки он вытащил от моего костюма

цивильного — тот самый, серый в полосочку костюм от братьев Брукс. Помнишь, говорит, у тебя тут на ширинке здоровая дыра была прожжена?

— Помню.

— А ну, где она?

Нигде ее нет. И вообще ни одной дырки нет на костюме. Он, оказывается, в штопку его посылал, в Атланту, за собственные денежки.

— Это, Уолтер, — говорит, — мой тебе подарок по случаю освобождения, носи, дорогой, на здоровье.

Я знал, что Фендер почти всем освобождающимся делает от себя подарки. А на что еще ему деньги свои расходовать, которые платят за его научную фантастику? Но вот что он мои костюм в штопку послал, это, я вам скажу, уж такая с его стороны заботливость, такая доброта — вообразить невозможно. Я так и онемел. Чуть не расплакался. И благодарю его, благодарю, а у самого слезы в глазах.

Он не успел ответить, как послышались крики и затопотали по кабинетам, выходящим окнами наружу, туда, где четырехполосное скоростное шоссе. Видно, решили, что прибыл Верджил Грейтхаус, бывший министр здравоохранения, просвещения и социальных пособий. Ложная

тревога, как выяснилось.

Клайд Картер с доктором Фендером выскочили в приемную взглянуть, что случилось. В этом корпусе двери никогда не запираются. Фендер, приди ему охота, мог бы шагать себе по коридорам да шагать, пока не выйдет из здания. Клайд был без оружия, у нас все конвоиры без оружия ходят. Решись Фендер на побег, может, кто и попробовал бы его задержать, хотя сомневаюсь. Это была бы первая попытка побега за двадцать шесть лет существования нашей тюрьмы, вряд ли бы кто-то сразу сообразил, что в таких случаях полагается делать.

Мне было все равно, прибыл Верджил Грейтхаус или еще нет. Когда явится — со всеми новенькими так, — произойдет нечто наподобие гражданской казни. А мне совсем не нравится, как человека, кто бы он ни был, хоть Верджил Грейтхаус, превращают всего лишь в подобие человека. Поэтому я остался в каптерке. Хорошо, что из-за этой суеты можно побыть одному. Подарок судьбы, и я им воспользовался. Для того воспользовался, чтобы совершить, может быть, самый непристойный за всю мою жизнь интимный поступок. Я родил надломленного, вечно ворчащего старичка — для этого только и потре-

бовалось, что в цивильный костюм облачиться.

Натянул я белые трусы из плотной ткани и носки в рубчик черные, почти до колена, в салоне мужской одежды «Тэлли-хоу» куплены, в Чеви-Чейз. Рубашку белую фирмы «Стрела» надел — из универмага «Гарфинкел» в Вашингтоне. Потом костюм от братьев Брукс, в Нью-Йорке приобретен, а к нему полосатый галстук вроде офицерского и черные башмаки, тоже в Нью-Йорке покупал. Шнурки вот порвались, узелками тугими затянуты. Ясное дело, Фендер не догадался их проверить, а то бы уж непременно новыми заменил.

Из всех этих вещей самая старая — галстук. Я его и правда носил еще во время войны. Подумать только! Один англичанин, с которым мы вместе занимались медицинским обеспечением, когда готовили высадку в Нормандии, сказал, что такие галстуки были у офицеров Королевского корпуса валлийских стрелков.

— Вас, стало быть, должны были дважды убить: на Сомме в первую мировую войну, — объяснил он, — и еще раз в эту войну, у Эль Аламейна.[23] Не самый везучий корпус, а?

---

[23] Примечания: 23

Сражение в Северной Африке в 1942 г., закончившееся победой англичан над итало-германской армией.

Полосы на этом галстуке так идут: посередине широкая бледно-голубая лента, над ней узенькая полосочка цвета молодой листвы, а внизу оранжевая. Он и сейчас на мне, этот галстук, который я нацепил, отправляясь утром в свою фирму грамзаписей «Музыка для дома», входящую в корпорацию РАМДЖЕК.

Когда Клайд Картер с доктором Фендером вернулись в каптерку, я предстал перед ними опять вольным. До того себя чувствовал неловко, словно на самом деле сию минуту на свет родился, — ноги дрожат, и сказать ничего не могу. Еще не понимал, как же я во всем цивильном выгляжу. Там, в каптерке, есть большое зеркало, только оно было к стене повернуто. Фендер, когда новенького ждет, всегда поворачивает зеркало к стене. Лишнее свидетельство, какой он деликатный. Если новичку тяжело смотреть, во что он превратился, натянув тюремную робу, так и не увидит.

Но зачем зеркало? Ведь и по выражению их лиц, Клайда и Фендера то есть, нетрудно было догадаться, что не больно-то я похожу на беспечного щеголя с бульваров из песен покойного Мориса Шевалье.[24] Клайд с Фендером тут же

[24] Примечания: 24

Морис Шевалье (1888–1972), французский шансонье, снискавший репутацию певца парижских бульваров.

постарались скрыть жалость насмешками да шуточками, только вот не успели.

Фендер давай разыгрывать моего дворецкого, а я вроде как послом состою. «Доброе утро, господин посол, — говорит. — Утро сегодня просто ослепительное. Ее Величество ожидают вас к ленчу в час дня».

А Клайд говорит: гарвардских сразу видать, есть в них что-то такое особенное. Но зеркало-то не спешат лицом ко мне повернуть, пришлось самому.

И вот кого я в зеркале увидел: костлявого старика-мусорщика, родом, должно быть, из славян. Не привык он в костюмах с галстуками разгуливать. Воротник рубашки слишком просторный, да и пиджак обвис — не костюм, а тент какой-то, вроде как в цирке. Вид угрюмый — как на похоронах. Не идет ему такой костюм, совсем не идет. Похоже, нашел его в мусорном баке, куда богатые выбрасывают свои тряпки.

Ну и пусть.

7

Уселся я на скамью, которая стоит под открытым небом у шоссе, прямо перед тюрьмой. Автобуса жду. Рядом побуревший чемодан из парусины с кожей лежит, такие офицерам выдают. В мои героические времена я его таскал за собой по всей Европе. Сверху на чемодане старая шинель, тоже от тех денечков сохранилась. Сижу одинодинешенек. Опаздывает автобус, опаздывает. А я все карманы пиджака ощупываю, хочу удостовериться, что бумаги на месте: справка об освобождении, ваучер правительственный — чтобы билет на рейс от Атланты до Нью-Йорка взять, туристским классом, деньги да диплом, удостоверяющий, что я доктор миксерологии. Солнце жарит, мочи нет.

Денег у меня было триста двенадцать долларов одиннадцать центов. Двести пятьдесят — чеком, выписанным правительственным чиновником, эти не больно-то украдешь. Собственные мои денежки, кровные. После того как десять раз пересчитали да вычли что положено, на счету у меня после ареста осталась именно эта вот сумма, до последнего цента: триста двенадцать долларов с

мелочью, на которые уж никто не посягнет — мое это, только мое.

Так, стало быть, снова к системе свободного предпринимательства предстоит приспособиться. На заботу да защиту федерального правительства мне больше рассчитывать нечего.

Я последний раз к этой системе прилаживался в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году, через два года после того, как Леланда Клюза посадили за лжесвидетельство. Десятки нашлись таких, кто дал против него показания, и намного эти показания были хуже, чем мои. Я-то всего-навсего сказал, что до войны он был членом коммунистической партии — по-моему, принадлежавших к поколению, которое росло в годы Депрессии, обвинять за это так же обоснованно, как за то, что они не пренебрегали благотворительной похлебкой. А другие-то под присягой показывали, что Клюз всю войну коммунистом оставался и передавал секретную информацию агентам Советского Союза. Обалдеть!

Для меня-то все это было полным откровением, возможно, просто враньем. Мне от Клюза ничего и не требовалось, только бы он признал, что я говорил правду, и про такое, о чем всерьез даже толковать странно. Бог свидетель, не хотел я его

заложить, не стремился, чтобы посадили его. А для себя самого ждать мне тоже было нечего, ясное дело, до конца дней буду теперь попреками себя изводить за то, что по нечаянности ножку ему подставил, никогда уже в норму не приду. А в остальном жизнь, думал я, пойдет примерно так же, как шла обычно.

Да, не спорю, моя новая работа в Министерстве обороны была не то что прежде — мне было поручено определить, сведя в таблицу, что нравится и что не нравится солдатам различных конфессий и рас в различных продуктах, составлявших их полевой рацион, причем продукты эти частью были новые, выпускавшиеся в порядке эксперимента, и надо было еще учитывать уровень образования солдат и социальное происхождение. Такие задания сейчас выполняют компьютеры, которым ни думать не приходится, ни разглядывать да ощупывать — раз, раз, и готово, — но в ту пору все, или почти все, делалось вручную. Я со своими сотрудниками сейчас кажусь себе древней экзотикой, вроде христианских монахов, которые писали гусиными перьями и разрисовывали манускрипты золотыми листьями.

Да, не спорю: те, с кем я на этой работе соприкасался, и подчиненные, и начальники, держались

со мной — не то что прежде — сухо, подчеркнуто вежливо, но отстраненно. Похоже, у них теперь просто не находилось времени перекинуться шуткой, повспоминать, как все было на войне. Наши разговоры всегда быстро заканчивались: *schnip-schnap*,[25] все понятно? Ну, так за дело, и поживей. Я это старался объяснять духом эпохи, даже говаривал, бывало, моей бедной жене, что нравится мне, какие у нас скоро будут вооруженные силы — все там по-новому, очень профессионально, и народ подтянутый такой, на лету все схватывает, а уж мобильный — дальше некуда. Такая армия в секунду какого-нибудь новоявленного Гитлера сокрушит, где бы он ни объявился, молнией на него обрушится и не оставит мокрого места. А если в какой стране начнут попирать свободу, Соединенные Штаты Америки тут как тут, и вмиг эта страна снова свободной сделается.

Да, и опять не спорю: кажется, Рут я зря пообещал в Нюрнберге, что мы с ней будем все время вращаться в обществе как-то не выходило с этим. Я-то думал, вот установим у себя телефон, так к нам пробиться будет сложно, каждую минуту

---

[25] Примечания: 25
Щелк! щелк! *(нем.)*.

кто-нибудь из старых моих товарищей звонит. И всем хочется зайти поужинать, а потом ночь напролет за рюмкой всякие разговоры вести. На кого из них ни взгляни, мужчина в самом соку, лет тридцати-сорока, — я и сам такой, — и должность у него хорошая в правительственном учреждении, и такие они все умельцы, умницы такие, опыт уже есть, научились с людьми обходиться, но, когда надо, оказываются тверже стали, короче говоря, каждый у себя в конторе самый нужный человек, какое бы место эта его контора ни занимала по социальной иерархии. Я обещал Рут, что большие люди станут у нас бывать, люди, которые занимают ответственные посты в Москве, или, допустим, в Токио, в родной ее Вене, в Джакарте, в Тимбукту, Бог весть где еще. До чего интересные вещи они нам порасскажут, до чего важные сообщат факты, уж мы-то с нею точно будем знать, что происходит в мире!

Так весело у нас будет, непринужденные разговоры за бокалом и прочее. А соседи, само собой, тоже к нам потянутся, видя, какая симпатичная компания собирается под нашей крышей со всего света и надеясь от нас услышать кое-что, о чем в газетах не прочтешь.

Рут меня утешала, очень, мол, хорошо, что

телефон молчит; если бы не моя работа, требовавшая, чтобы в любое время дня и ночи была возможность со мною связаться, она бы вообще предпочла обходиться без домашнего телефона. А что до этих предполагаемых полуночных разговоров с хорошо осведомленными людьми, так она привыкла в десять часов уже на боковую, и того, о чем в газетах не пишут, она в лагере достаточно навидалась да наслушалась, ей до конца жизни хватит и еще останется. «Понимаешь, Уолтер, говорит, — я не из тех, кому всегда надо дознаться, что в мире происходит».

Может быть, Рут таким вот способом старалась защититься от надвигающегося шторма, верней, от страха перед надвигавшейся изоляцией, и поэтому днем, когда я был на работе, снова в экзальтацию стала впадать, как с нею было сразу после лагеря помните, она, вроде Офелии, воображала себя птицей, оставшейся наедине с Богом. Мальчишку нашего — ему пять лет было, когда посадили Леланда Клюза, — она, однако, не запускала. Всегда он чистенький был, накормленный. И пить потихоньку от меня она тоже не пристрастилась. Только есть стала очень много.

Вспомнил вот, и снова про толстых да про худых мысли в голову лезут, хотя надо их гнать

— тоже мне, какой важный предмет. Бывает, что у человека тело очень уж не как у других, и на это всегда обращают внимание, хотя о жизни, которая совершается в этом теле, его размеры почти никак не помогают догадаться. Я ведь признался уже вам, что совсем не вышел ростом — меня в лодке рулевым держали. Но ничего это вам про меня не объяснит. А моя жена, когда Леланда Клюза судили за лжесвидетельство, растолстела так, что весила примерно сто шестьдесят фунтов, хотя роста в ней всего пять футов.

И что с того?

Да ничего, только вот какое дело: наш сын еще в очень юном возрасте рассудил, что папаша его, которого от земли не видать, и толстуха матушка, к тому же иностранка, уж слишком выглядят непрестижно; своим приятелям, соседским детям, с которыми вместе играл, он несколько раз не поленился сообщить: меня, дескать, из приюта взяли. Как-то соседка даже специально зазвала мою жену к себе на кофе, желая выяснить, известно ли нам, кто настоящие родители нашего мальчика.

Ну и пусть.

В общем, немало прошло времени с тех пор, как Леланда Клюза посадили, года два, если

быть точным, и тут меня вызывают на прием к Шелтону Уокеру, заместителю командующего сухопутными войсками. Мы с ним прежде не встречались. Он раньше никогда и не работал в правительственных ведомствах. Моих примерно лет. На войне побывал, дослужился в полевой артиллерии до майора, был в экспедиционном корпусе в Северной Африке, а потом в высадке на нормандское побережье участвовал. Но вообще-то он бизнесмен из Оклахомы. Потом мне кто-то сказал, что у него была самая крупная в этом штате фирма, которая шинами торговала. А больше всего меня вот что удивило: он, оказывается, республиканец, ну да, ведь президентом тоже стал республиканец, впервые за двадцать лет, — генерал армии Дуайт Дэвид Эйзенхауэр.

Говорит мне мистер Уокер: от своего имени хочу выразить благодарность, которую вся наша страна должна испытывать к вам за то, что многие годы вы ей верно служили, и в дни войны, и в мирное время. А потом говорит, что мой опыт администратора, несомненно, принесет гораздо более весомые плоды, в сфере частного бизнеса. Начинается экономический спад, говорит, так что придется закрывать программу, в которой я занят. И многие другие программы тоже придется

закрыть, так что у него нет возможности предложить мне что-нибудь взамен, как бы ему этого ни хотелось. Короче, меня увольняют со службы. Даже и сейчас не берусь судить, жестокость это с его стороны была или нет, когда он мне сказал, протянув на прощанье руку: «Мистер Старбек, вы человек с большими дарованиями, которые сможет по-настоящему оценить свободный рынок, наша система свободного предпринимательства. Уверен, вы в ней быстро найдете свое место. Удачи вам!»

А что я про это свободное предпринимательство знал? Теперь-то мне многое о нем известно, а в те дни и представления не имел, что оно такое. Слабо себе представлял, что это за штука, до того слабо, что несколько месяцев тешился иллюзией, будто частный бизнес и вправду готов выплачивать кругленькую сумму за услуги администратора, который, как я, всем чем хотите готов заняться. В те первые месяцы, когда я без работы сидел, говаривал я своей бедной жене, что на крайний случай у нас всегда есть в запасе последнее средство: если уж совсем припрет, я руки подниму, и пусть меня ведут на распятие, то есть на службу в «Дженерал моторс», «Дженерал электрик» или еще какой трест вроде этих. Вот

вам свидетельство, до чего Рут была ко мне снисходительна — ни разу ведь не задала вопроса, почему бы мне прямо сейчас на такую службу не поступить, раз это так просто, и по какой именно причине мне видится в частном бизнесе что-то недостойное и порочное.

— Может так выйти, что не хочешь богатым стать, а придется, однажды сказал я ей, помнится, как раз в ту пору. Сыну шесть лет было, достаточно уже умен, чтобы призадуматься над этим парадоксом. Понял он, что я хотел сказать? Нет, не понял.

А я тем временем навещал да обзванивал знакомых по другим армейским ведомствам, все старался в шутку обратить незавидное свое положение — мол, «временно на свободе», как говорят актеры, когда ангажемент не подворачивается. Смотрели на меня так, словно какое-то уродство во мне было, от смеха не удержишься: не то глаз подбит, не то большой палец на ноге сломан. А еще вот что: знакомые эти, как и я, сплошь были демократы и сразу принимались меня утешать — все понятно, дескать, стал я жертвой республиканцев, известных глупостью своей да мстительностью.

Но — увы! — прежде я жил, словно кадриль

по-виргински танцевал, когда партнерами все время меняются, и друзья, едва один контракт закончится, тут же для меня другой подыскивали, а теперь что-то никто не мог припомнить, где есть вакансии. Исчезли вдруг вакансии, словно птица дронт, двести лет назад вымершая.

Худо дело.

Правда, давние приятели держались со мной вполне непринужденно, радушно, и даже сейчас я не стал бы утверждать, что мне за Леланда Клюза от них доставалось, если бы не тот случай, когда я обратился за помощью к одному злобному старику, который к правительственным службам никакого отношения не имел, а этот старик — как же я был шокирован! — Прямо-таки наслаждался, показывая, до чего я ему отвратителен, и не скрыл, почему. Тимоти Бим его звали. До войны он работал в администрации Рузвельта, помощником министра сельского хозяйства был. Он мне и предложил тогда первую мою должность в государственном учреждении. Тоже гарвардец и, как я, по стипендии Родза в Оксфорд ездил. А теперь ему было семьдесят четыре года, и он возглавлял самую престижную юридическую фирму в Вашингтоне «Бим, Мернз, Уэлд и Уэлд», причем единственный из владельцев непосредственно

вел дела.

Я позвонил ему, предложил вместе пообедать. Он отказался, Большинство моих знакомых тоже отказывались. Бим сказал, что может уделить мне полчаса ближе к вечеру, но не понимает, о чем нам разговаривать.

— Скажу откровенно, сэр, мне нужна работа — лучше бы всего в каком-нибудь фонде или музее. Что-то такое.

— А-а, — протянул он, — так вы работу ищете, вот оно что. Ладно, об этом можно побеседовать. Заходите, обязательно заходите. И сколько же это лет мы с вами толком не виделись?

— Тринадцать, сэр.

— Много воды за тринадцать лет может утечь, особенно если плотина от ветхости разваливается.

— Совершенно верно, сэр.

— Вот то-то же.

Я был настолько глуп, что явился к нему, как было условлено.

Принял он меня с подчеркнутой приветливостью, от начала и до конца отдававшей притворством. Познакомил со своим секретарем, молодым еще человеком, сказал, что я подаю большие надежды и у меня тоже все впереди,

все время похлопывал по плечу. А он из тех, кто, вероятно, в жизни никого по плечу не потрепал.

Направились мы к нему в кабинет, обшитый деревом, подвел он меня к глубокому кожаному креслу, мурлыча: «Ты присядь, голубок, ты присядь». На днях это, как считается, смешное выражение попалось мне в научно-фантастическом рассказе доктора Боба Фендера про судью с планеты Викуна, который отныне увековечит меня с моей странной судьбой. Вот что: я сильно сомневаюсь, чтобы Тимоти Биму прежде хоть разок вздумалось кого-то еще такими шуточками развлекать. Был этот Бим сутулый старик с пышной копной на голове — и, так уж получилось, высоченный, тогда как я, так уж получилось, — низкорослый. Могучие его руки наводили на мысль, что в былые времена он привык размахивать тяжеленным палашом истины, да и сейчас жаждет правды и справедливости. Седые брови этаким сплошным кустарничком протянулись от виска к виску, уставился он на меня, словно из-за этой живой изгороди подкарауливает, — сам по ту сторону стола сел, а голова вперед вытянута.

— Вам, должно быть, неприятно вспоминать недавнее, а?

— Неприятно, сэр, не скрою, — ответил я.

— Вы с Клюзом такой же знаменитой парой сделались, как Мэтт с Джеффером,[26] — говорит.

— Радоваться нечему, — вздыхаю.

— Да уж понятно. Очень хотел бы надеяться, что радости вы по этому случаю не испытываете ни малейшей.

Этому человеку жить оставалось всего два месяца. Тогда он, насколько могу судить, об этом и не догадывался, хотя бы смутно. Когда он умер, говорили, что Бима наверняка выдвинули бы кандидатом в Верховный суд, если бы он только дотянул до новых президентских выборов, на которых победил бы демократ. — Стало быть, сожалеете, что так все вышло, — сказал он, — и, хочу думать, поняли, о чем особенно-то сожалеть надо.

— Простите, сэр?

— Вы что, думаете, дело это только вас с Клюзом касается?

— Конечно, сэр, — отвечаю. — Ну, и наших жен, само собой. — Я правда так думал.

Он так и взвыл.

— Мне-то вы зачем такое говорите!

— Сэр?

---

[26] Примечания: 26
Знаменитые клоуны 30–40-х годов.

— Ах ты, младенец несмышленый, — шипит он, — выродок гарвардский, откуда только берутся такие говнюки? — И из-за стола встает. — Да вы с Клюзом погубили добрую репутацию целого поколения, которое честно и с пользой служило обществу, — когда теперь другое такое появится в этой стране! Боже мой, кому вы теперь нужны, что вы, что Клюз! Его вот посадили — это какой удар по всем нам! А вы без работы сидите, черта с два другая вам работа подыщется.

Я тоже поднялся.

— Позвольте заметить, сэр, законов я не нарушал.

А он в ответ:

— Самое главное, чему вас должны были научить в Гарварде, вот что: можно не нарушить ни единого закона, а все равно оказаться самым злостным из преступников.

Жаль, не объяснил, в каком из гарвардских колледжей этой его мудрости учат или прежде учили. Для меня она как откровение была.

— Мистер Старбек, — говорит, — вы, видимо, кое-что упустили из виду, ну, так я вам объясню: в мире все последние годы бушует битва между добром и злом, такая жестокая битва, что никого уже не удивляет, когда целые поля устланы те-

лами безвинно павших замечательных людей. Так неужели вы думаете, что я стану помогать выгнанному со службы бюрократу, которого, если бы от меня зависело, давно бы уж плетьми забили, вздернули да четвертовали за все то зло, которое он причинил нашей стране?

— Я только правду говорил, — бормочу. А сам от ужаса да стыда еле на ногах держусь.

— Правду, да не всю, — оборвал он меня. — К тому же эту вашу ущербную правду поспешили за полную истину выдать. «Знаем мы этих образованных да чувствительных чиновников, все они русские шпионы». Такое вот на всех углах будут теперь талдычить невежды эти да старые демагоги, им ведь только бы до власти дорваться, она, мол, им по праву принадлежит. Если бы не ваше с Клюзом идиотское поведение, попробовали бы они доказать, что каждый, у кого голова работает и сердце не камень, — уж непременно предатель! Глаза бы мои на вас не смотрели!

— Успокойтесь, сэр. — Мне бы давно встать и уйти, а я сижу, как парализованный.

— Вот, полюбуйтесь, еще один олух выискался, которого угораздило не туда сунуться да не ко времени, — говорит, — а в результате всем гуманным начинаниям нанесен ущерб, словно

нас не меньше как на столетие назад отбросило. Проваливайте к чертям собачьим!

Так и сказал.

8

Ну вот, сижу я, значит, на скамейке перед тюрьмой, автобуса жду, а солнце — оно тут, в Джорджии, горячее — так меня и поджаривает. И вижу, катит по шоссе большущий кадиллак, настоящий лимузин с голубенькими шторками на заднем окне, и сворачивает на полосу, по которой только к штабу авиабазы можно доехать. Кто там в лимузине, не видно, один шофер виден, негр, — все понятно, тюрьму высматривает. А это явно не тюрьма. Флагшток стоит, а рядом скромненькая такая плита, на которой написано: «ВВСНБ,[27] вход по служебным пропускам».

Едет лимузин дальше, повыше разворот есть, примерно через четверть мили. Потом возвращается и совсем рядом со мной тормозит, передним крылом едва в грудь мне не уперся. На блестящей черной жести — лучше любого зеркала — опять вижу старого мусорщика родом из славян. Оказывается, из-за этого вот лимузина и поднялась тут раньше ложная тревога — дескать, Верджил Грейтхаус прибыл. Он, лимузин то есть, давно уж

---

[27] Примечания: 27
Военно-воздушные силы наземного базирования.

тут курсирует, тюрьму ищет.

Вылезает шофер, меня спрашивает: это что, правда тюрьма?

И приходится мне произнести свое первое слово на воле.

— Тюрьма, — говорю.

Шофер, крупный мужчина средних лет в коричневой форме из толстой ткани в рубчик и тяжелых башмаках черной кожи — на вид этакий заботливый папаша, — открывает заднюю дверцу и говорит сидящим в полутьме:

— Джентльмены, — говорит, не то с печалью, не то с достоинством — в общем, самым подобающим тоном, — мы прибыли к месту нашего назначения. — У него на грудном кармане шелком вышиты буквы РАМДЖЕК — вот, значит, где он работает.

Впоследствии я узнал: старые приятели Грейтхауса, оказывается, сделали так, что его с адвокатами быстро и по-тихому доставили прямо из дома в тюрьму, чтобы никаких свидетелей не набежало полюбоваться его унижением. На рассвете его подобрал у служебного входа в небоскреб «Уолдорф тауэрс» на Манхеттене — он жил там — лимузин, присланный компанией «Кока-кола». И привез на сборный пункт морской

пехоты рядом с аэропортом Ла Гуардиа, прямо на взлетную полосу. На полосе его ждал служебный самолет объединения «Международные курорты». Долетели до Атланты, а там — тоже прямо на взлетной полосе — его дожидался лимузин со шторками, который выслало управление корпорации РАМДЖЕК по юго-восточным штатам.

Выходит из лимузина Верджил Грейтхаус, одет почти так же, как я: серый костюм в полоску, белая рубашка, галстук вроде офицерского. Только цвета другие. Такие галстуки носят те, кто служит в северной береговой охране. Как обычно, он трубку свою посасывает. А на меня только мельком взглянул.

Тут и оба его адвоката из машины появляются, лощеные такие, один постарше, другой помоложе.

Пока шофер из багажника чемоданы его доставал, Грейтхаус с адвокатами осматривали тюремный корпус так, словно это недвижимость, которую почему бы не приобрести, если цена сносная. Глазки у Грейтхауса поблескивали, а из трубки музыка слышна, точно птицы расчирикались. Наверно, думает — здоровый я еще мужчина, крепкий. Мне потом адвокаты его говорили: он, как только понял, что от тюрьмы

не отвертеться, стал брать уроки бокса, а также карате и джиу-джитсу.

«Так, — подумал я, про это услышав, — у нас в тюрьме драться с ним никто не станет, но обломают-то обязательно. Всех обламывают, кто по первому разу сидит. Ничего, потом зарастет, только уже не будет, как прежде было. Верджил Грейтхаус, может, и правда мужчина здоровый да крепкий, но уж не разгуливать ему, как раньше, не очухаться».

Меня он так и не узнал. Понятно, сижу себе на скамеечке, а для него я кто такой? Да вроде трупа, который в грязи валяется, когда он выбрался из своего генеральского блиндажа осмотреть поле сражения, прикинуть, какая обстановка складывается.

Не удивило это меня. Но, думаю, голос-то мог бы узнать, который из-за тюремной ограды доносится, — и не хочешь, так услышишь. Это был голос самого с ним близкого заговорщика по Уотергейту Эмиля Ларкина, который во всю глотку горланил негритянский духовный гимн «А бывает, заплачу, словно я сирота».

У Грейтхауса как-то времени не нашлось отозваться на этот голос, потому что с ближайшей полосы взлетел истребитель, разодрав небо в

клочья. У каждого, кто такого не слышал сотни раз, от этакого грохота в кишках начинает ныть, словно сейчас лопнут. И ведь всегда без всякой подготовки. «Бабах!» — как будто конец света настал.

Грейтхаус с адвокатами, да и шофер, тоже на землю повалились. Потом поднимаются и друг над другом посмеиваются, отряхиваясь. Решив, и правильно решив, что над ним небось исподтишка наблюдают да прикидывают, что за гусь, Грейтхаус принял боевую стойку, замолотил кулаками по воздуху, а сам на небо поглядывает, точно подзуживает: «Ну, где следующий? Теперь уж врасплох не застанете». А в тюрьму они не торопятся войти. Возле лимузина своего околачиваются, будто ждут, что их выйдут встречать как почетных гостей. Я так понял, Грейтхаусу, пока он на ничьей земле стоял, надо было, чтобы в последний раз показали, как ценят его высокое положение в обществе, капитуляцию при Аппоматоксе[28] чтобы разыграли: тюремный смотритель пусть будет Улисс С. Грант, а сам он, получается, генерал Роберт Ф. Ли.

---

[28] Примечания: 28

При Аппоматоксе в 1865 г. командующий армией Севера генерал Улисс С.Грант принял капитуляцию от командующего силами Юга Роберта Ф.Ли.

Только смотритель в тот день вообще находился не в штате Джорджия. Он бы приехал, если бы его заранее предупредили, что Грейтхаус решил капитулировать именно сегодня. А так он был в Атлантик-Сити, выступал на съезде Американской ассоциации контроля над выпущенными под залог. Поэтому вышел к ним Клайд Картер, который как две капли воды похож на президента Картера, помялся у дверей и к лимузину направился.

— Пройдемте, прошу вас, — улыбается Картер.

Они и пошли, сзади всех шофер два чемодана несет из отличной кожи да еще несессер в придачу. У входа Клайд забрал у него эту поклажу и вежливо так говорит: вы назад к машине ступайте.

— Мы тут сами справимся, — говорит.

Шофер и двинулся обратно к лимузину. Звали этого шофера Кливленд Лоуз, очень похоже на Леланда Клюза, человека, которого я заложил. Он только начальную школу кончил, но по пять книг в неделю прочитывал, дожидаясь за рулем своих клиентов, а это большей частью были служащие РАМДЖЕКа, поставщики его да покупатели. Этого шофера взяли в плен китайцы, когда он в Корее воевал, и какое-то время он среди китайцев

прожил, плавал разнорабочим на каботажном судне вдоль побережья Желтого моря, оттого и по-китайски может говорить вполне сносно.

Кливленд Лоуз читал сейчас «Архипелаг ГУЛАГ», рассказ о тюрьмах Советского Союза, написанный еще одним бывшим заключенным, Александром Солженицыным.

А я опять остался один-одинешенек на своей скамеечке, сижу, словно в пустоту погрузился, в самый ее центр. Я снова в ступор начал впадать, смотрю прямо перед собой и ничего не вижу, а потом руки свои дряблые вверх и — хлоп! хлоп! хлоп!

Если бы не хлопки эти, Кливленд Лоуз говорит, он бы и внимания на меня не обратил.

Но я все хлопал и хлопал, вот ему и стало любопытно. С чего это я хлопаю-то?

Думаете, я ему рассказал, с чего? Нет. Долго рассказывать, да и глупая история. Говорю: так, прошлое вспоминается, а как про что-нибудь очень хорошее вспомню, сразу руки сами от колен отрываются и — хлоп! хлоп! хлоп!

Он предложил до Атланты меня подбросить.

И вот пожалуйста: всего полчаса на воле, а уже в лимузине сейчас поеду рядом с шофером. Неплохо для начала.

А если бы Кливленд Лоуз не предложил подбросить меня до Атланты, черта с два он бы стал тем, кем теперь стал, начальником отдела кадров транспортного управления корпорации РАМДЖЕК. Транспортное управление ведает всеми лимузинами, которые по заказу предоставляются, а также таксопарками, агентствами автомобилей напрокат, стоянками и гаражами по всему свободному миру. Там и мебель можно взять на срок, если потребуется. Многие берут.

Я его спрашиваю: пассажиры-то ваши не против будут, что я с вами до Атланты поеду?

Да я, говорит, никогда их не видел и не увижу больше, они же в РАМДЖЕКе не служат. И еще пикантную такую подробность сообщает: не знал он, оказывается, что главный его пассажир сам Верджил Грейтхаус, только когда в тюрьму приехали, выяснилось. А пока до нее добирались, на Верджиле борода была нацеплена фальшивая, чтобы изменить внешность.

Оглянулся я назад — точно, вон она, борода эта, проволочкой за дверную ручку зацепилась.

Кливленд Лоуз шутит: да они, адвокаты эти, и не выйдут из тюрьмы-то. «Они, — говорит, — когда корпус этот осматривали, все вроде прикидывали, просторно ли будет в камере».

Спрашивает: вы в лимузине раньше ездили хоть раз? Зачем, думаю, человеку голову всякой ерундой забивать, и говорю: нет, не приходилось. Хотя, конечно, много раз рядом с отцом ездил на переднем сиденье разных лимузинов Александра Гамильтона Маккоуна, это еще когда мальчишкой был. А когда подрос и в Гарвард поступать готовился, на заднем сиденье разъезжал рядом с мистером Маккоуном, а от отца стеклянная перегородка нас отделяла. Мне тогда вовсе и не казалось странным, что от шофера отгораживаемся, даже никакой я тут символики не чувствовал.

Потом в Нюрнберге катался я на могучем мерседесе «дракон» так эта марка называется. Только мерседес был с откидным верхом, дурацкая такая махина, даже если бы корпус у нее пулями не был пробит и сзади было бы нормальное стекло, а не ветровое. Баварцы, как меня в этом мерседесе увидят, сразу думают — пират какой-то, зацапал краденое, ну ничего, ненадолго, у него машину эту скоро уведут, уж будьте уверены. А сейчас вот, на скамеечке сидя, я вдруг подумал: в настоящем-то лимузине мне уж лет сорок пять проехаться не выпадало! Я, хоть и высоко взобрался по служебной лестнице, таких чинов не достиг, чтобы мне

предоставили лимузин, еще ступеньки три надо было одолеть, вот тогда и свой лимузин был бы или хоть присылали бы за мной по заявке. И ни разу не удавалось мне свое начальство так к себе расположить, чтобы мне было сказано: «Послушайте, молодой человек, надо бы это обсудить без спешки. Садитесь в мою машину, по дороге и побеседуем».

А Леланд Клюз, хоть до собственной шикарной машины и не дотянул, вечно раскатывал со всякими важными стариками в их лимузинах, и они от него прямо-таки глаз не могли оторвать.

Подумаешь!

Спокойно.

Кливленд Лоуз говорит: а вы, видно, образованный.

Я признался: да, Гарвард кончил.

Тогда он мне рассказал, что коммунисты-китайцы взяли его в плен в Северной Корее, а тот китайский майор, который командовал лагерем, оказывается, тоже учился в Гарварде. Похоже, этот майор примерно моих лет, может, мы с ним даже были на одном курсе, хотя в Гарварде я с китайцами не водился. Лоуз говорит: тот китаец физику изучал и математику, а раз так, мы с ним и не могли познакомиться.

— Папаша у него был богатый, земли имел много, — рассказывает Лоуз. — А когда пришли коммунисты, они его поставили на колени, собрав всех, кто жил в той деревне, и у всех на глазах отрубили ему голову шашкой.

— И после такого сын все равно стал коммунистом?

— А он говорил, папаша у него земельный собственник, а значит, очень плохой человек.

— Да, — отвечаю, — хорошо его, видать, в Гарварде научили.

Этот гарвардский китаец близко сошелся с Кливлендом Лоузом и уговорил его, когда война кончилась, поехать в Китай, а не домой, в Джорджию. Когда Лоуз еще мальчишкой был, его двоюродного брата заживо сожгла толпа, а отца ночью вытащили из дома и отхлестали бичами эти, из ку-клукс-клана, да и его самого перед армией два раза избивали за то, что он хотел на избирательном участке зарегистрироваться. Понятно, коммунисту этому сладкоголосому не стоило больших трудов его убедить. Ну вот, он, как сказано, два года плавал на судне вдоль побережья Желтого моря, разнорабочим был. Говорит: несколько раз он влюблялся, только никто не ответил взаимностью.

— Так вы поэтому и вернулись назад?

Нет, говорит, прежде всего по другой причине — там церковной музыки негде было послушать.

— И гимн ни с кем не споешь, — продолжает он. — Да и еда у них, знаете…

— Плохая? — спрашиваю.

— Ну что вы, очень даже хорошая, — говорит. — Только такая, про которую как-то и вспоминать неохота.

— Угу, — кивнул я.

— Нельзя же просто жевать да жевать. Хочется словечком перекинуться: славно, мол, приготовлено или не очень. А много ли таких, кто в этой их еде толк знает?

Я сказал: здорово, что вы по-китайски выучились, а он в ответ — теперь бы уж ни за что не выучился.

— Голова слишком забита, — жалуется. — Тогда-то я молодой был, наивный, откуда мне было знать, что китайский язык такой трудный? Думал, ничего особенного, вроде как птицы друг с другом разговаривают, подражай им, и все дела. Ну, в общем, слышишь, как птичка поет, и сам пробуешь изобразить такую же песенку, а птичка-то тебе не верит, не дура какая-нибудь.

Китайцы, когда он сказал, что хочет вернуться

домой, с пониманием отнеслись. Он им нравился, вот они и стали за него хлопотать, пытались по замысловатым дипломатическим каналам выяснить, что его ждет на родине, если он вернется. Тогда в Китае американских представителей не было, и дипломатов из стран, с которыми Америка в союзе, тоже не было. Запрос пришлось через Москву направлять, потому что в то время Москва еще дружила с Китаем.

И вот из-за этого негра, бывшего рядового пехоты, который в армии корпус тяжелого миномета таскал, пришлось вести очень сложные переговоры на высшем дипломатическом уровне. Американцы требовали его выдачи, чтобы подвергнуть Лоуза наказанию. А китайцы утверждали, что наказание должно быть краткосрочным и почти символическим, а потом пусть он вернется к нормальной гражданской жизни, в общем-то и не отсидев, — если же нет, они отказываются его выдать. Американцы возражают: Лоуз должен каким-то образом объяснить общественности, почему он сразу после войны не отправился домой. А затем его дело рассмотрит трибунал, даст ему срок до трех лет и распорядится уволить из армии без отличия, то есть без всяких льгот и выплат. Но китайцы свое гнут: Лоуз ведь дал

обещание не предпринимать шагов, компрометирующих Китайскую Народную Республику, где к нему так хорошо относились. Если же Лоуза заставляют это обещание нарушить, они его не выпустят в Америку. Кроме того, китайцы настаивали на том, чтобы Лоуза вообще не сажать в тюрьму и выплатить все, что ему положено как военнопленному. Американцы не соглашались: обязательно надо его посадить, какая же армия позволит, чтобы дезертирство оставалось безнаказанным. И лучше бы всего посадить Лоуза еще до трибунала. А трибунал даст ему срок, который он уже отбыл, находясь в плену, да плюс то, что отсидел, дожидаясь судебного разбирательства, а значит, Лоуз может сразу после суда домой ехать. Но выплаты исключаются.

На том и сошлись.

— Понимаете, очень им было нужно, чтобы я вернулся, объяснил мне Лоуз, — потому что нескладная получалась ситуация. Они же не могли допустить, чтобы хоть один американец, какой он там ни черный, взял да задумался, пусть только на минуточку, а что, если Америка не самая лучшая страна на свете.

Спрашиваю его: а вы про доктора Фендера слышали, который осужден за государственную

измену во время Корейской войны? Он вот в этой тюрьме и сидит, робу сейчас для Верджила Грейтхауса подбирает.

— Нет, — говорит. — Мне все равно, кто еще по таким делам вляпался. Это же не клуб по интересам, правда?

А легендарную миссис Джек Грэхем-младшую, у которой контрольный пакет акций корпорации РАМДЖЕК, не приходилось ему встречать?

— Вы бы еще спросили, не доводилось ли мне встречать Господа Бога, — говорит.

Вдову Грэхем к этому времени уж лет пять никто в глаза не видел. Последний раз она появилась на публике в нью-йоркском суде, когда группа пайщиков РАМДЖЕКа подала иск, требуя от корпорации доказательств, что вдова все еще существует на свете. В газетах про это много писали, и очень, помнится, забавляла вся история мою жену. «Вот такая Америка мне нравится, — заметила она. — Так бы все время, верно?»

Миссис Грэхем явилась в судебное заседание без адвоката, но зато в сопровождении восьми телохранителей из агентства «Пинкертон инкорпорейтед», входящего в корпорацию РАМДЖЕК. У одного из этих стражей был в руках микрофон с усилителем и рупором. На миссис Грэхем кра-

совался широченный черный халат с поднятым капюшоном, застегнутым по краям крупными булавками, так что она в прорезь все видит, а ее саму никто не мог разглядеть. Одни только руки видны. Еще один телохранитель от «Пинкертона» чернильницу принес, бумагу и листок с ее отпечатками пальцев из архива федерального Бюро Расследований. Отпечатки эти ФБР приобрело, когда полиция задержала миссис Грэхем во Фрэнкфорте, штат Кентукки, за то, что она, находясь в состоянии опьянения, вела машину — в тысяча девятьсот пятьдесят втором году это было, вскоре после смерти ее мужа. Права у нее тогда отобрали на какой-то срок. А меня как раз в то время погнали с государственной службы.

Настроили усилитель, а микрофон она сунула в рукав халата, так что собравшимся было слышно каждое ее словечко. Доказала миссис Грэхем, что она миссис Грэхем, а не кто другой, вот так, прямо на месте отпечатки пальцев сделала и предложила сравнить с теми, которые доставили из архива ФБР. Под присягой заверила, что со здоровьем у нее все в порядке — физический ли аспект подразумевать или интеллектуальный — и что она осуществляет руководство всеми главными отделами своей корпорации, но ни-

когда не присутствует на совещаниях. Она по телефону ими руководит, пароль есть, чтобы не сомневались, что с нею разговаривают. Время от времени пароль меняется, никто не знает — когда. Помню, судья попросил, чтобы она назвала какой-нибудь один, и тот, который она назвала, до того мне показался волшебным, что я никогда его не забуду. «Сапожник» — вот какой был пароль. А все распоряжения, отданные по телефону, затем подтверждались по почте, она им письма посылала — всегда от руки. И в конце каждого письма была не только ее подпись, а отпечаток всех десяти ее пальцев, даже больших, хотя на самом деле они у нее тоже маленькие. Сама про них говорит: «Восемь крохотулек и две крохи».

Так-то. В общем, никаких сомнений не осталось, что миссис Грэхем действительно жива-здорова и теперь можно ей опять исчезнуть из виду, если она так хочет.

— Я мистера Лина видел, — говорит Кливленд Лоуз, — много раз видел. — Это он про Арпада Лина говорит, президента и председателя совета директоров корпорации РАМДЖЕК, очень активного и общительного человека. Он для меня самым главным начальником сделается, а также и для Кливленда, когда мы начнем работать в

корпорации РАМДЖЕК. Могу заверить вас, что Арпад Лин — самый толковый, знающий, талантливый и обаятельный начальник из всех, под чьим руководством я имел честь служить. Он просто гений по своей части — никто лучше его не умеет вовремя приобрести какую-нибудь компанию и не дать ей развалиться.

Много раз я от него слышал: «Кто со мной сработаться не может, ни с кем не сработается».

Правильно говорит, правильно.

Лоуз рассказал мне, что всего два месяца назад возил Арпада Лина, когда тот находился в Атланте. Тут, в Атланте, обанкротилось много магазинчиков, где продают журналы и кассеты, а также роскошных отелей, и Лин примчался, чтобы всех их скупить для корпорации РАМДЖЕК. Только его обскакала одна южнокорейская секта.

Лоуз спрашивает: а дети у вас есть? Есть, говорю, сын, он в «Нью-Йорк таймс» работает. Лоуз рассмеялся и заметил, что, получается, у него и у моего сына один и тот же босс — Арпад Лин. Я сегодня утром выпуск новостей не смотрел, вот и пришлось Лину объяснять мне, что корпорация РАМДЖЕК только что приобрела контрольный пакет акций «Нью-Йорк таймс» со всеми ее при-

ложениями и подчиненными фирмами, включая фабрику, производящую консервы для кошек, — вторую по мощности в целом мире.

— Он еще когда здесь был, мистер Лин то есть, сказал, что скоро ее купит. Ему в основном фабрика эта была нужна кошачья, а не «Нью-Йорк таймс».

Влезли наконец в машину оба адвоката. Все никак не успокоятся. Смешно им, что конвоир так на президента Соединенных Штатов похож. Один говорит: «Так меня и тянуло к нему обратиться, не могли бы вы, мистер президент, прямо сейчас ему амнистию объявить? Ведь он достаточно всего натерпелся. И мы бы еще в гольф сегодня успели сыграть».

Один нацепил бороду фальшивую, а другой хохочет, ну прямо Карл Маркс, говорит. И все такое. До меня им дела не было. Кливленд Лоуз говорит: вот, сына навестить приезжал. Спрашивают, за что сына-то посадили, а я в ответ: «Махинации с чеками по почте». Всего и разговора.

Покатили, стало быть, в Атланту. Помню, штучка там была одна любопытная вроде чашки, к отделению для перчаток приклеена скотчем. А из чашки выскакивает, чуть в грудь меня не ударив, длинный — с фут, не меньше — шланг,

из таких цветы в саду поливают. И на самом его конце белое колесо пластмассовое размером с тарелку. Только мы двинулись, колесо это давай меня гипнотизировать — то вверх, то вниз, когда выбоина попадется, а когда сворачиваем, то вправо сместится, то влево.

Зачем это, спрашиваю. Оказывается, игрушечный руль. У Лоуза сынишка семи лет, он его иногда с собой берет. И мальчишка это пластиковое колесо вертит, вроде как управляет лимузином. Когда мой сын маленький был, таких игрушек еще не придумали. Хотя вообще-то ему бы и не понравилось. Уже и в семь лет Уолтер терпеть не мог со мной или с матерью куда-нибудь ходить.

Хитрая, говорю, игрушка.

А Лоуз отвечает — еще какая интересная, особенно если водитель, который за настоящим рулем сидит, выпил и гонит машину, не оглядываясь, бортами встречные грузовики чуть не задевает, машины, на обочине припаркованные, и так далее. Вот бы, говорит, президенту Соединенных Штатов такое колесо при вступлении в должность вручать, чтобы не забывал: ему только кажется, что он нашей колымагой управляет.

Высадили меня у аэропорта.

Оказывается, ни на один рейс в Нью-Йорк мест

нет. Только в пять вечера удалось мне из Атланты вылететь. Ну и ладно, мне-то не все равно? Обошелся без ленча, аппетита не было. В кабинке туалета нашел книжку, мягкий переплет, почитал немножко. Там про одного типа, который никому спуску не давал и поэтому сделался главой большого международного концерна. Женщины по нему с ума сходили. Он об них ноги вытирал, а им нравится — еще, мол, еще. Сын у него наркотиками колется, а дочь нимфоманка.

Только разобрался, что к чему в книжке этой, какой-то француз ко мне пристал — лопочет по-французски и пальцем тычет, где у меня левый нагрудный карман. Я было подумал: опять прожег, хотя курить-то ведь бросил. А потом сообразил, что там, над карманом все еще пришита узкая красная ленточка, означающая, что я кавалер французского ордена Почетного легиона. Из глупой своей страсти к патетике я эту ленточку не спарывал, пока процесс шел, и в тюрьму меня с нею привезли.

Отвечаю ему по-французски, что костюм вместе с ленточкой мне достался в лавке подержанных вещей, а что эта ленточка символизирует, понятия не имею.

Тут он ледяным тоном говорит мне: «*Permettez-*

moi, monsieur»,[29] — и резким таким движением эту ленточку с кармана содрал, словно муху прихлопнул.

— *Merci*[30] — говорю и снова берусь за свою книжку.

Когда наконец отыскали для меня местечко на очередной рейс, по радио несколько раз на весь аэропорт объявили: «Мистер Уолтер Ф. Старбек, пройдите на регистрацию». Одно время кто же эту фамилию не слыхал, а теперь что-то незаметно, чтобы хоть один сообразил, кого это выкликивают, да брезгливо поморщился, догадавшись.

Через два с половиной часа я шагал по острову Манхеттен, надев свою шинель, потому что к ночи стало холодать. Солнце уже зашло. Я остановился перед витриной магазина, где продавались одни только игрушечные поезда, и полюбовался, как красиво там все оборудовано.

Не то чтобы мне негде было переночевать. Я уж почти пришел, куда следовало. Я им загодя написал. Заказал себе номер без ванной и телевизора, за неделю вперед оплатил, — отель «Арапахо», когда-то был в моде, а теперь приют для тех, кому

---

[29] Примечания: 29
Позвольте, мсье *(франц.)*

[30] Примечания: 30
Спасибо *(франц.)*

совсем уже деться некуда, и заодно бордель, это в двух шагах от Таймс-сквер.

9

Один раз я в «Арапахо» уже жил — осенью тысяча девятьсот тридцать первого. Еще только предстояло укротить огонь. Альберт Эйнштейн предсказал скорое изобретение колеса, однако не мог описать его форму и назначение так, чтобы поняли обычные женщины и мужчины. Президентом был Герберт Гувер, горный инженер. Продажа алкогольных напитков запрещалась законом, а я учился на первом курсе в Гарварде.

Действовал я согласно указаниям моего наставника Александра Гамильтона Маккоуна. Он мне написал, что я должен гульнуть в точности, как он сам гульнул, будучи первокурсником, — позвать какую-нибудь хорошенькую девочку на футбольный матч между командами Гарварда и Колумбийского университета в Нью-Йорке, а потом на всю сумму, покрывавшую мои месячные расходы, закатить ей обед с омаром, устрицами, икрой и всем прочим в знаменитом ресторане отеля «Арапахо». «После обеда отведи девушку куда-нибудь потанцевать. Надень смокинг, — писал он. — Чаевые раздавай с щедростью напившегося матроса». Знаменитый бейсболист

Джим Брейди, писал он, как-то раз съел четыре дюжины устриц, четырех омаров, четырех цыплят, четырех зажаренных голубей и четыре отбивные на косточке, четыре эскалопа и четыре бараньи котлеты — пари хотел выиграть. Все это на глазах у Лилиан Рассел.[31]

Похоже, мистер Маккоун порядочно выпил, прежде чем взяться за это письмо. «Все над книжками корпеть, — писал он, — этак можно отупеть».

А девушка, получившая от меня приглашение, была сестрой-двойняшкой моего соседа по комнате, она станет одной из четырех женщин, которых я по-настоящему любил. Первой была мама. А последней — моя жена.

Сара Уайет, так эту девушку звали. Ей недавно исполнилось восемнадцать, как и мне. Училась она в колледже для девушек из богатых семей в Уэллесли, штат Массачусетс, — колледж Пайн-Мэнор, курс обучения там занимал два года, а порядки были самые либеральные. Жила же их семья в Правде Кроссинг, это на пути из Бостона к Глостеру, на север то есть. Приезжая в Нью-Йорк, Сара останавливалась у своей бабушки с мате-

---

[31] Примечания: 31
Американская актриса и популярная певица (1861–1922).

ринской стороны, вдовы маклера, обитавшей в явно не подходящем для людей такого круга квартале тесно перепутавшихся улочек-тупиков, крохотных скверików и гостиниц в елизаветинском стиле, где можно было снять апартамент, — Тюдор-сити называется этот район, выходящий на Ист-Ривер до Сорок второй, которую он перекрыл, словно мостом. Надо же, теперь в Тюдор-сити живет мой сын, а также мистер и миссис Леланд Клюз.

Мир тесен.

Все в этом Тюдор-сити было недавней постройки, но в тысяча девятьсот тридцать первом году уже обветшало, и довольно унылый вид открылся мне из окошка такси, когда я приехал за Сарой, чтобы везти ее в отель «Арапахо». На мне был смокинг, который подогнал по фигуре лучший портной Кливленда. В кармане лежал серебряный портсигар и зажигалка, тоже из серебра, — и то, и другое подарок мистера Маккоуна. В бумажнике было сорок долларов. За сорок долларов наличными в тысяча девятьсот тридцать первом можно было купить весь штат Арканзас.

Тут опять придется вспомнить о том, кто какого роста: Сара была выше меня на три дюйма. Ее это не смущало. Совершенно не смущало, и, когда я

приехал за ней в Тюдор-сити, она ко мне вышла разряженная, на высоких каблуках. Вот вам еще более убедительное доказательство, что ничуть это ее не смущало: через семь лет Сара Уайет согласится стать моей женой.

Она была еще не совсем готова, когда я за ней явился, так что пришлось мне немножко побеседовать с бабушкой, миссис Саттон. Днем, на футболе Сара меня предупредила, что в присутствии миссис Саттон нельзя говорить про самоубийства, потому что мистер Саттон выпрыгнул из окна своего кабинета на Уолл-стрит, когда в тысяча девятьсот двадцать девятом разразился биржевой кризис.

— Какой у вас дом очаровательный, миссис Саттон, — сказал я.

— Только вам одному так кажется, — ответила она. — Уж очень он перенаселен. Да еще из кухни несет, чувствуете?

И правда, у них в квартире было всего две спальни. Все понятно, знавала миссис Саттон времена и получше. По словам Сары, был когда-то у бабушки конный завод в Коннектикуте, особняк на Пятой авеню и прочее.

Стены в их крохотной прихожей были увешаны дипломами с конных испытаний, проходивших

еще до Депресии.

— Вижу, вы часто на бегах выигрывали, — заметил я.

— Это не я выигрывала, — говорит, — выигрывали лошади.

Мы с нею расположились на складных стульях у ломберного столика, стоявшего посередине гостиной. Ни кресел, ни дивана не было. Но комната так была заставлена стеллажами, секретерами, конторками, буфетиками, комодами, гардеробами валлийской работы, платяными шкафами, старинными напольными часами и прочим, что и не догадаешься, где же окна. Выяснилось, что, помимо всего этого, она коллекционирует слуг, причем очень старых. Горничная в наколке впустила меня и удалилась, отыскав сбоку какой-то узкий проход между двумя впечатляющими образцами кабинетного мебельного искусства.

А теперь из этого же прохода появился шофер в форменной тужурке, осведомляясь у миссис Саттон, собирается ли она нынче вечером воспользоваться «электрической». Тогда у многих, а особенно — такое создавалось впечатление — у старух, были электромобили. Выглядели они как телефонные будки на колесах. Внизу на них были закреплены ужасающе тяжелые батареи.

Предельная скорость равнялась примерно одиннадцати милям в час, и каждые миль тридцать или около этого приходилось делать остановку, чтобы перезарядиться. Вместо руля там был румпель, как на яхтах.

Миссис Саттон ответила, что электрическая ей сегодня не понадобится, а старик-шофер сказал, тогда, значит, он к себе в гостиницу поедет. Были в доме еще двое слуг, которых я не увидел. Всем им пришлось ночевать в гостинице, пока вторую спальню, обычно занимаемую ими, отвели Саре.

— Наверно, думаете: живут, как на бивуаке, — сказала миссис Саттон.

— Нет, мэм.

— Да уж будьте уверены, так все и останется. Мужчины в доме нет, а одной мне где же порядок навести? Меня так воспитали, что делами должен мужчина заниматься. И в школе так говорили.

— Совершенно верно, мэм.

— Так только к английской королеве нужно обращаться, тем более что на вас такой замечательный смокинг.

— Постараюсь запомнить, — сказал я.

— Впрочем, что с вас взять, вы же совсем ребенок.

— Да, мэм.

— Так, стало быть, кем вы доводитесь Маккоунам?

Никогда я не делал вида, будто состою с Маккоунами в родстве. Но нередко пускал в ход другую легенду, которую, как и все остальное, что меня касается, придумал мистер Маккоун. Он мне не раз говорил: ничего страшного, если скажешь, что отец у тебя совсем бедный, это даже модно, а вот если признаешься, что он слуга на жалованье, такое не понравится.

Легенда состояла в следующем — и я ее повторил, беседуя с миссис Саттон:

— Мой отец — хранитель художественной коллекции мистера Маккоуна. Кроме того, он консультирует мистера Маккоуна на аукционах картин.

— Образованный человек, — заметила она.

— Он изучал историю искусств в Европе, — говорю. — Только он совсем не бизнесмен.

— Стало быть, романтик.

— Вот именно, — отозвался я. — Если бы не помощь мистера Маккоуна, не учиться бы мне в Гарварде.

— Старбек, — задумчиво произнесла она. — Почему-то Нантакет вспомнился, когда услышала

вашу фамилию.[32]

К этому я был готов.

— Да-да, — говорю, — только уже мой прадед уехал из Нантакета, когда началась золотая лихорадка, и больше туда не вернулся. Надо бы мне как-нибудь туда съездить, полистать старые бумаги, нет ли чего про нашу родословную.

— Так вы, выходит, калифорнийцы?

— Вернее будет сказать, бродяги, — уточнил я. — Конечно, в Калифорнии родичи мои пожили, но потом в Орегон перебрались, оттуда в Вайоминг, в Канаду, в Европу. Хотя предки у меня все были народ читающий, учителя и так далее.

Вот вам в чистом виде флогистон,[33] воображаемая субстанция, которую пытались отыскать в старину.

— Но происходите-то вы от китобоев, — констатирует она.

— Наверное, — соглашаюсь. Вру как по маслу, и хоть бы споткнулся.

— А китобои ведут свой род от викингов.

---

[32] Примечания: 32

Нантакет — центр китобойного промысла в США, отсюда уходил в плаванье корабль «Пекод», описанный Г. Мелвиллом в «Моби Дике», где фамилия боцмана — Старбек.

[33] Примечания: 33

По представлениям химиков XVII–XVIII веков, флогистон заключенное в веществах «начало горючести».

Я пожал плечами.

В общем, она решила, что я ей очень нравлюсь, и так до конца от этого решения не отступалась. Сара говорила мне, что бабушка часто называет меня своим юным викингом. Не дожила старушка до тех дней, когда Сара примет мое предложение, а потом меня бросит. Миссис Саттон умерла в тысяча девятьсот тридцать седьмом без цента в кармане, а из всей мебели остались только ломберный столик, два складных стула да ее кровать. Все прочие сокровища пришлось распродать, чтобы прокормить себя и старых слуг, которым без нее есть было нечего и жить негде. Они все умерли еще раньше ее. Последней умерла Тилли, старуха-горничная. Через две недели после кончины Тилли покинула сей мир и сама миссис Саттон.

А тогда, в тысяча девятьсот тридцать первом, сидел я с ней, дожидаясь, пока Сара завершит свой туалет, и она мне рассказывала, что отец мистера Маккоуна, основатель компании «Кайахога. Сталь и мосты», выстроил в Бар-Харбор, на побережье Мэна, огромный дом, где она девочкой всегда проводила лето. Когда дом был закончен, он устроил роскошный бал, наняв четыре оркестра, но никто из приглашенных не явился.

— Сочли, что это очень остроумно и аристократично вот так щелкнуть его по носу, — заметила она. — Помню, как мне было весело на следующий день. А теперь думаю: может, мы тогда просто глупые были? Нет, не потому что прекрасный бал сорвали и обидели Дэниела Маккоуна. Этот Дэниел Маккоун отвратительный был тип, вы не поверите. Глупо было воображать, как мы воображали, будто Господь Бог с восторгом взирает на наши затеи и вознаградит, забронировав нам по местечку одесную Себя, за то, что мы щелкнули по носу Дэниела Маккоуна.

Я спросил, что же сталось с этим особняком Маккоуна в Бар-Харборе. Мой наставник никогда о нем не упоминал.

— Мистер и миссис Маккоун уехали из Бар-Харбора на следующий же день, — сказала она, — вместе со своими юными сыновьями кажется, у них двое было.

— Двое, — подтвердил я. И один из них стал моим наставником. А другой председателем совета директоров и президентом «Кайахога. Сталь и мосты».

— Через месяц, — продолжала она, — пример-

но на День труда,[34] хотя тогда День труда не отмечался, словом, под конец лета прибыл специальный состав. Восемь, если не ошибаюсь, товарных вагонов и три пассажирских с рабочими, привезенными из самого Кливленда. Должно быть, с завода мистера Маккоуна. Ох, до чего они выглядели изможденными! Почти сплошь, помнится, иностранцы поляки, итальянцы, немцы, венгры. Разве разберешь? В Бар-Харборе таких и не видывали никогда. Они прямо в вагонах спали. Ели тоже в вагонах. Построили их и, как послушный скот, погнали от эшелона к особняку. Всего-то и надо было вывезти из дома художественные сокровища, живопись, статуи, гобелены, ковры, которые музейную ценность представляют. — Миссис Саттон закатила глаза. — О Господи, ну и кавардак после них остался! Они ведь потом стекла отовсюду повынимали, окна, двери все пустые стоят, на крыше дыры, где слуховые окна были. С крыши они и железо ободрали. Помню, листом железа одного рабочего насмерть прихлопнуло. На крыше дыр каких-то насверлили. Все стекло и железо было погружено в вагоны, попробуй-ка после этого ремонт сде-

[34] Примечания: 34

Праздник, отмечаемый в США и Канаде в первый понедельник сентября.

лать. Все закончили и укатили. Никто с ними словечком не перекинулся, да и они сами в разговоры не лезли.

Да, кто повидал, как отправлялся этот необыкновенный эшелон, никогда такого не забудет. В ту пору поезда вообще были в диковинку, на станцию народ сбегался послушать свистки да гудки. А этот поезд, который был прислан из Кливленда, исчез бесшумно, как призрак. Точно вам говорю, у машиниста был приказ от Дэниела Маккоуна ни в коем случае не давать гудка и не звонить в колокол.

Самый был красивый особняк на весь Бар-Харбор, вспоминала миссис Саттон, и почти всю мебель, кровати заправленные — даже перины не сняли, буфеты, уставленные фарфором и хрусталем, тысячи бутылок с вином в погребе, все так и побросали: пусть погибает.

Миссис Саттон прикрыла веки, вспоминая, как год от года ветшал и разваливался особняк.

— И никому это уроком не стало, мистер Старбек, — заключила она.

Тут из-за шкафов наконец-то появилась собравшаяся Сара. С моими орхидеями. Тоже подсказал Александр Гамильтон Маккоун.

— Ах, какая вы красивая, — сказал я, вскакивая

со своего складного стула. В самом деле, очень она была красива — высокая, стройная, золотоволосая, а глаза голубые. Кожа — просто шелк. Зубки жемчужинами поблескивают. Только вот обещаний плотской радости исходило от нее не больше, чем от ломберного столика ее бабушки.

И все последующие семь лет так оно и осталось. Для Сары Уайет лечь с мужчиной в постель было все равно что для клоуна понарошку со стула свалиться — захочу, так усижу. А чтобы усидеть, достаточно было напомнить посягавшему на нее возлюбленному, какое смешное дело он собрался затеять. Когда я ее первый раз поцеловал — было это неделю назад в Уэллесли, — у меня вдруг появилось чувство, что я превратился в тромбон, а она на нем марши наигрывает. Она так и тряслась от хохота, пока я прижимался губами к ее губам. Да еще меня щекотала. Вытащила из брюк концы рубашки — видик у меня был, должно быть, тот еще. Какой-то ужас. И не то чтобы она хихикала от нервности да смущения, с этим мужчина еще справится, если умеет быть нежным и кое-что смыслит в анатомии. Нет, она гоготала без удержу, словно в картине с братьями Маркс

снимается.[35]

Тут так и просятся слова: «У нее не все дома».

Я эти слова от своего гарвардского однокурсника услышал, который тоже ухаживал за Сарой, хотя все у них, помню, кончилось на втором свидании. Я его выспрашивал: ну как она? — А он с досадой отвечает: у нее не все дома. Кайл Денни его звали, футболист из штата Пенсильвания. Недавно мне кто-то сказал, что Кайл умер в тот день, когда японцы бомбили Перл-Харбор, — у себя в ванной, поскользнувшись, упал. И раскроил череп о кран.

Стало быть, день смерти Кайла я могу указать с образцовой точностью: седьмое декабря тысяча девятьсот сорок первого года.

— Хорошо выглядишь, милочка, — сказала миссис Саттон. Старенькая она уже была, жалость смотреть — лет на пять ей было меньше, чем мне теперь. Думаю, она в душе оплакивала внучкину красоту, которая увянет всего через несколько лет, и все такое. Мудрая была женщина.

— Чувство какое-то странное, — отозвалась Сара.

— Не верится, что ты такая красивая? — спра-

---

[35] Примечания: 35

Комические актеры, блиставшие в фарсовых лентах начала 30-х годов.

шивает бабушка.

— Нет, я знаю, что красивая. Взгляну вот в зеркало и сама думаю: «Красивая я».

— Тогда в чем же дело?

— Да смешно это — быть красивой, — говорит Сара. — Другие некрасивые, а я красивая. И Уолтер находит, что красивая. Кругом только и разговоров: «Ах, до чего ты красивая», — вот и задумаешься, а что тут такого уж замечательного?

— Ну, людям ведь приятно, что ты такая красивая, — объясняет ей бабушка.

— Мне, во всяком случае, очень приятно, — поспешил вставить я.

Сара засмеялась.

— Глупость это. Одна только глупость, и ничего больше.

— Ты бы не забивала себе голову всякой чепухой, — говорит бабушка.

— Все равно что карлику посоветовать: ты бы не забивал себе голову мыслями про то, кто какого роста. — И опять засмеялась.

— Вечно одни глупости болтаешь.

— А одни глупости кругом и вижу.

— Стань старше, и другое замечать научишься, — посулила бабушка.

— По-моему, те, кто старше, просто притворя-

ются, что понимают происходящее, — сказала Сара, — а оно так удивительно, так захватывает. Ничего эти, кто старше, не сумели заметить такого, чего я сама не замечаю. Может, если бы люди с возрастом не напускали на себя такую серьезность, никакой бы Депрессии теперь не было.

— Только все осмеиваешь, а от этого добра не будет.

— Могу и оплакивать. Хочешь, попробую?

— Нет уж, — сказала бабушка. — И вообще надоели мне эти разговоры. Отправляйся с этим милым молодым человеком, желаю вам приятно провести вечер.

— Помнишь этих несчастных женщин, которые раскрашивали часы? Вот их осмеивать не могу.

— А тебя никто и не заставляет, — ответила бабушка. — Ладно, идите.

Сара имела в виду наделавшую тогда много шума трагедию на часовом заводе. Семейство Сары было причастно к этой трагедии самым непосредственным образом и очень из-за нее переживало. Сара мне и раньше говорила, что просто вспоминать об этом не может, и то же самое говорил ее брат, живший со мной в одной комнате, и такое же чувство испытывали их родители. Трагедия разворачивалась исподволь,

и едва появились первые ее предвестия, уже ничего нельзя было поделать, а происходило все на заводе фирмы «Уайет», одной из старейших фирм Соединенных Штатов, располагавшейся в Броктоне, штат Массачусетс. Вообще говоря, трагедия не была неизбежной. Уайеты и не пытались оправдаться, даже не стали нанимать адвокатов, которые бы сняли с них вину. Оправдания тут просто не существовало.

Дело было вот как: в двадцатые годы военный флот Соединенных Штатов заключил с фирмой «Уайет» контракт на производство нескольких тысяч пар стандартных корабельных часов со светящимися стрелками. Циферблат делали черным. А стрелки и цифры вручную покрывали белой краской, содержащей радиоактивный элемент — радий. В Броктоне для раскрашивания стрелок и цифр наняли с полсотни женщин, преимущественно родственниц штатных сотрудников фирмы «Уайет». Решили: пусть заработают на всякие мелочи. Тем, у кого были маленькие дети, разрешалось работать дома.

И вот теперь все эти женщины либо умерли, либо находились при смерти, причем умирали они ужасно: сгнивали, можно сказать, заживо. Так подействовал на них радий. На суде выясни-

лось, что подрядчик всем им сказал: чтобы краска не растекалась, надо время от времени кончик кисти смачивать языком, подправляя.

Нет, вы можете себе представить? Дочь одной из этих несчастных окажется среди тех четырех женщин, которых я по-настоящему любил в нашей юдоли слез, как любил я маму, и мою жену, и Сару Уайет. Имя этой женщины Мэри Кэтлин О'Луни.

10

Моей женой я называю только Рут. Однако не удивлюсь, если на Страшном Суде Сара Уайет и Мэри Кэтлин О'Луни также будут признаны моими женами. Я, что скрывать, за ними обеими ухаживал, около одиннадцати месяцев за Мэри Кэтлин, а за Сарой около семи лет, правда, с перерывами.

Так и слышу упреки Святого Петра: «Вы, мистер Старбек, кажется, имеете нечто общее с Дон Жуаном».

Стало быть, тысяча девятьсот тридцать первый год, я вхожу в вестибюль банкетного зала при отеле «Арапахо», ведя под руку красавицу Сару Уайет, которой достанется в наследство крупнейшая американская фирма по производству часов. Хотя к этому времени семья ее сидела на мели, чуть ли не как моя собственная. То немногое, что у них еще оставалось, целиком пойдет еще не скончавшимся работницам, которые раскрашивали часы для военного флота. Эти выплаты делались в соответствии с эпохальным вердиктом Верховного суда Соединенных Штатов, определившего персональную ответственность

нанимателей за гибель их сотрудников при исполнении служебных обязанностей, если гибель явилась результатом преступного пренебрежения правилами безопасности.

Восемнадцатилетняя Сара окинула взглядом банкетный зал «Арапахо» и сказала:

— Грязно же тут, да и нет никого. — Взрыв хохота. — Но вообще мне нравится, очень даже.

Откуда ей было знать, что там, в этом замусоренном зале ресторана «Арапахо» я без тени юмора выполнял инструкции, полученные от Александра Гамильтона Маккоуна. Потом она мне говорила: ей показалось, что я шучу, объясняя, как надо быть одетым — при всем параде. Такое у нее было чувство, что мы вырядились, словно миллионеры на праздник всех святых. И она думала — уж посмеемся всласть. Как в кино на какой-нибудь комедии.

А ничего подобного: я же был ну в точности робот, в которого программу заложили.

Ах, молодость, молодость, никогда-то ты не вернешься!

Может, не так уж там было бы и грязно, если бы не вздумалось кому-то начать уборку да бросить посередине. У стены стояла неубранная стремянка. Рядом было ведро с грязной водой, в которой

мокла тряпка. Кто-то, надо думать, этой тряпкой орудовал, поднявшись на верхнюю ступеньку. Отмыл стену, сколько мог. И получилось чистое пятно, сияющее, как месяц в полнолуние, а под ним, само собой, грязные разводы.

Не знаю, кто этот месяц на стене нарисовал. Спросить было не у кого. Даже швейцара, и того не было. И в зале ни души: ни посетителей, ни мальчишек с подносами. За стойкой — вон там, подальше — тоже никого. Газетный киоск, театральная касса — все закрыто. Двери лифта, у которого никто не дежурил, заставлены стульями.

— Похоже, вообще прикрыли заведение, — заметила Сара.

— Но кто-то ведь по телефону заказ принял, — возразил я. Вежливо так, «мсье» меня называл.

— По телефону кто хочешь тебя «мсье» назовет, — сказала Сара.

Но тут откуда-то донеслись рыдания цыганской скрипки, до того жалобные, точно у скрипача вот-вот разорвется сердце. Теперь каждый раз, как вспомню рыдающую скрипку, тут же и другое вспоминается: Гитлер, который в тот год еще не был у власти, вскоре распорядится истребить всех цыган, которых сумеют поймать его солдаты

и полиция.

Музыка доносилась из-за перегораживающей зал ширмы. Мы с Сарой, набравшись смелости, отодвинули эту ширму от стены. За нею оказалась застекленная дверь с висячим замком да еще и засовом. Стекла в нее были вставлены зеркальные, так что мы лишний раз могли удостовериться, что выглядим как парочка богатеньких юнцов. Тут Сара обнаружила на зеркальной створке протершуюся дырочку. Заглянула в нее, подозвала меня — ты только посмотри. Обалдеть. Словно бросаешь взгляд в мерцающие призмы машины времени. За этой застекленной дверью был знаменитый большой зал ресторана «Арапахо» во всем своем пыльном великолепии, включая цыгана-скрипача, — до последней мелочи сохранившийся в том же виде, который имел, когда тут совершил свой подвиг бейсболист Джим Бренди. Тысячи свечей в канделябрах и на столах светились даже не тысячами, а миллионами крохотных звездочек, отражаясь в бесчисленных зеркалах, серебре, хрустале, фарфоре.

Оказалось, вот какая история: хотя ресторан находится в том же здании, где гостиница, — два шага от Таймс-сквер, — владельцы у них разные. Гостиница капитулировала: больше никаких

постояльцев. А вот ресторан только что отремонтировали, поскольку его владелец считал крах в экономике делом временным ненадолго это, ведь единственная причина в том, что у бизнесменов расшалились нервы.

Мы с Сарой просто не в ту дверь толкнулись. Как же это мы, говорю ей, а она в ответ:

— Вечная моя история. Обязательно для начала двери перепутаю.

Пришлось нам снова на улицу в темноту выйти и направиться к двери, за которой нас ждало заказанное пиршество. Мистер Маккоун велел заказать ужин предварительно. Так я и сделал. Сам хозяин ресторана поднялся нам навстречу. Он был француз. У него в петлице смокинга красовалась розетка, которая мне не говорила ничего, зато Саре была хорошо знакома, потому что такая же имелась у ее отца. Такие, объяснила она, носят кавалеры французского ордена Почетного легиона.

Сара часто проводила лето в Европе. А я там ни разу не был. Она свободно владела французским, и они с хозяином исполнили целый мадригал, перебрасываясь фразами на этом самом мелодичном из всех языков. Ума не приложу, как бы я прожил жизнь, не будь рядом со мной женщин,

способных выполнять функции переводчика. Из тех четырех, которых я любил, лишь Мэри Кэтлин О'Луни не знала ни одного языка за вычетом своего родного. Хотя и Мэри Кэтлин послужила мне переводчиком, когда, будучи гарвардским студентом и коммунистом, я пытался объясниться с американским рабочим классом.

Хозяин ресторана по-французски сообщил Саре, а она — мне, что Депрессия случилась просто из-за слабонервности. Подождите только, вот выберут президентом кого-то из демократов, и тут же будет отменен сухой закон, и опять можно будет жить в свое удовольствие.

Подвел он нас к столику. Зал, думаю, был рассчитан не меньше чем на сто посетителей, но сейчас и всего-то набралось десяток с небольшим. Стало быть, еще не перевелись люди при деньгах. Пытаюсь вспомнить их лица, и все время возникают перед глазами гравюры Георга Гросса,[36] изображающие спекулянтов да плутократов, нажившихся на бедствиях, которые Германия претерпела после первой мировой войны. Тогда, в тысяча девятьсот тридцать первом, я этих гравюр еще не видел. Ничего я тогда еще не видел.

---

[36] Примечания: 36

Георг Гросс (1893–1959) — американский художник немецкого происхождения.

Помнится, обратил я внимание на расплывшуюся старуху в брильянтовом ожерелье, которая сидела за столиком совершенно одна. На коленях у нее лежал китайский мопс. И на собачонке тоже было брильянтовое ожерелье.

Еще, помню, был увядший старикашка, который низко наклонялся над тарелкой, прикрывая ее от чужих глаз руками. Сара шепнула мне: смотри-ка, ему как будто порцию зажаренной королевской плоти принесли. Потом выяснилось, что он ел икру.

— Очень, наверно, дорогое местечко, — сказала Сара.

— Подумаешь, — отвечал я, — не беспокойся, пожалуйста.

— Деньги — такая непонятная вещь. Ты хоть немного разбираешься в деньгах?

— Нет.

— У одних карманы лопаются, другим на хлеб не хватает, задумчиво проговорила она. — Похоже, никто уже не возьмет в толк, что происходит.

— Не может такого быть, — заявил я. Теперь бы поостерегся такие заявления делать.

Я даже больше скажу: повертевшись в своем гигантском международном концерне, я твердо понял — никто из преуспевших даже не желает

взять в толк, что же происходит.

Мы самые настоящие обезьяны. Гориллы мы, вот что.

— А как мистер Маккоун считает, долго еще продлится Депрессия? — осведомилась она.

— Да что он там может считать, он же в бизнесе ничего не смыслит.

— Если ничего не смыслит в бизнесе, тогда почему он такой богатый?

— Все дела его брат ведет, — объяснил я.

— Вот было бы хорошо, если бы дела моего отца тоже кто-нибудь за него вел.

Мне было известно, что дела ее отца шли совсем скверно, брат ее, живший со мною в одной комнате, даже решил по окончании семестра оставить университет. Он туда, кстати, и не вернется. Станет санитаром в туберкулезном санатории и сам подцепит туберкулез. Поэтому его не призовут, когда начнется вторая мировая война. Он вместо армии будет работать сварщиком в бостонских доках. Мы с ним потеряем друг друга из виду. Сара, с которой мы теперь опять постоянно видимся, рассказала, что он умер от сердечного приступа в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году, рухнул и не поднялся с пола у себя в слесарной мастерской, которую в одиночку

содержал на мысе Код, в поселке Сэндвич.

Звали его Редфорд Олден Уайет. Всю жизнь он прожил холостяком. Сара говорит, ванну он принимал хорошо если раз в год.

Что называется, по-простому, без выкрутасов жил, как деды завещали.

Да что там деды! Прадеды и прапрадеды, если уж на то дело пошло. В их роду и прапрадеды были побогаче соседей. А теперь вот отцу Сары приходится за бесценок спускать все, что скопили предки, — английские кубки металлические, серебро работы Пола Ревира,[37] портреты изображающие разных Уайетов — морских капитанов, торговцев, проповедников, юристов, — всякие диковинки, из Китая привезенные.

— Ужасно видеть, как отец опускается все больше и больше, сказала Сара. — Твой-то отец как, не опустился?

Это она про выдуманного мной хранителя художественной коллекции мистера Маккоуна. Тогда мне без особого труда удавалось представить себе отца в такой роли. А теперь и пытаться не стану.

— Да нет, ничего, — ответил я.

— Повезло вам.

---

[37] Примечания: 37

Пол Ревир (1735–1818), знаменитый ювелир и один из героев Американской революции.

— Наверно, — говорю. Отцу моему и правда повезло. Они с матерью изловчились откладывать чуть не все, что зарабатывали, а банк, в который были вложены эти деньги, пока что не лопнул.

— И почему люди так из-за денег с ума сходят? — размышляла вслух Сара. — Я вот говорю отцу: мне все равно, сколько там у нас осталось. Обойдусь и без поездок в Европу. А учиться ненавижу. С радостью бы больше в школу свою не возвращалась. Все равно ничему я там не научилась. И что яхты наши пришлось продать, тоже хорошо. Мне никогда на этих яхтах не нравилось. Тряпок новых мне покупать не нужно. Сто лет носи — не переносишь. Только отец не верит, когда я ему все это говорю. «Разорил я тебя, — твердит. — Всех вас разорил».

Между прочим, ее отец был просто совладельцем фирмы «Уайет» по производству часов, а сам делами не занимался. Когда определяли виновных в массовом отравлении радием, от ответственности это его не освободило, хотя вообще-то он главным образом торговал яхтами, крупнейший был торговец на весь Массачусетс. Понятно, что в тысяча девятьсот тридцать первом весь этот бизнес полностью прекратился. И по мере того, как сворачивалась его торговля, росли

— сам от него однажды слышал именно эти слова — «кипа никому не нужных квитанций, а еще счета да расписки, ну прямо тебе гора Вашингтона и пик Пайка».

Он тоже был гарвардец, возглавлял в тысяча девятьсот одиннадцатом нашу непобедимую команду пловцов. Растратив все свое состояние до конца, он уж больше не работал. Жил на заработки жены, которая у них на дому дешевые обеды наладила. Умерли они оба без гроша в кармане.

Так что, выходит, не первый я гарвардский выпускник, которому на заработки жены приходилось существовать.

Ну и пусть.

Там, в ресторане «Арапахо» Сара говорит мне: извини, что я такая грустная, мы же сюда повеселиться пришли. Сейчас, говорит, развеселюсь.

И тут официант в сопровождении хозяина приносит первое блюдо, которое мне из Кливленда — из этакой-то дали — велел заказать мистер Маккоун. Блюдо это — по полудюжине устриц на нас обоих. Я устриц сроду не пробовал.

— *Bon appétit*![38] — хозяин сказал. Потрясающе! В жизни никто так со мною не разговаривал. И

---

[38] Примечания: 38
Приятного аппетита *(франц.)*.

до чего же замечательно, что вот, по-французски сказано, а я понял без перевода. Между прочим, французский я четыре года изучал в кливлендской школе, только ни разу не встретился мне человек, который изъяснялся бы на диалекте, там преподававшемся. Наверно, на таком французском говорили одни ирокезы-наемники, когда французы с индейцами воевали.

А вот и скрипач, цыган этот, к нашему столику подошел. Наяривает, чувства всякие изображая, и здорово у него выходит, хотя на самом-то деле ему чаевые не терпится получить. Вспомнил я, что мистер Маккоун велел давать на чай не жалея. Прежде мне никому их давать не доводилось. Ну, вытаскиваю потихоньку бумажник, пока скрипка гремит, и достаю доллар — так мне показалось, что доллар. Чтобы доллар получить, какому-нибудь работяге в те дни пришлось бы десять часов головы не поднимать. А я вот сейчас доллар на чай дам, от всей души. Хотя дай я всего пятьдесят центов, только бы и было разговоров: погляди, как деньгами швыряется. Скомкал я бумажку в кулаке — сию минуту, доиграет свою музыку, и я с непринужденностью волшебника вознагражу его за труды.

Незадача-то вот какая вышла: это не доллар

был. Бумажка была в двадцать долларов.

За эту свою немыслимую ошибку я немножко виню Сару. Когда я деньги из бумажника вытаскивал, она опять принялась осмеивать плотскую любовь, такой вид сделала, будто от музыки жуть до чего распалилась. Узел мне на галстуке ослабила, а обратно завязать у меня не получалось. Мне галстук мать моего приятеля завязала, в чьем доме я остановился. А Сара все не уймется: смачно поцеловала кончики пальцев и провела мне по воротничку, полоски от губной помады на нем остались.

Музыка смолкла. Я расплылся в благодарной улыбке. А затем бейсболист Джим Брейди, перевоплотившись в свихнувшегося сынка кливлендского шофера, вручил цыгану двадцать долларов.

Цыган сначала весь в улыбке расцвел, еще бы, решил, что целый доллар ему достался.

Сара, тоже подумавшая, что я целый доллар дал, сочла такое чрезмерным.

— Господи Боже! — говорит.

И тут этот цыган, видно, вздумав ее поддразнить — вот, дескать, доллар-то мой теперь, не вернешь, — развернул банкноту, так что все мы первый раз увидели стоявшую на ней астроно-

мическую цифру. От удивления он так и разинул рот, да и мы тоже.

А затем — цыган ведь, значит, насчет денег капельку лучше соображает, чем все прочие, — он метнулся вон, исчезнув за дверями ресторана в ночи. Так по сей день и не знаю, вернулся ли хоть за футляром от скрипки.

Но вы только представьте себе, какое все это произвело впечатление на Сару!

Она решила, что я нарочно так сделал, по глупости вообразив, будто все случившееся распалит ее до белого каления. Никогда еще она так меня не презирала.

— Сазан несчастный! — воскликнула она. Должен сказать, что разные высказывания я, конечно, большей частью воспроизвожу в этой книжке по памяти, не ручаясь за точность. Но вот это, про сазана, абсолютно достоверно.

Чтобы вы почувствовали, как оскорбительно оно прозвучало, поясню: «сазан» было тогда очень ходовое словечко, которое недавно приобрело особый смысл, — так, с вашего позволения, называли того, кто, сидя в ванне, ловит ртом пузырьки, если ему пернуть случилось.

— Ах ты, дрочила недоделанный! — То есть чересчур мастурбацией увлекаюсь. Про такие вещи

она знала. Все она знала — и даже слишком.

— Ты за кого себя принимаешь? — спрашивает. — Верней, меня ты за кого принимаешь? Ладно, пусть я ни черта не соображаю, говорит, — зато ты больно умен, если решил, что меня можно пронять такими штучками!

Так скверно мне, кажется, никогда не приходилось. Даже когда в тюрьму садился, не чувствовал я себя до того паршиво. Даже когда на волю выходил. И даже когда спалил драпировки, которые жена как раз собралась отослать клиенту в Чеви-Чейз.

— Отвези меня, пожалуйста, домой, — сказала Сара Уайет. Мы ушли, ни к чему не прикоснувшись, хотя заплатить все равно пришлось. Ничего я не мог с собой поделать, всю дорогу назад носом хлюпал.

В такси, глотая слезы, признался ей, что этот ужин в ресторане вовсе не моя была идея, это меня Александр Гамильтон Маккоун превратил в робота с дистанционным управлением. Признался, что наполовину я поляк, наполовину литовец, и отец мой обыкновенный шофер, а эти замашки джентльмена да щеголя мне просто велели на себя напустить. Никогда не вернусь в Гарвард, сказал я ей, вообще не знаю, что со мной будет,

жить мне не хочется.

До того я был жалок, а Сара до того ко мне сочувствием прониклась и так себя ругала, что стали мы с ней лучшими на свете друзьями, и продолжалась эта дружба, как я уже сказал, семь лет, хотя и с перерывами.

Из колледжа Пайн-Мэнор она ушла. Стала медицинской сестрой. Пока этой профессии обучалась, так ее страдания и несчастья бедняков растрогали, что она вступила в Коммунистическую партию. И меня заставила.

Получается, никаким я коммунистом не сделался бы, если бы Александр Гамильтон Маккоун не велел мне пригласить хорошенькую девочку в ресторан «Арапахо». И вот сорок пять лет спустя опять я вхожу в здание, где этот ресторан помещался. Почему я решил первую свою ночь на свободе провести именно здесь? Да просто чувствовал в этом иронию судьбы. А нет американца, будь он хоть совсем старый, несчастный и одинокий, которому не по силам подобрать собственную коллекцию таких вот шуточек судьбы.

Стало быть, вхожу, осматриваюсь — вот на этом самом месте хозяин ресторана сказал мне «Bon appétit!»

От вестибюля теперь отхватили порядочный

кусок, оборудовав туристическое агентство. Постояльцам, проводившим здесь ночь, остался лишь узкий проход со стойкой администратора в конце. Коридорчик до того тесный, что стула или кушетки не поставишь. Исчезли зеркальные двери с дырочкой, через которую мы с Сарой оглядывали знаменитый большой зал ресторана. Арка, в которой были эти двери, правда, сохранилась, однако ее заложили кирпичами, и до того грубо, топорно это было сделано, словно строили стену, препятствующую коммунистам стать капиталистами в Берлине. На этой перегородке повесили телефон-автомат. Кто-то взломал дверцу отделения для монет, болтается неприкаянно. И диск выдран.

Но надо же, администратор там, вдали, кажется, в смокинг наряжен и даже с бутоньеркой!

Подошел поближе, и выяснилось, что это меня глаза нарочно обманывают. Оказывается, он просто в хлопковой рубашке, а на ней намалеваны лацканы смокинга, бутоньерка, манишка белая, галстук бабочкой, платочек в нагрудном кармане, запонки и все прочее. Отродясь такой рубашки не видел. И как-то не позабавило меня, что такие носят. Скорее смутило. Наверно, он эту рубашку для смеха надел, только мне не смешно.

Зато борода у администратора этого была настоящая, а еще больше бросалась в глаза самая что ни есть настоящая пряжка на ремне, поддерживающем сползающие брюки. Он, хочу вам сообщить, по-другому теперь одевается, став вице-президентом по. закупкам в ассоциации «Гостеприимство, лимитед», подчиненной корпорации РАМДЖЕК. Тридцать лет ему сейчас. Зовут Исраел Эдель. Как и мой сын, он женат на черной. У него докторская степень по истории, в университете Лонг-Айленда получена по совокупности научных заслуг — пока учился, был отличник и член Фи-Бета-Каппа.[39] В тот вечер Исраел, увидев, что я подхожу к стойке, с неохотой оторвался от чтения «Американ сколар», высокоученого журнала, который Фи-Бета-Каппа ежемесячно издает. Работы получше, чем ночные дежурства в отеле «Арапахо», найти ему не удавалось.

— У меня номер заказан, — говорю.

— Что, что? — переспрашивает. Вовсе не с намерением дать мне от ворот поворот. Он и правда был изумлен. В отеле «Арапахо» комнаты давно уже не заказывают. Там если и останавливаются,

---

[39] Примечания: 39

Престижная ассоциация, созданная в 1776 г. и объединяющая наиболее одаренных американских студентов; название — от первых букв греческих слов, означающих: философия — наставница жизни.

так только неожиданно для самих себя, когда какое-нибудь несчастье случилось. Уже на следующий день, когда мы с ним столкнулись в лифте, Израел мне сообщил: «Заказывать номер в «Арапахо» все равно что на койку в отделении травматологии претендовать». Между прочим, он теперь подумывает приобрести «Арапахо», чтобы гостиница вошла в систему отелей, принадлежащих ассоциации «Гостеприимство, лимитед», у них по всему миру гостиницы есть, включая город Катманду.

Нашел он мое письмо на полке с перегородками-окошечками, висевшей у него за спиной.

— Вы, значит, на неделю? — с недоверием спрашивает.

— На неделю.

Имя мое ничего ему на сказало. Как историк он специализируется на изучении ересей в Нормандии тринадцатого века. Однако же догадался, что я прямо из заключения, — обратный адрес на письме был не совсем обычный: почтовый ящик посередине Джорджии, где и мест обитаемых нет, а после моей фамилии — рядок цифр.

— Мы, — говорит, — вот что для вас, уж во всяком случае, сделать можем, мы вам номер для новобрачных дадим.

Вообще-то не было там никакого номера для новобрачных. Все номера давно уже перегородили, превратив в клетушки. Но одну такую клетушку, всего одну, недавно побелили и обои поменяли впоследствии я узнал, из-за того так старались, что в ней произошло особенно изощренное убийство подростка, зарабатывавшего проституцией. Израел Эдель, правда, никаких особенно уж мрачных мыслей больше у меня не пробуждал. Он приветливым сделался. Да и комнатка, сказать по правде, выглядела вполне приветливо.

Дал он мне ключ, которым, как я потом выяснил, отпиралась каждая вторая дверь в гостинице. Поблагодарил я его, и при этом произошла ошибка, которую мы, собиратели шуточек судьбы, часто допускаем: захотелось мне, чтобы и он эту иронию почувствовал. А так не выходит, если человек сам подобного не пережил. Говорю ему: я уж тут бывал, в «Арапахо» вашем, в тысяча девятьсот тридцать первом. Ему в одно ухо влетело, в другое вылетело. И осуждать его за это нельзя.

— Мы тогда с одной девушкой отлично тут погуляли, — говорю.

— Ага, понятно.

А я все не успокоюсь. Рассказываю, как дырку в зеркальных створках нашли, зал этот знаме-

нитый сквозь нее разглядывали. Спрашиваю, теперь-то что там, за перегородкой?

Ответил он равнодушно так, просто факт сообщил, а у меня прямо-таки бомба в мозгу разорвалась, как будто он мне по физиономии с размаха заехал.

— Фильмы там крутят, — сказал он, — ну, знаете, для дрочил.

В жизни не слыхал, что такие кинотеатры существуют. Что еще за фильмы, осторожно его спрашиваю.

Тут он немножко встряхнулся, удивило его, что я ни о чем таком не слышал и явно шокирован. Потом он мне признался: жалко ему стало, что расстроил славного старичка, сообщив ему, какие жуткие вещи прямо вот за этой дверью происходят. Он вроде отца для меня оказывался, а я как младенец несмышленый. «Да успокойтесь, — говорит, — ерунда».

— Нет, расскажите, пожалуйста.

И тогда он неспешно, терпеливо, хотя без особой охоты объяснил мне, что на месте ресторана теперь работает кинотеатр. А в этом кинотеатре показывают исключительно картины про любовь между мужчинами, то есть гомосексуалистами, и во всех этих картинах кульминация

состоит в том, что один актер вытаскивает свою штуковину и засовывает ее другому актеру в самое фундаментальное место.

Я прямо онемел. Никогда бы и в голову мне не пришло, что первая поправка к конституции Соединенных Штатов Америки и замечательное искусство кинокамеры могут соединиться с целью произвести на свет этакий кошмар.

— Вы извините, — сказал Исраел.

— Извинил бы — если б было за что, — ответил я. — Спокойной ночи. — И двинулся отыскивать свой номер.

По пути к лифту я прошел мимо грубо сложенной стены, которая заменила стеклянные двери. Задержался там на минутку. Губы мои шептали что-то такое, что я и сам не сразу понял. А потом сообразил, что же пытались выговорить мои губы, что они должны были шептать.

Bon appétit, вот что.

11

Что мне сулит грядущий день?

Помимо всего прочего, встречу с Леландом Клюзом, человеком, которого я предал в тысяча девятьсот сорок девятом.

Но сейчас я распакую чемодан, аккуратно все сложу, немножко почитаю — и в постель, чтобы завтра хорошо выглядеть. Буду подтянут, собран. «По крайней мере курить бросил», — подумалось мне. Да и комната досталась чистенькая, как славно.

Двух верхних ящиков комода вполне хватило, чтобы разместить все мои пожитки, но я и в остальные заглянул. И обнаружил, что в самом нижнем лежат семь кларнетов, только разобранных и кое-чего не хватает: футляров, мундштуков, подбор клавишей не полный.

Часто так вот случается в жизни.

Мне бы, тем более что я только-только из заключения вышел, побежать обратно к администратору и сообщить: сам того не желая, я оказался укрывателем развинченных кларнетов, целого ящика. Может, он полицию вызовет? Ясное дело, краденые они. Как я узнал на следу-

ющий день, их стащили с грузовика, на который было нападение где-то в Огайо, и при этом убили водителя. А значит, всякому, у кого эти инструменты по частям обнаружатся, грозит арест как соучастнику в убийстве. По всей стране в музыкальных лавках, выясняется, оповещение висело — немедленно обратиться в полицию, если кто-нибудь предложит в большом количестве разные детали от кларнетов. У меня в ящике, я так предполагаю, лежала примерно тысячная часть того, что сперли с грузовика.

А я просто взял да задвинул этот ящик. Неохота было опять по лестнице топать. Телефона в номере не было. Ладно, утром скажу.

Оказывается, устал я до предела. В театрах, которых тут рядом полно, еще занавес не дали, а у меня уже глаза закрываются. Опустил я жалюзи и на постели растянулся. И тут же вырубился «спати-спатеньки», как говаривал в детстве мой сын, — а проще сказать, уснул.

Приснилось мне, что сижу я в покойном кресле в нью-йоркском гарвардском клубе, это квартала четыре отсюда. Нет, не подумайте, что в молодость вернулся. Но словно бы и не сидел вовсе, а очень даже благополучен, возглавляю какой-то средней величины фонд или, может, состою по-

мощником министра внутренних дел или там исполнительным директором Национального общества поощрения гуманитарных исследований, словом, что-то в таком роде. Да я и правда чем-то в таком роде сделался бы на закате своих дней, точно знаю, не надо было только против Леланда Клюза показания давать тогда, в тысяча девятьсот сорок девятом.

Какой был утешительный сон! Век бы такие снились. Костюм на мне только что из чистки. Жена еще жива. Сижу, кофе с коньяком попиваю после отличного ужина с однокурсниками, выпуск тысяча девятьсот тридцать пятого года. Одна была подробность, прямо из реальности в сон перекочевавшая: я гордился, что бросил курить.

Но тут мне кто-то сигарету предлагает, а я, не подумав, ее беру. Ну просто для полноты наслаждения, раз уж разговор у нас такой занимательный, ощущение сытости по всему телу и прочее. «Да, спасибо», — говорю, припомнив, как в молодые годы дурака валял. Улыбнулся еще, подмигнул кому-то. И подношу сигарету к губам. А приятель уже и спичку зажег. Затянулся я, и так глубоко, прямо в пятках защекотало.

Во сне было так: я на пол полетел, сотрясаемый конвульсиями. А на самом деле это я свалился с

постели в гостинице «Арапахо». Во сне чистенькие мои, прозрачные легкие из розовых шариков превратились в высохшие черные изюминки. Из ушей, из носа горькая коричневая жижа течет.

Но всего хуже было испытанное мною чувство позора.

Даже когда я начал соображать, что ни в каком я не в гарвардском клубе и нет вокруг однокурсников, которые в кожаных креслах расселись и смотрят на меня осуждающе, даже когда выяснил — могу вот воздух втянуть и не захлебнусь, все равно от позора места себе не находил.

Я же прахом пустил то последнее, чем мог гордиться, — гордое чувство, что бросил курить.

Пробудившись при свете, пробивавшемся с Таймс-сквер и падавшем на меня со свежевыбеленного потолка, я долго разглядывал свои руки. Вытянул вперед пальцы, покрутил ладонями, словно я волшебник и сейчас фокус покажу. Демонстрировал воображаемой публике, что сигарета, которую только что держал, испарилась в воздухе.

Только волшебник я там или нет, а из-за этой сигареты так же успокоиться не мог, как и публика одураченная. Поднялся с пола, места себе не находя от перенесенного унижения, и озираюсь

вокруг, огонек непогасший отыскиваю.

Но не было нигде этого огонька.

Я сел на краешек постели, совсем уже пробудившийся и взмокший от пота. Стал обдумывать, что у меня и как. Стало быть, всего лишь нынче утром я вышел из тюрьмы. И, значит, дожидаясь рейса, сидел в аэропорту там, где можно курить, однако ничуть меня к сигарете не потянуло. А сейчас я, учтем, нахожусь на верхнем этаже отеля «Арапахо».

Нет, нигде тут табак не замешался.

Вот вам насчет того, что такое счастье в нашем мире: счастливее меня никого в истории не отыщется.

«Слава Богу, — подумал я, — сигарета мне только приснилась».

12

На следующее утро в шесть часов — у нас в тюрьме сигнал побудки в это время давали — я вышел из гостиницы в город, потрясенный собственной непорочностью. Никто нигде не совершал ничего худого. Даже вообразить какие-нибудь худые дела было невозможно. С чего бы вздумалось худое творить?

Не похоже, что в городе по-прежнему очень много живет народу. Так, всего несколько прохожих, словно туристы на ступенях Ангкор-Вата,[40] бродят себе да размышляют, каким это образом религия вкупе с коммерцией побудили людей выстроить этакую махину. И почему все эти люди, явно столько души в нее вложившие, вдруг взяли да ушли?

Коммерцию, очевидно, заново начинать придется. Я дал продавцу газет два четвертака, посеребренные монетки, которые ничего не весят, словно корпия, и попросил «Нью-Йорк таймс». Если бы он мне эти монетки назад бросил, все было бы понятно. Так нет, дает мне «таймс»

---

[40] Примечания: 40
Знаменитый храм у города Сием-Реап в Кампучии (XII век).

и пристально так на меня смотрит: все в толк не возьмет, что же это я буду делать с такой грудой бумаги, перемазанной краской.

Восемь тысяч лет назад мог бы я быть матросом-финикийцем, вытащил бы свою галеру на песок в Нормандии и предложил бы разрисованному голубыми узорами человеку в шкурах два бронзовых наконечника в обмен за его меха. Он бы подумал: «Что еще за чокнутый явился?» А я бы подумал: «Это что за чокнутый тут расхаживает?»

Тут мне вот что взбрело в голову: не позвонить ли государственному казначею Кермиту Уинклеру, который окончил Гарвард через два года после меня, да сказать, знаете, я сейчас пустил в оборот на Таймс-сквер два четвертака, и преотлично все у меня получилось. Самое, похоже, времечко побольше начеканить!

Встретился мне полицейский с лицом младенца. Видно, не очень-то соображает, зачем он в этом городе, — ну точно, как я. Взглянул на меня недоверчиво, как будто все к тому склоняется, что это я полицейский, а он старик бездомный. А кто вам хоть за что-нибудь поручится, в такую-то рань!

Я залюбовался своим отражением на черных

мраморных плитах, которыми был облицован фасад непритязательного магазина грамзаписей. И представить не мог, что скоро сделаюсь до того всемогущей фигурой в мире пластинок, а у себя в кабинете повешу на стене платиновые диски с записями какой-то какофонии, сочиненной идиотами.

Посмотрел я на свое отражение и вижу, как-то странно руки у меня лежат. Размышляю, отчего бы? Словно новорожденного к груди прижал. А, понятно: соответствует моему настроению, это ведь я свое только-только народившееся будущее лелею, как ребеночка. Показываю ребеночку — вот, смотри, Эмпайр-стейт, а это небоскреб Крайслера, а там, где львы на лестнице, Публичная библиотека. Понес дитя свое на Центральный вокзал — надоест Нью-Йорк, билет на первый попавшийся поезд купим.

И представить не мог, что скоро мне предстоит поблуждать по катакомбам под вокзалом, проникая в тайная тайных корпорации РАМДЖЕК.

Мы с ребеночком снова в западном направлении двинулись. Если бы, наоборот, в восточном пошли, очень скоро очутились бы в Тюдор-сити, где живет мой сын. А нам его видеть не хотелось. Да, гуляем себе и остановились у витрины

магазина, где продают плетеные корзинки для пикника — термосы в них уложены, жестяные коробочки для сэндвичей и всякая всячина. Еще там велосипед был выставлен. Думаю, на велосипеде я и сейчас смогу проехать. И говорю ребеночку: давай купим корзинку, велосипед и, когда погода будет хорошая, съездим куда-нибудь в заброшенные доки, цыпленком позавтракаем, запивая его лимонадом, а над головами у нас чайки носятся, кричат. Проголодался я, однако. В тюрьме-то уж давно бы овсянки принесли и кофе — ешь, сколько влезет.

По Западной 43-й улице я прошел мимо ассоциации «Сенчури», мужского клуба, куда вскоре после войны меня как-то пригласил позавтракать композитор Питер Гибни, мой гарвардский сокурсник. Больше я приглашений не получал. Все бы сейчас отдал, чтобы стать барменом в этом клубе, да вот Гибни-то еще жив и все еще, должно быть, состоит тут членом. А мы с ним, как бы это сказать, разошлись после того, как я дал показания против Леланда Клюза. Гибни тогда прислал мне цветную открытку, нарочно постарался, чтобы и жена могла прочесть его послание, и почтальон: «Привет, говно собачье, — было там написано, — ты бы убрался назад в

свое болото, рептилия ядовитая». А на открытке была Мона Лиза с этой ее загадочной улыбочкой.

Еще через квартал была кофейня при отеле «Ройялтон», туда я и направился. Кстати, «Ройялтон», как и «Арапахо», входит в систему отелей ассоциации «Гостеприимство, лимитед», то есть принадлежит РАМДЖЕКу. Доковылял я до дверей кофейни, и тут уверенность меня покинула. Паника подступила. Подумалось, да ведь я же мелкорослый старик-бродяга, безобразнее и грязнее по всему Манхеттену не сыщешь. Войду вот, и все, кто там кофе пьют, поперхнутся от отвращения. Выставят меня на улицу, скажут, убирайся в Бауэри, там твое место.

А все-таки я набрался духу туда войти — и вообразите мое удивление! Словно бы я умер и на небо вознесся. Подлетает официантка, говорит: «Садитесь, миленький мой, садитесь, сейчас кофе принесу». Я-то рта раскрыть не успел.

Ну, уселся я, смотрю, всех посетителей, кто бы ни были, уж так привечают, не поверишь. Официантка сыпет направо-налево «миленький мой», да «лапушка моя», да «дорогие вы мои». Как в приемной Скорой помощи после какой-нибудь катастрофы. И не важно, из какого круга потерпевшие, какая у них кожа. Всем одно и

то же чудесное лекарство дают, то есть кофе. А катастрофа-то в данном случае понятно какая — солнце поднялось, утро.

Подумал я: «Ну надо же, официантки эти и повара совсем без предрассудков, словно птицы да ящерицы на островах Галапагос, владение Эквадора!» Мне эти мирные острова оттого вспомнились, что в тюрьме я про них читал, статья попалась в номере «Нэшнл джеогрэфик», который одолжил мне бывший помощник губернатора штата Вайоминг. У живущих на Галапагосе вот уже тысячу лет нет никаких врагов — ни природных, ни прочих. Им даже в голову не приходит, что кто-то способен их обидеть.

Так что на Галапагосе всякий, сойдя на берег, мог бы подойти к какому-нибудь животному и, коли захочется, оторвать ему голову. Животное к такому повороту не подготовлено. И все остальные животные будут стоять да смотреть, не умея сделать для себя из происшедшего полезные выводы. Если возникнет такое намерение, или если бизнес у сошедшего на берег такой, или так, забавы ради, можно оторвать голову всем зверям, одному за другим.

Подумалось вдруг: вот вломится в эту кофейню, сокрушив кирпичную стену, чудовище Франкен-

штейна,[41] и все только заулыбаются — садись, ягненочек, садись, сейчас принесем кофе.

Не в том соль, что ради прибылей этакую приветливость поддерживают. Платили-то посетители сущую ерунду: восемьдесят шесть центов, доллар десять, два доллара шестьдесят три… Выяснил я потом, что человек, крутивший ручку кассы, хозяин этого заведения, но никак он у себя за стойкой не усидит. Самому не терпится и на кухне что нужно приготовить, и клиента обслужить, оттого повара с официантками все время его придерживают: «Фрэнк, это же мой столик. Я займусь, а ты давай-ка за кассой посиди», или: «Но ведь повар-то тут я, Фрэнк, или нет?» «Чего ты суетишься? Лучше давай посиди за кассой» и так далее.

Полное его имя Фрэнк Убриако. Он теперь вице-президент объединения «Макдоналдсы и гамбургеры», входящего в корпорацию РАМДЖЕК.

Сразу бросалось в глаза, что у него усохшая рука. Прямо как у мумии, хотя пальцы более или менее шевелятся. Я спросил у официантки, как это его угораздило? А она в ответ: да вот

---

[41] Примечания: 41

Чудовище-гомункул, выращенное гениальным ученым Франкенштейном в одноименном романе английской писательницы Мэри Шелли (1791–1851).

буквально сжег ее год назад — как чипсы, дотла. Нечаянно уронил свои часы в котел с кипящим маслом. И, сам не соображая, что делает, рукой за ними в котел полез, часы-то были очень дорогие, марки «Булова аккутрон».

Вышел я на улицу, немного лучше себя чувствую.

Посидел в Брайент-парке на Сорок второй, сзади Публичной библиотеки, думал газету просмотреть. В животе урчит от сытости, тепло там, словно печкой обогрело. Чтение «Нью-Йорк таймс» мне не в новинку. У нас почти половина заключенных «Таймс» по подписке получали, а также «Уолл-стрит джорнел», и «Тайм», и «Ньюсуик», и «Спорте иллюстрейтед», да много всего. И «Пипл». Сам-то я ни на одно издание не подписывался, в первый попавшийся мусорный бак загляни — полным-полно периодики, на любой вкус.

Полистал «Таймс».

Над всеми мусорными баками у нас в тюрьме плакатик висел, на нем напечатано: «Не промахнись!» И стрелка, вниз указывает.

Полистал «Таймс», вижу, мой сын Уолтер Станкевич, урожденный Старбек, рецензию написал, разбирает автобиографию одной неведомой

кинозвезды. Похоже, очень эта книжка ему понравилась. Так, так, значит, у звезд тоже бывают периоды удач и неудач.

Но больше всего мне хотелось прочесть, как «Таймс» описывает свой переход в собственность корпорации РАМДЖЕК. А они про это так написали, словно речь идет об эпидемии холеры в Бангладеш. Всего-то крохотная колонка в самом уголочке на какой-то дальней полосе. Председатель совета директоров РАМДЖЕКа Арпад Лин, сообщалось в этой колонке, не предусматривает изменений состава сотрудников газеты и ее политической линии. Он специально подчеркнул: всем периодическим изданиям, уже приобретенным РАМДЖЕКом, и в том числе изданиям треста «Тайм, инкорпорейтед», была предоставлена возможность публиковать все, что сочтут нужным, без всякого вмешательства со стороны корпорации.

«Все остается по-прежнему, только владелец новый», — заявил Арпад Лин. И как бывший сотрудник РАМДЖЕКа должен подтвердить, что мы не особенно меняли характер деятельности переходивших к нам компаний. Вот если какая-нибудь из них начинала тонуть, тогда мы, конечно, проявляли больше заинтересованности

в ее делах.

Дальше в заметке говорилось, что издатель «Таймс» получил личное послание миссис Джек Грэхем, написанное от руки, — с приветствием «пополнению семьи РАМДЖЕК». Там выражалась надежда, что издатель будет и впредь выполнять свои обязанности. Подпись, а под нею отпечатки пальцев миссис Грэхем, и больших пальцев тоже. Так что никаких сомнений: письмо собственноручное.

Осмотрелся: приятно тут, в Брайент-парке. Ландыши уже пробиваются крохотными своими колокольчиками через увядший зимою плющ и бумажный мусор по краям дорожек. У нас с Рут тоже росли перед крохотным кирпичным бунгало в Чеви-Чейз, штат Мэриленд, колокольчики, и плющ обвивал цветущую дикую яблоню.

Я заговорил с колокольчиками. «Доброе утро», — говорю.

Что-то опять в транс впадаю, защитную стойку принял. Целых три часа просидел на скамейке в парке, встать нет сил.

В конце концов пришлось-таки подняться из-за транзистора, который запустили на полную громкость. Какой-то молодой человек с транзистором плюхнулся на скамейку прямо напротив

меня. По виду из испаноязычных. Не узнал, как его зовут. Вот оказал бы мне какую-нибудь любезность, и сегодня был бы сотрудником корпорации РАМДЖЕК. Шла программа новостей. Ведущий сообщил, что воздух сегодня утром некачественный.

Нет, подумать только — некачественный воздух!

Молодой человек вроде и не слушал, что по радио передают. Может, он по-английски и не понимает вовсе. Ведущий этак весело, как щенок разлаявшийся, одно сообщение за другим выкладывал, можно подумать, что жизнь — бег с препятствиями, устроенный на потеху публики: барьеры всякие необычные напридумывали, ямы особенные вырыли на дорожке, да еще машинами ее перегородили. Заставил этот ведущий и меня испытать такое чувство, будто я тоже в состязании участвую, разлегся в ванне с водой, а ванну три муравьеда волокут, или там не знаю кто еще. Причем могу и выиграть этот бег не хуже других.

А он про следующего бегуна рассказывает, которого приговорили к смерти и должны были посадить на электрический стул в Техасе. Осужденный дал своим адвокатам указание про-

тиводействовать любым попыткам отсрочить исполнение приговора, хотя бы губернатор штата их предпринимал или сам президент Соединенных Штатов. Ясное дело, ему в жизни ничего так не хотелось, как сесть на электрический стул.

Тут на дорожке между скамейками — моей и той, где этот, с транзистором, сидел, — появились двое бегающих трусцой для здоровья. Мужчина и женщина, одинаковые оранжевые с золотом фуфайки на них и кроссовки соответствующие. Я уже читал, что все на беге трусцой помешались. У нас в тюрьме многие тоже бегали. Пижоны паршивые.

Да, так вот про этого молодого человека с транзистором. Подумалось: транзистор для него, как протез для инвалида, приспособленьице такое, чтобы смотреть на жизнь с искусственным энтузиазмом. Он уж и замечать перестал радио свое, как я не замечаю, что у меня передние зубы вставные. Несколько таких вот молодых людей я с тех пор повидал, они всегда группами сбиваются, и у всех транзисторы настроены на разные волны оживленный диалог между ящичками этими черными. А самим-то молодым людям и сказать друг другу нечего, еще бы: они с пеленок только одно и слышали — «заткнись».

Но вдруг транзистор сообщил нечто до того кошмарное, что я, вскочив со скамьи, бросился вон из парка и смешался с толпой свободных предпринимателей, поспешавших по Сорок второй к Пятой авеню.

А сообщили вот что: у молодой наркоманки из моего родного штата Огайо, дуры девятнадцатилетней, был ребенок от неизвестного отца. Благотворительная организация поселила ее с ребенком в какой-то гостинице вроде моей «Арапахо». Чтобы защититься от бандитов, обзавелась она немецкой овчаркой, каких в полиции используют, только забывала ее кормить. И вот как-то вечером выходит она из гостиницы по делам своим непонятным, а овчарку оставляет стеречь ребенка. Вернулась и видит: собака придушила ребенка и уж наполовину его съела.

Ну и времечко нам выпало, прости, Господи!

И вот бесцельно, как и все, шагаю я в сторону Пятой авеню. Как и было мною задумано, стараюсь попристальнее вглядываться в лица идущих навстречу, — не встретится ли кто-нибудь, кто мог бы услугу какую мне оказать. Я знал, что следует запастись терпением. Это же все равно что золото намывать, думал я, попробуй-ка хоть крупинку извлечь из бесконечного песка.

Но только я свернул на Пятую авеню, как сигнальная система во мне так и затараторила: «Бип! Бип! Бип! Тики-тики-так! Внимание! Внимание!»

Поймала она то, что мне было нужно!

Прямо навстречу мне шел высоченный мужчина, который когда-то увел у меня Сару Уайет, тот, кого я заложил в тысяча девятьсот сорок девятом. Меня он еще не заметил. Леланд Клюз, собственной персоной!

Волос у него совсем не осталось, ноги подвертывались на сбитых каблуках, брюки внизу обтрепаны, а правая рука вроде как усохла. Он ею поддерживал видавший виды портфельчик из тех, что у каждого второго. Клюз, как я потом выяснил, сделался коммивояжером — спички, календари, — но дела у него шли скверно.

Кстати, теперь он вице-президент спичечного концерна «Алмаз», подчиненного корпорации РАМДЖЕК.

Несмотря на все пережитое, лицо его, как всегда, светилось глупой, доброжелательной улыбкой — сразу замечаешь, едва подойдешь поближе. Такое выражение было у него даже на фотографии, сделанной в Джорджии перед входом в тюрьму, смотритель любовно поглядывает на явившегося отбывать свой срок Клюза, как,

бывало, поглядывал на него государственный секретарь. Пока Клюз был молод, те, кто постарше, всегда словно бы хотели сказать выражением глаз: «Чудесный мальчик!»

И вот он меня увидел.

Взгляды наши пересеклись, и возникло чувство, что по мне пробежал электроток. Точно носом ткнулся в провода под напряжением!

Я прошел мимо, торопясь удалиться от него как можно дальше. Сказать ему мне было нечего, и ни малейшего я не испытывал желания задержаться, выслушать все те ужасные слова, которые он был вправе на меня обрушить.

Но у перекрестка вспыхнул красный свет, и, отделенный от него потоком сорвавшихся с места машин, я набрался духу и оглянулся.

Клюз смотрел прямо на меня. Видно, все не сообразит, как же ко мне обращаться. Взмахнул свободной рукой: знаю, мол, какую ты сыграл роль в моей жизни. А потом принялся ритмично помахивать пальцем, как метроном, — подбирал и тут же, забраковав, отбрасывал унизительные прозвища, которыми бы меня удостоить. Будто игра это у него занимательная. Расставил ноги, коленки чуть подогнуты, а по лицу его ясно видно, что помнит, уж кое-что, безусловно, помнит,

— что много лет назад мы с ним вляпались в какую-то немыслимую историю, в какую-то глупую переделку угодили, как зеленые юнцы.

Я так и оцепенел.

И надо же, прямо за ним сгрудилась на тротуаре толпа религиозных фанатиков, босоногих людей в шафранового цвета хитонах, — распевают, приплясывают. Словно бы он исполнитель главной роли в музыкальной комедии.

Да и рядом со мной хористы появились. Справа мужчина в высоком котелке, а на груди и на спине рекламные щиты, слева женщина, видно, бродяжка бездомная — все свои пожитки в полиэтиленовых сумках с собой таскает. На ней гигантского размера баскетбольные кеды, пурпурные с черным. До того ей велики, она в них, точно кенгуру, прыгает.

И оба этих моих хориста с прохожими разговоры всякие ведут. Этот, в рекламных щитах, все выкрикивает: «Пусть женщины на кухню возвращаются!» и еще: «Бог не сотворил женщину равной мужчине!» — в таком вот духе. А женщина с сумками всех подряд ругательски ругает за то, что растолстели, — если правильно разобрал, кого бурдюк назовет, кого говнюк, кого пасюк, послушать ее, так кругом одни толстяки

да толстухи.

Но дело-то вот какое: я просто слишком давно в Кембридже, штат Массачусетс, не бывал, забыл, какой у тамошних работяг выговор, а это они словечко «говнюк» так произносят, что получается на «бурдюк» похоже.

Можете себе представить? У нее в одном из этих необъятных баскетбольных кедов много чего было понапихано, и в том числе мои притворные любовные письма. Мир тесен!

О Господи! Умеет ведь жизнь так все перемешать и соединить!

Когда Леланд Клюз, стоявший на противоположной стороне улицы, осознал, кто я такой, губы у него вытянулись, как будто он на уроке фонетики и сейчас безупречно произнесет звук «о». Нет, я не слышал, как он «Ох!» выдохнул, но четко видел — «Ох!». Решил в комическую сцену превратить эту нашу встречу через столько лет и, как актер в немой картине, пережимает, разыгрывая удивление и огорчение.

Он явно намеревался, как только вспыхнет зеленый свет, пересечь улицу. А эти кретины — индуисты в шафрановых хитонах все вокруг него пляшут, все горланят, что есть голоса.

У меня еще было время убежать. Но я как при-

мерз к тротуару, и, думаю, вот почему: хотел самому себе доказать, что я настоящий джентльмен. Тогда, в жуткие дни, когда я давал показания против него, писавшие про нас с ним пытались разобраться, кто правду говорит, а кто врет, и почти все приходили к выводу, что я комедию ломаю, зато он-то настоящий джентльмен, он и происходит из семьи, где всегда все джентльменами были, не то что у меня со славянскими моими предками. Стало быть, для него важнее всего на свете честь, мужество, истина, а мне до всего такого дела нет.

И другие кричащие несоответствия между нами тоже, разумеется, указывались. С каждым очередным газетным выпуском или номером журнала я все больше превращался в карлика, а он прямо-таки в гиганта. Бедная моя жена делалась все тучнее и чужероднее Америке, зато его жена становилась образцовой златоволосой американкой. Друзей у него прибывало всякий день, и они оказывались все респектабельнее, а у меня, так получалось, даже среди болотных рептилий ни одного приятеля не найдется. Но особенно мне досаждало — этого я уж никак не мог снести! — что он, выходит, человек чести, а я нет. И вот двадцать шесть лет спустя этому

карлику славянскому, арестанту этому, снова защищаться предстоит.

Перешел он улицу, наш бывший чемпион из беспримесных англосаксов, а ныне обветшалое пугало с безмятежно улыбающейся рожей.

От этой его безмятежности я просто шалел. Ну с чего, спрашивается, ему таким безмятежным быть?

Словом, опять оказались мы с ним лицом к лицу, а женщина эта с сумками рядом стоит, прислушивается. Переложил он в левую руку свой видавший виды портфельчик, правую мне протягивает. И тут же принимается шутить, как будто он Чарли Мортон Стэнли, а я Давид Ливингстон, и он меня отыскал в африканских джунглях: «Уолтер Ф. Старбек, если не ошибаюсь?»

А вокруг и правда все равно что джунгли, никому до нас совершенно нет дела. Из тех, кто про нашу с ним историю помнили, большинство, думаю, умерли уже. Мы ведь никогда и не значили в американской истории так много, как порою нам казалось. Прошу прощения, так себе, попердели, и ветер унес, или, как выговорила бы эта женщина с сумками, потолстели, и веер занес.

Вы думаете, я злобу к нему испытывал из-за того, что много лет назад он увел у меня девушку?

Нет, не испытывал. Мы с Сарой любили друг друга, но, ставши мужем и женой, уж точно не были бы счастливы. По части секса у нас с ней так бы и не наладилось. Мне, как я ни старался, не удалось ее заставить к этим вещам относиться серьезно. А вот Леланд Клюз достиг успеха там, где я не смог, — сильно же, надо думать, ее изумив и вызвав в ней благодарное чувство.

Да и какие там нежные воспоминания могли у меня остаться о Саре? Мы с ней все про страдания простых людей толковали, про то, как бы им помочь, — а наговорившись, забавлялись какими-нибудь ребяческими шалостями. Оба шуточки друг для друга припасали, чтобы эти паузы получше заполнить. Была у нас привычка часами болтать по телефону. За всю свою жизнь не припомню такого чудесного наркотика, как эти наши телефонные разговоры. Тело точно бы исчезало, как у обитателей планеты Викуна, чьи души парят в невесомости. А если вдруг тема иссякнет и мы замолчим, кто-то уж обязательно извлечет заготовленную шуточку, и снова говорим, говорим…

Допустим, спросит она:

— Знаешь, в чем разница между ферментом и гормоном?

— Понятия не имею.

— Фермент голоса не подает, вот в чем… — И давай глупость за глупостью выпаливать, забавляется, хотя, может, сегодня у себя в госпитале такого навидалась, вспомнить страшно.

13

Я уж приготовился, сейчас вот серьезным, настороженным тоном, но со всей искренностью поприветствую его: «Быть не может, это ты, Леланд? Рад тебя видеть». Но до приветствий не дошло. Женщина с сумками, у которой оказался пронзительно громкий голос, как заорет: «Бог ты мой! Так вы Уолтер Ф. Старбек? Поверить невозможно!» И пытаться нечего воспроизвести, какой у нее акцент.

Думаю: сумасшедшая какая-то. Талдычит, как попугай, то, что от Клюза услышала, а что именно, ей без разницы. Вздумай он меня назвать Бампшес Кью Бангуистл, она бы, наверно, тут же принялась повторять: «Бог ты мой! Так вы Бампшес Кью Бангуистл? Поверить невозможно!»

А она сумки свои к моим ногам прислонила, точно я вовремя подвернувшаяся тумба. Шесть сумок у нее было, я их потом все до одной осмотрю, не торопясь. Сумки-то из самых дорогих магазинов — на одной «Анри Бендель» значится, на другой «Тиффани», а есть еще «Слоун», и «Бергдорф Гудмен», и универмаг «Блумингдейл», и «Аберкромби-Фитч». Между прочим, все эти

магазины, кроме «Аберкромби-Фитч», который вскоре закрылся по причине банкротства, принадлежат корпорации РАМДЖЕК. А в сумках все больше тряпки всякие лежат, из мусорных баков вытащены. Что у этой женщины было поценнее, она прятала в своих баскетбольных кедах.

Пытаюсь не обращать на нее внимания. Хоть она и обложила меня со всех сторон своими сумками, я только на Леланда Клюза смотрю, не отрываюсь.

— Неплохо выглядишь.

— Чувствую себя тоже неплохо. Как и Сара, спешу тебя порадовать.

— Приятно слышать. Чудная она девочка. — Хотя Сара, понятно, никакая уже не девочка.

Клюз сообщает: она все так же, как прежде, сиделка по вызовам, но не на полный день.

— Ну, и хорошо, — говорю.

А тут, к моему ужасу, словно бы летучая мышь, у которой голова закружилась, слетает с карниза над нами и плюх прямо мне на руку. Это женщина с сумками схватила меня за запястье своими перемазанными пальцами.

— Жена твоя? — спрашивает Клюз.

— Жена?! — Я ушам своим не поверил. Значит, настолько низко я, по его мнению, пал, что вот эту

кошмарную бабу можно принять за мою жену. — Да я ее в жизни не видел.

— Ой, Уолтер, — запричитала она, — разве позволительно такое говорить, а, Уолтер?

Высвободил я руку из ее когтей, но только повернулся к Леланду, она снова мне в запястье вцепилась.

— Считай, что ее тут нет, — говорю. — Психованная, пристала вот. Мы с нею вообще не знакомы. Еще не хватало, чтобы она нам встречу испортила, которая так много для меня значит.

— Ой, Уолтер, — не отстает она, — что это с тобой, а, Уолтер? Не тот ты Уолтер Ф. Старбек, которого я знала!

— Правильно, — говорю, — потому как не знала ты никакого Уолтера Ф. Старбека, а вот этот человек его очень хорошо знал. И к Леланду обращаюсь: — Ну, слыхал, конечно, что я тоже свое отсидел?

— Слыхал, — говорит. — Мы с Сарой так тебя жалели.

— Меня только вчера утром выпустили.

— Первые дни тебе нелегко придется. Хорошо бы кто-нибудь тебя сейчас поопекал.

— Я тебя очень буду опекать, Уолтер, — говорит женщина с сумками. Да так ко мне и прильнула,

я чуть не задохнулся от запахов ее расчудесных и от жуткой вони у нее изо рта. Потом я выяснил, вонь эта не только из-за гнилых зубов была, а из-за арахисового масла, которое в них застревало. Она уже много лет одними бутербродами с арахисовым маслом питалась.

— С чего это тебе вздумалось первого встречного под опеку брать? — осведомляюсь.

— Перестань, Уолтер, я для тебя такое сделаю, не поверишь.

— Вот что, Леланд, — говорю, — я теперь на своей шкуре узнал, каково оно, срок отбывать, и, черт, если о чем в жизни жалею, так больше всего о том, что сидел ты по моей вине.

— Знаешь, — отвечает, — мы с Сарой много говорили, как нам лучше всего выразить, что мы по отношению к тебе чувствуем.

— Да уж понятно.

— И решили, надо вот такие слова сказать: «Спасибо тебе, Уолтер, большое спасибо. Когда я сел, для нас с Сарой самая лучшая пора в жизни началась». Никаких шуток. Чистая правда, клянусь честью.

Я изумился:

— Быть такого не может!

— Жить, — объясняет мне Клюз, — нужно так,

чтобы все время испытанию подвергаться. А если бы моя жизнь шла себе, как прежде, так бы и на небо отправился, ни с одной трудностью не столкнувшись посерьезнее, чем блины печь. И сказал бы мне Святой Петр: «Ты ведь и не жил вовсе, мой милый. Поди разбери, что ты собой представляешь».

— Понятно.

— У нас с Сарой не просто любовь, а такая, которая выдержала самые жестокие испытания.

— Очень хорошо ты сказал, — говорю.

— Так бы мы были рады, если ты сам в этом убедишься. Может, заглянешь к нам как-нибудь, поужинаем вместе?

— Да я что, я конечно…

— Ты где остановился? — спрашивает.

— В отеле «Арапахо».

— Думал, его уж снесли сто лет назад.

— Нет, стоит еще.

— Посидим, значит, вместе.

— С удовольствием приду.

— Увидишь, — говорит, — в материальном смысле у нас ничего нет, а нам и не нужно ничего, в материальном-то смысле.

— Разумеется, вы ведь интеллигентные люди.

— Хотя ты не сомневайся, — поправился он,

— накормим тебя вкусно. Сара замечательно готовит, не позабыл еще?

— Как позабыть!

И здесь женщина с сумками предъявила веское доказательство, что ей достаточно про нас известно.

— Вы ведь про Сару Уайет говорите, правильно?

Повисла тишина, хотя грохот гигантского города не смолкал ни на секунду. Ведь ни Леланд, ни я не упоминали девичьей фамилии Сары.

Я путался в неясных предположениях, пока не спросил ее напрямик:

— А откуда вам известно, что она Уайет?

Улыбнулась она этак хитровато, кокетливо:

— Думает, я не догадалась, что он всю дорогу тайком от меня к ней бегает.

После такого сообщения уже незачем было ломать голову, кто она такая. Я с ней спал, когда был на старшем курсе в Гарварде, по-прежнему вывозя свою весталку Сару Уайет на разные вечеринки, концерты и футбольные матчи.

Передо мной была одна из четырех женщин, которых я в своей жизни любил. Передо мной была первая женщина, с которой я испытал что-то напоминающее настоящий эротический опыт.

Передо мной была Мэри Кэтлин О’Луни, вернее, то, что от нее осталось!

14

— Я у него агентом по распространению состояла, оглушительным голосом сообщила Леланду Клюзу Мэри Кэтлин О'Луни. — А неплохой я была агент, правда, Уолтер?

— Да-да, — говорю, — неплохой.

Вот как мы с нею познакомились: когда я учился на последнем курсе, она однажды появилась в крошечном помещении, занимаемом в Кембридже редакцией нашего «Прогрессиста», и сказала: буду делать все, что прикажут, если это нужно, чтобы улучшить положение рабочего класса. Я ее сделал агентом по распространению, поручив раздавать газету у проходных на фабриках, в очередях за благотворительной похлебкой и так далее. Была она тогда малорослой худенькой девушкой, но подтянутой такой, жизнерадостной и сразу привлекающей внимание копной ярко-рыжих волос. Капитализм она ненавидела смертельно, потому что ее мать, работавшая на часовом заводе Уайетов, оказалась в числе жертв отравления радием. А отец, ночной сторож на фабрике, делавшей гуталин, ослеп, хлебнув древесного спирта.

И нате вам: Мэри Кэтлин — вернее, то, что от нее осталось, стоит передо мной, потупившись, и скромно слушает, как я ее нахваливаю — хороший она была агент, хороший, — да лапы свои тянет то к Леланду, то ко мне. Лысинка у нее на голове размером с серебряный доллар. А вокруг лысинки седой венчик из жидких волос.

Леланд потом мне признался, что он чуть в обморок не упал. В жизни не встречал женщин с лысиной.

Для него потрясение оказалось слишком сильным. Закрыл голубые свои глаза, отворачивается. А когда, набравшись духу, опять к нам повернулся, все норовит не смотреть на Мэри Кэтлин, ну, как в мифе Персей норовил на Горгону не смотреть.

— Надо бы нам поскорее с тобой увидеться, — сказал он.

— Конечно.

— Сообщу тебе, когда.

— Непременно сообщи.

— Ну, ладно, мне нужно бежать.

— Понимаю.

— Ты поосторожней, — сказал он.

— Не беспокойся, — ответил я.

И он ушел.

Сумки Мэри Кэтлин так и стояли, прислоненные к моим ногам. С места мне не тронуться и чужих взглядов не избежать, словно Святой Жанне на эшафоте. А Мэри Кэтлин все запястье мое никак не отпустит и орет, хоть бы на минутку голос понизила.

— Нашла я тебя все-таки, Уолтер, — орет она, — теперь уж ни за что не отпущу!

Такого спектакля не видели вы никогда и не увидите. Ценные сведения для нынешних импресарио: оказывается, и сегодня можно по личному опыту свидетельствую — привлечь мелодрамой огромные толпы зрителей, только при условии, что главная героиня будет говорить громко и четко.

— Помнишь, ты мне все повторял, что влюблен в меня по уши? — вопит она. — А потом смотался, только я тебя и видела. Ты что же, Уолтер, врал мне, что ли?

Кажется, я что-то промычал в ответ. «Угу», вроде бы, а может, «не-а».

— Посмотри мне в глаза, Уолтер, — приказывает она.

С социологической точки зрения эта мелодрама, разумеется, была такой же захватывающей, как представление «Хижины дяди Тома» в канун

Гражданской войны. Ведь в Соединенных Штатах Америки не одна же Мэри Кэтлин О'Луни бродяжкой с сумками по городу шатается. Таких десятки тысяч в любом нашем большом городе. Так уж вышло, что целые полки оборванных этих бродяжек неизвестно зачем произвел на свет огромный конвейер экономики. А с другого конца конвейера в виде готовой продукции сходят нераскаивающиеся десятилетние убийцы, рабы наркотиков и эти, которые калечат собственных детей, и еще много изделий скверного качества. Говорят, так нужно для научных целей. А в будущем подправим, где окажется нужда.

Но из-за таких вот трагических побочных продуктов экономического конвейера люди с добрым сердцем места себе не находят, как не находили себе места сто с небольшим лет тому назад из-за рабовладения. Мы, Мэри Кэтлин да я, разыгрывали миракль, который публика уж и не чаяла когда-нибудь увидеть: бродяжку с сумками в руках вытаскивает из грязи человек, когда-то хорошо ее знавший, — пусть только одну бродяжку, но и на том спасибо.

Некоторые рыдали. Я сам чуть не разрыдался.

Такое было чувство, что прижал к груди охапку пересушенных сучьев, на которые набросали

тряпок. Вот тут-то я и сам разрыдался. В первый раз слезы к глазам подступили — с того самого дня, когда рано утром я нашел свою жену мертвой там, в спальне крохотного моего кирпичного бунгало, Чеви-Чейз, штат Мэриленд.

15

Нос мой, слава Богу, ничего уже не чувствовал. Носы — они снисходительны, спасибо им. Докладывают тебе: скверно пахнет. Но если ты как-то терпишь, нос делает для себя вывод: значит, не так уж непереносим этот запах. И больше не протестует, подчинившись более высокой мудрости. Вот потому-то можно есть лимбургский сыр или прижимать к сердцу старую любовницу, встретившись с ней на углу Сорок второй и Пятой авеню.

На секунду мелькнуло подозрение, что Мэри Кэтлин тихо отошла, пока я ее обнимал. Сказать по совести, я бы ничего не имел против. Ну, сами подумайте, куда мы с нею пойдем? Всего бы ей лучше облобызаться с мужчиной, знавшим ее, когда она была молодая и красивая, а затем — прямиком на небо.

Замечательно бы все устроилось. Но тогда бы в жизни мне не сделаться вице-президентом «Музыки для дома», подразделение корпорации РАМДЖЕК. Так бы сейчас и валялся, упившись, где-нибудь в Бауэри, а юное чудовище поливало бы меня бензином, поднося к лицу зажигалку

марки «Крикет».

Мэри Кэтлин заговорила с умилением в голосе:

— Бог мне тебя послал.

— Брось, — говорю, — успокойся. — А сам все обнимаю ее, обнимаю.

— Я теперь никому не доверяю.

— Да успокойся же, наконец.

— У меня вокруг одни враги, — сообщает она. — Руки мне выкрутить норовят.

— Ну что ты, в самом деле.

— А я думала, ты уж давно помер.

— Жив пока, как видишь, — говорю.

— Думала, все уж померли, я одна осталась.

— А вот и нет.

— Знаешь, Уолтер, я по-прежнему верю в революцию, — говорит.

— Рад это слышать.

— Другие-то всякую веру утратили. А я нет.

— Вот и молодец.

— Я все так же каждый день что-нибудь ради революции делаю.

— Да я не сомневаюсь.

— Узнаешь — не поверишь.

— Ее бы в горячей ванне отмыть, — посоветовали из толпы.

— Да и покормить бы, — добавил чей-то голос.

— Революция уже близко, Уолтер, ближе, чем ты думаешь.

— Я, — говорю, — в гостинице остановился, пошли, малость передохнешь. Деньги тоже есть. Немного, но есть.

— Деньги! — И презрительно так засмеялась. Всегда она про деньги с презрением говорила. Что сорок лет назад, что сейчас.

— Ну, пойдем? — спрашиваю. — Это отсюда недалеко.

— У меня получше есть местечко, — говорит.

— Ты бы ей витамины купил, знаешь, «Всего день, и здоров» называются, — из толпы рекомендуют.

— Пойдем, Уолтер, — сказала Мэри Кэтлин. Прямо на глазах прежняя уверенность к ней возвращается. Она сама меня отстранила, не я ее. И голос опять такой пронзительный. Поднял я три ее сумки, другие три она сама взяла. Идти нам, как выяснилось, надо было на самую крышу небоскреба Крайслер, там выставочный зал компании «Американские арфы» помещается. Но сначала пришлось через толпу пробиваться, и она давай столпившихся бурдюками буржуазными обзывать и плутократами обожравшимися, а еще кровопийцами и все такое прочее.

В своих невероятного размера кедах передвигалась она вот как: чуть оторвет подошву от земли и шажок вперед, потом другую ногу подтягивает, вроде как на лыжах по пересеченной местности, а корпусом раскачивается вправо, влево, и сумки за собой волочит, так всех и сметает этими сумками. С виду старуха на ладан дышит, а еще как шустро двигается, прямо ветер! Я за ней еле поспевал, уж почти задохнулся, пока мы из толпы выбрались. Понятное дело, глазеют на нас, словно мы какая диковина. А кому случалось видеть, чтобы бродяжке с сумками помощь оказывали?

Дошли мы до Центрального вокзала, и тут Мэри Кэтлин говорит: посмотри, не увязался ли кто за нами. И началось: вверх, вниз по эскалатору, переходы какие-то, лестницы, а она все оглядывается, нет ли преследователей. Через один только устричный бар три раза пройти пришлось. И наконец очутились мы в полуосвещенном коридоре перед железной дверью. Никого тут, кроме нас, не было совершенно точно. Сердце так из груди и выпрыгивает.

Ну, пришли мы более или менее в себя, она и говорит:

— Сейчас такое тебе покажу, только никому не рассказывай.

— Слово даю.

— Это будет наша тайна.

— Ага.

Похоже, в таких мы оказались вокзальных катакомбах, куда и не забредал никто. А ничего подобного! Мэри Кэтлин отперла железную дверь, а за нею лестница, тоже железная, и все вниз, вниз. Там, оказывается, целый таинственный мир, что тебе карлсбадские пещеры. И давно этими помещениями не пользуются. Хоть приют динозавров устраивай. Вообще-то там раньше были ремонтные мастерские для других исчезнувших чудовищ, для паровозов.

Спускаемся мы с ней по этой лестнице.

Бог ты мой, какие тут удивительные стояли прежде машины! Какие работали замечательные мастера! Надо думать, лампочки там-сям горели, в строгом соответствии с распоряжениями пожарной охраны. А по углам блюдечки были расставлены с ядом, крыс травить. Только теперь впечатление такое, что тут уж много лет нога человеческая не ступала.

— Я тут живу, Уолтер, — сказала Мэри Кэтлин.

— Живешь?

— А ты как хотел, на улице мне, что ли, жить?

— Ну почему ж — на улице?

— Вот и радуйся, что у меня такое местечко есть замечательное, никто не потревожит.

— Да я и радуюсь.

— Ты так меня там обнимал, слова такие говорил. Поняла я, что можно тебе доверять.

— Конечно, — промямлил я.

— Ты же не станешь руки выкручивать?

— Да ты что!

— Знаешь, сколько народа по улицам слоняется, все прикидывают, где бы им туалет бесплатный отыскать.

— Много, наверно?

— Посмотри-ка. — И она показала мне зальчик, где ряд за рядом стульчаки составлены.

— Ну и ну, — говорю, — это сколько ж их тут?

— Никому не расскажешь, хорошо?

— Никому, — пообещал я.

— Я тебе во всем доверяю, а то бы ни за что не раскрыла свои тайны, — сказала она.

— Спасибо тебе, — говорю.

И стали мы с ней выбираться из этих катакомб. Она провела меня туннелем под Лексингтон-авеню и вверх по лестнице к вестибюлю небоскреба Крайслер. Проскользнула, как на лыжах, через весь холл к дежурному лифту, я сзади плетусь. Швейцар было за нами кинулся, но мы уже в

кабинку вошли. Дверцы прямо перед ним и захлопнулись, как он ни орал, а Мэри Кэтлин нажала на кнопку самого верхнего этажа.

В кабине, кроме нас, никого не было, мы так и взмыли вверх. Секунды не прошло, как перед нами открылось зрелище неземной красоты и гармонии, — мы были на крыше небоскреба из нержавеющей стали. Давно меня разбирало любопытство, как там все выглядит. Теперь знаю. Шпиль уходил в высь еще футов на семьдесят. А между ним и площадкой, на которой мы стояли, ничего не было, только кружево стальных конструкций и простор, простор.

«Господи, надо же, сколько места зря пропадает», — подумалось мне. А потом я увидел, что все это пространство населено. Тысячи крохотных птиц в ярко-желтом оперенье сидели на балках или перепархивали от опоры к опоре в полосах света, лившегося через странной формы окна, этакие гигантские стеклянные треугольники, увенчивавшие свод.

Холл, на краю которого мы стояли, словно ковром покрывала зеленая травка. Посередине высоко бил фонтан. Всюду виднелись статуи, скамьи, и между ними стояли арфы.

Я уже говорил, что здесь помещается выста-

вочный зал компании «Американские арфы», с недавнего времени принадлежащей корпорации РАМДЖЕК. Компания арендовала этот холл с того самого дня, как закончили строительство небоскреба, — в тысяча девятьсот тридцать первом это было. А все птички на балках славки это, их еще писцами называют — были потомками той пары, которую выпустили на церемонии начала эксплуатации небоскреба.

Рядом с лифтом был бельведер в викторианском стиле: конторка коммерческого агента и еще одна, для его секретарши. За этой конторкой рыдала какая-то женщина. Утро выдалось такое, что обрыдаешься. И книга у меня выходит такая, что обрыдаешься.

Из-за павильончика вышел, шаркая, старичок — таких ветхих я сроду не встречал. На нем был фрак, брюки в полоску и гетры. Он тут коммерческий агент, так один и занимает эту должность с тысяча девятьсот тридцать первого. Ему-то и поручили выпустить ту парочку славок из тесной клетки своих рук в волшебное пространство холла. Девяносто два года ему, представляете? С виду точно Джон Д.Рокфеллер под конец жизни, или точно мумия. Весь высох, только на глазах какая-то слабенькая роса поблескивает. Но не такой

уж он беспомощный, не думайте. Он президент клуба любителей револьверной стрельбы, они по субботам собираются и палят в силуэты, неотличимые от живых людей, а на конторке у него лежит заряженный люгер величиной с хорошего добермана. Все ждет, когда его грабить придут.

— А-а, ты опять, — сказал он, увидев Мэри Кэтлин, а она: ну да, кто же еще?

У нее была привычка каждый день по несколько часов тут проводить. Такой они заключили договор, что она со своими сумками сразу же уходит, если появится покупатель. И еще был в этом договоре пункт, который Мэри Кэтлин взяла вот и нарушила.

— Я тебе сколько раз буду напоминать, — сказал он, — чтобы никого сюда с собой не приводила, чтобы не говорила никому, как тут хорошо.

Увидел, что я тоже сумки тащу, и решил: еще один бродяга по помойкам роется.

— Не бродяга он никакой, — сказала Мэри Кэтлин. — Он в Гарварде учился.

Старичок поначалу не поверил. Понятно, говорит, но все ко мне приглядывается. Сам-то он, между прочим, даже школу не кончил. Когда мальчишкой был, еще не существовало законов, запрещающих детский труд, вот он и начал в

десять лет работать на чикагской фабрике компании «Американские арфы».

— Говорят, гарвардцев издалека видно, — прошамкал он, — но по этому типу что-то не скажешь.

— По-моему, ничего такого особенного в гарвардцах нет, успокоил я его.

— Значит, не я один так считаю, — говорит. Очень неприязненно меня рассматривает и явно хочет, чтобы я убрался поскорее. Тут, милый мой, не Армия спасения. — Родился он, стало быть, в президентство Гровера Кливленда.[42] Подумать только!

— Подводишь ты меня, — говорит он Мэри Кэтлин, — таскаешь вот за собой всяких, как не стыдно! Завтра трех притащишь, послезавтра еще двадцать, так, что ли? Милосердие, к твоему сведению, в меру хорошо, в меру.

И тут совершаю я промах, из-за которого под конец дня, который вообще-то должен был стать для меня первым днем на воле, опять окажусь в *el calabozo*.[43]

— Напрасно вы, — говорю, — я по делу при-

---

[42] Примечания: 42
Президент США в 1885–1889 и 1893–1897 годах.

[43] Примечания: 43
В тюрьме *(исп.)*.

шел.

— Арфу приобрести желаете? — спрашивает. — Они от семи тысяч долларов и выше. Может, дудочкой полинезийской обойдемся, а?

— Вот вы-то мне и посоветуйте, пожалуйста, где бы к кларнету кое-что докупить, не сам кларнет, а детали. — Очень серьезно я это сказал. Обдумывал фантастический проект, который у меня возник, когда кое-что отыскалось в ящике комода там, в гостинице «Арапахо».

Старичка как током ударило. У него к конторке пришпилен был циркуляр, рекомендующий сразу же позвонить в полицию, если кто спросит детали от кларнета или предложит их на продажу. Он мне потом признался, что бумажку эту уж несколько месяцев назад к конторке прикнопил, «знаете, вроде лотерейного билета, который сдуру купишь». И думать не думал, что билет-то выигрышным окажется. Дельмар Пил — вот как его звали.

Впоследствии Дельмар — воспитанный все-таки человек — подарил мне этот циркуляр, он теперь висит у меня в служебном офисе корпорации РАМДЖЕК. В семействе РАМДЖЕК я Дельмару — начальство, потому что компания «Американские арфы» подчинена моей фирме.

Но когда мы познакомились, никаким я ему начальником не был. И он со мной играл, как кошка с мышкой. Прищурился этак хитренько и осведомляется:

— Вам разные детали нужны или одна какая?

— Да нет, — говорю, — разные. Если правильно понял, вы-то кларнетами не торгуете…

— Не важно, все равно хорошо, что ко мне обратились, поспешил он меня успокоить. — Я всех знаю, кто инструменты продает. Располагайтесь-ка с мадам Икс поудобнее, а я кое-кому по телефону позвоню.

— Очень с вашей стороны любезно.

— Ну что вы!

Кстати, Мэри Кэтлин он только так и называл: мадам Икс. Она ему сама сказала, что ее так зовут. Взлетела однажды к нему наверх, подумав, что за нею какие-то люди гонятся. А он жалел этих бродяжек с сумками, он же христианин, в церковь ходит, вот и не вытолкал ее в шею.

Вижу, та, которая за своей конторкой рыдала, потихоньку успокаивается.

Дельмар подвел нас к скамье, которая от бельведера была далеко, так что мы не слышали, что он в полицию звонит. Усадил нас, заботливый такой.

— Удобно вам? — спрашивает.

— Да-да, спасибо, — говорю.

А он руки потирает.

— Может, кофе хотите?

— От кофе у меня нервы никуда, — сказала Мэри Кэтлин.

— А я охотно, только, если можно, с сахаром и сливками, сказал я.

— Конечно, конечно.

— Что там с Дорис приключилось? — спрашивает Мэри Кэтлин. Это она про секретаршу, которая рыдала за конторкой. Полное ее имя Дорис Крамм. Тоже не молоденькая, восемьдесят семь ей.

По моей подсказке журнал «Пипл» недавно напечатал статью про Дельмара и Дорис, почти несомненно самую старую в мире пару: он начальник, она его секретарша. Трогательная история. А на одной фотографии у Дельмара в руках его люгер: говорит — точные его слова приводятся, — что всякий, кому вздумается посягнуть на собственность компании «Американские арфы», «очень быстро пожалеет, зачем в грабители пошел».

Дорис рыдает, сказал он Мэри Кэтлин, потому что на нее один за другим обрушились два тяже-

лых удара. Вчера ее уведомили, что она должна немедленно уйти на пенсию, поскольку компания отныне принадлежит корпорации РАМДЖЕК. А в РАМДЖЕКе все служащие, исключая руководство, обязаны уходить на пенсию по достижении шестидесяти пяти лет. Так-то вот, а нынче утром, пока она бумаги на столе раскладывала, принесли телеграмму с известием, что ее племянница — Дорис ей прабабкой доводится — погибла в автомобильной катастрофе, возвращаясь со школьного бала в Сарасоте, штат Флорида: две машины столкнулись лоб в лоб. У Дорис прямых наследников нет, объяснил Дельмар, так что эти дальние родичи для нее очень много значат.

Кстати, Дельмар с Дорис почти никакими делами у себя на крыше Крайслера не занимались и сейчас не занимаются. Когда я начал работать в корпорации РАМДЖЕК, то испытывал гордое чувство, вспоминая, что арфы компании «Американские арфы» — самые лучшие арфы в мире. Вы, наверно, думаете, что теперь самые лучшие арфы в мире делают итальянцы, японцы или там западные немцы, в Америке-то ручной труд уже и не применяется вовсе, или почти не применяется. Но все равно музыканты итальянские, японские, немецкие, даже из Советского Союза,

все считают: лишь арфа производства компании «Американские арфы» — настоящий класс. Только производство арф не было никогда и никогда не будет массовым производством, вот разве что на небе. И поэтому показатель доходов, проценты там всякие просто смехотворны. До того смехотворны, что я недавно приказал выяснить, зачем, собственно, РАМДЖЕК приобрел компанию «Американские арфы». Оказывается, затем, чтобы прибрать к рукам тот потрясающий холл на крыше небоскреба Крайслер. Компания сняла этот холл до две тысячи тридцать первого года и всего-то за двести долларов в месяц! Арпад Лин хотел под ресторан его переоборудовать.

А что у компании есть еще фабрика в Чикаго с шестьюдесятью пятью служащими, это так, пустяки. Если фабрика за год-другой не добьется существенного роста доходов, РАМДЖЕК ее просто закроет.

Ну и пусть.

16

Мэри Кэтлин О'Луни, вы уже поняли, была той самой легендарной миссис Джек Грэхем, владелицей контрольного пакета акций РАМДЖЕК. В ее кедах хранились чернильница, ручки и бумага. Кеды были для нее вроде банковских сейфов. Снять их с нее никто не мог, не разбудив при этом хозяйку.

Впоследствии она говорила, что еще в лифте открылась мне, кто она такая.

Что мне было на это отвечать?

— Если бы ты открылась, Мэри Кэтлин, такое я бы уж точно запомнил.

Знай я, кто она на самом деле, куда понятнее стали бы вечные ее разговоры про то, что ей хотят обрубить руки. Эти обрубленные руки можно было бы заспиртовать, выбросив куда-нибудь ее тело, и тогда, воспроизводя отпечатки пальцев, можно было бы ворочать всеми делами корпорации РАМДЖЕК. Понятно, почему она все время была настороже. Понятно, что никому не говорила, кто она.

Понятно, что никому не доверяла. На нашей отдельно взятой планете, где деньги превыше

всего, даже самому обходительному человеку могло вдруг взбрести в голову: а сверну-ка я ей шею, и тогда у моих близких всего будет вдосталь. Всего-то одно движение, секунда какая-то, пройдет несколько лет — и вспоминать про это перестанешь. А годы быстро проходят.

Маленькая она такая была, слабая. Прикончить ее да руки обрубить было бы ничуть не страшнее того, что десять тысяч раз за день происходит на птицефабриках-автоматах. Вы ведь знаете, корпорации РАМДЖЕК принадлежит фирма «Жареные цыплята из Кентукки с фермы полковника Сандерса». Знаю я, как эти цыплята на разделочный стол попадают, своими глазами видел.

Но как же это я в лифте не расслышал, когда она мне открылась?

У меня, помню, уши заложило там, наверху, уж очень резкий был перепад высоты. Мы единым духом на тысячу футов взлетели, хоть бы остановку сделали. А еще вот что: оглох я, не оглох, все равно сработал бы мой автопилот, который разговорами управляет. Не беру в голову, что мне говорят да и что сам я говорю. Казалось мне, так мы с нею далеки от всего, чем живет большинство людей, нам только звуками вроде мычания друг с другом общаться нужно. Кажется, она

обмолвилась, что ей отель «Уолдорф Астория» принадлежит, но я решил: послышалось.

— Рад за тебя, — говорю.

В общем, когда мы там в салоне арф на скамеечке сидели, она думала, что самое главное я про нее знаю, а я не знал. Меж тем Дельмар Пил позвонил в полицию, а Дорис Крамм услал из салона вроде как за кофе, а на самом деле полицейского позвать с улицы.

Но вышло так, что в это время небольшая драка началась в сквере перед зданием Объединенных Наций, всего в трех кварталах отсюда. И все полицейские побежали туда. Там юнцы какие-то, белые, из безработных, стали бейсбольными битами педикам мозги выколачивать. Одного в Ист-Ривер кинули, а оказалось, он министр финансов государства Шри Ланка.

Кое с кем из этих юнцов я потом в участке познакомился, и они решили, что я тоже педик. Один ширинку расстегнул, вытаскивает и говорит: «Алло, папаша, не проголодался? На, закусывай. Чав-чав-чав» — и все такое.

Однако я все это вот к чему рассказываю: целый час полицейского найти не удавалось, чтобы меня забрал. Так что у нас с Мэри Кэтлин достаточно было времени обо всем всласть наговориться. Ей

в этом салоне было спокойно. И она решилась опять нормальной сделаться.

Ужасно это было трогательно. Она же только физически сдала. А голос у нее, душа, которая в каждом ее слове угадывалась, все это осталось совсем как прежде, когда была она восемнадцатилетней девчонкой — сердитой на мир, но с оптимизмом смотрящей в будущее.

— Теперь для каждого хорошая жизнь начнется, — сказала она мне в том выставочном зале компании «Американские арфы». — Мне всегда внутренний голос говорил, что так вот и будет. Все хорошо, что хорошо кончается.

До чего у нее голова светлая! До чего светлые головы были у всех четырех женщин, которых я любил! За те несколько месяцев, что с я с нею более или менее постоянно спал, она успела перечитать все книжки, которые я прочел — или предполагалось, что прочел, — в Гарварде. У меня от этих толстенных кирпичей мысли путались, а вот Мэри Кэтлин глотала их с жадностью людоеда, дорвавшегося до сочного мяса. Пожирала эти тома, как юный каннибал сердце старого и храброго врага зубами раздирает. Совсем этой книжной магии поддалась. Как-то перебирает маленькую мою библиотеку и говорит: «Вот, са-

мые замечательные книги в мире, которые самые замечательные в мире мудрецы написали, чтобы по ним учились самые замечательные в мире студенты самого замечательного университета».

Ну и пусть.

Вы представляете, как непохожа была Мэри Кэтлин на мою жену Рут, Офелию концлагерей, считавшую, что даже самые разумные все равно до того глупы, уж лучше бы им рта не раскрывать, а то совсем дело будет ни к черту. Если разобраться, кто, как не умники, лагеря смерти выдумали? Балбесу какому-нибудь и на ум не придет устроить лагерь смерти, специальную железнодорожную ветку протянуть, построить крематорий, работающий двадцать четыре часа в сутки. Балбес в жизни не объяснит, отчего лагерь смерти так необходим человечеству.

Что тут скажешь — ну и пусть.

Стало быть, сидим мы с Мэри Кэтлин, а вокруг все арфы, арфы. Странный, как подумаешь, инструмент, в общем-то, почти наглядное воплощение сути цивилизации, какой ее Рут себе представляла, пусть бы никаких войн и не было, — этакое невозможное сочетание греческой архитектуры с летающими машинами Леонардо да Винчи.

Между прочим, арфы эти имеют свойство без всяких внешних причин выходить из строя. Когда мне в корпорации РАМДЖЕК пришлось заняться арфами, я думал, компания «Американские арфы», помимо прочих сокровищ, располагает чудесными старинными инструментами, такими же драгоценными, как скрипки Страдивари или Амати. Ничего подобного, все это пустые фантазии оказались. Струны на арфе так жестко, так туго натянуты, что лет через пятьдесят играть на инструменте становится невозможно, и тогда его надо на помойку выкинуть или в музей отнести.

Насчет славок я, кстати, тоже выяснил кое-что удивительное. Они единственные из птиц, в неволе усваивающие правила, по которым живут люди. Вы, наверно, думаете, что арфы приходилось накрывать чехлами, чтобы они не перемазались птичьим пометом? Вот и нет. Славки свой помет откладывают в такие чашечки, которые там везде были понаставлены. Когда на воле живут, вероятно, откладывают помет в гнезда других птиц. Чашечки эти они за гнезда принимают.

Век живи — век учись.

Еще два слова про то, как мы с Мэри Кэтлин среди арф сидим, а над нами славки летают, а на

улице полицейского ищут.

— Когда умер мой муж, я такой себя несчастной чувствовала, Уолтер, такой одинокой, что пить начала, — рассказывает она.

Муж ее был Джек Грэхем, инженер, нелюдимый такой человек, который корпорацию РАМДЖЕК основал. И не на пустом месте. Он был из семьи мультимиллионеров. Хотя я ничего этого тогда не знал и, когда она про мужа заговорила, мог бы вообразить этого мужа кем угодно, то ли он водопроводчик, то ли водитель грузовика, или преподаватель колледжа, или еще кто.

Рассказывает: поехала она в частный санаторий, Луисвилл, штат Кентукки, и там ее лечили шоком. Поэтому у нее начисто отшибло память о происходившем с тысяча девятьсот тридцать пятого по пятьдесят пятый. Вот оттого-то, встретившись сейчас со мной, она и решила, что мне можно доверять, как прежде. О том, как бессердечно я ее покинул, как потом заложил Леланда Клюза, и все остальное, — ничего она вспомнить не может. И простодушно полагает, что я все тот же пламенный идеалист, каким был в тысяча девятьсот тридцать пятом. Ничего ей не известно и про то, какую роль я сыграл в Уотергейте. Никто толком не знает про мою роль в Уотергейте.

— Много чего мне пришлось выдумать и за воспоминания выдать, — сказала она, — а то сплошь одни дыры зияли. Знаю, что была война, и не забыла, как ты ненавидел фашизм. Как-то представила себе: лежишь ты где-то на морском берегу, гимнастерка на тебе, винтовка рядом, а волна ласково так у твоих ног плещется. Глаза у тебя, Уолтер, широко открыты, потому что мертвые они, глаза-то. Лежишь, солнце прямо в лицо тебе бьет.

Минуту мы помолчали. Желтая птичка вдали над нами расчирикалась так жалобно, словно у нее сердце вот-вот разорвется. Славки, известное дело, ужасно монотонно поют, я первый готов подтвердить. Еще не хватало, чтобы вы моей повести верить перестали, если возьму да напишу, что славки с Бостонским симфоническим оркестром могут потягаться, такие у них мелодичные песни. А все же умеют они выразить, что сердце у них разрывается, — по-своему, конечно, но умеют.

— Мне самому такое снилось, — говорю. — И знаешь, Мэри Кэтлин, не раз ловил себя на мысли: хорошо бы сон в руку оказался.

— Перестань, — кричит, — перестань, Уолтер! Слава Богу, что ты жив-здоров. Слава Богу, еще

есть хоть кто-то, кому не все равно, что с нашей страной будет. Я уж думала, может, я одна такая осталась. Сколько уж лет, понимаешь, брожу вот по городу и думаю: «Все они померли, кому не все равно было». А тут вдруг тебя встретила.

— Мэри Кэтлин, да будет тебе известно, я только что из тюрьмы вышел.

— А что такого? — говорит. — Всех хороших людей то и дело сажают. Слава Богу, что ты живой! Мы с тобой эту страну по-новому обустроим, а потом весь мир. Одной мне, Уолтер, не справиться.

— Ну что ты, где уж там, — забормотал я.

— Пока одна была, я ни о чем и не помышляла, лишь бы уцелеть. А что оставалось, только бы выжить как-то. Вот каково мне приходилось, пока совсем одна была. Помощи особенной мне не требуется, а все же хоть бы немножко кто-то помог.

— Знаю я, знаю.

— Глаза у меня сдали, но писать еще могу, только крупными буквами, — сказала она, — а вот газеты читать не получается. Все из-за глаз этих. — И рассказывает, что потихонечку в бары старается заходить, в магазины и вестибюли мотелей, чтобы посмотреть телевизор, только там почти никогда на программу новостей не переключают. Иной раз удастся кое-что подслушать, если кто с

транзистором по улице идет, но такие тоже, чуть новости начнутся, сразу ручку вертеть начинают, им музыка нужна.

Вспомнил, как нынче утром по радио передавали про собаку, съевшую младенца, и говорю: чего слушать-то, не больно обрадуешься.

— А как же мне свою жизнь по-умному планировать, если не ведаю, что на свете происходит? — возразила она.

— Да, это правильно.

— Революцию-то не подтолкнешь, если только «Сезам, откройся!» слушать, да «Вечер с Лоуренсом Уэлком», да «Мир семьи». — Все эти передачи РАМДЖЕК оплачивает как спонсор.

— Не подтолкнешь, что и говорить, — согласился я.

— Добротная информация нужна.

— Ну конечно. А кому не нужна?

— По радио чушь одну передают, — сказала она. — Журнальчик такой есть, «Пипл»[44] называется, про народ должен писать, — я в мусорных баках его находила, так там про народ ничего нет. Одна чушь.

До чего это мне показалось романтичным:

---

[44] Примечания: 44
People *(англ.)* — народ.

бродяжка с сумками, шатается по помойкам, а надо же, ей все необходимо распланировать, в какой район идти да зачем, и в баках не просто так роется, нет, желает выяснить, что происходит на свете, журнальчики для этого просматривает, норовит расслышать новости по телевизору, по радио.

Впрочем, и она тоже романтику тут чувствует.

— Рассказывают, понимаешь, куда Джеки Онассис поехала, что Фрэнк Синатра затеял, или этот Обжора Сластена, или Арчи Байкер,[45] а я ничего мимо ушей не пропущу, прикину, и выходит Мэри Кэтлин что-нибудь получше бы придумала.

— Но теперь ты со мной рядом, — добавила она. — Глазами моими станешь и разумом моим тоже!

— Глазами, может, и могу, — ответил я. — А вот по части разума я последнее время не слишком отличался.

— Ах, — говорит, — если бы еще и Кеннет Уистлер жив оказался!

Все равно что сказала бы: «Ах, если бы Дональд Дак был в живых!» Этот Кеннет Уистлер был по профессии рабочий лидер, которому в былые дни

---

[45] Примечания: 45
Герой популярного телесериала, невежественный расист.

я поклонялся, как идолу, а теперь никаких чувств к нему не испытываю, много лет и не вспоминал про него.

— Какая бы у нас замечательная троица получилась. Ты, я и Кеннет Уистлер.

Доживи он до наших дней, думаю, Уистлер был бы сейчас обыкновенным бродягой, только он погиб в тысяча девятьсот сорок первом, когда произошла авария на шахте в Кентукки. Мало ему было, что он профсоюзный лидер, еще обязательно и вкалывать хотел, а нынешних профсоюзных лидеров с их розовыми пальчиками облил бы презрением. Приходилось мне пожимать ему руку. Лапища была — что твоя крокодилова кожа. А угольная пыль так глубоко в морщины на лице въелась, словно его черными татуировками разрисовали. Как ни странно, он тоже был питомец Гарварда, выпуск тысяча девятьсот двадцать первого года.

— Ну, ладно, — вздохнула Мэри Кэтлин, — хорошо хоть мы с тобой уцелели, а теперь можно подумать, какая следующая акция будет.

— Всегда готов разумное предложение выслушать.

— Если оно того стоит, — поправила она.

И давай излагать свои мысли, как бы вызволить

народ Соединенных Штатов из-под экономического бремени, только я-то подумал, это она не про экономику, а про бремя жизни толкует. Ну, и говорю: бремя надо нести терпеливо, жизнь тебя за это, глядишь, и вознаградит, жаль вот только, что уж больно долго та волынка тянется. Моя, например, жизнь была бы сплошной шедевр, если бы фашистская пуля и правда между глаз мне вошла, когда я лежал на морском берегу.

— Видно, народ нынче пошел совсем плохой, — сказала она. Все такие злые, как посмотрю. Не то что в Депрессию, тогда люди другими были. А теперь ни от кого доброго слова не дождешься. Вообще, слова не дождешься, по себе сужу.

Спрашивает: а тебе случалось видеть, чтобы кто-нибудь хоть капельку доброты проявил? Подумал я и понял, что, пожалуй, одну только доброту и видел с тех пор, как освободился. Так вот ей и сказал.

— Значит, это уж у меня особенность такая, что одно плохое вижу, — заметила она. И правильно заметила. Есть предел, за которым уже невозможно одну грязь да грязь замечать, не отворачиваясь, а Мэри Кэтлин и прочие бродяжки с сумками давно уж этот предел перешли.

Ей очень любопытно было узнать, кто же это

ко мне такую доброту проявил, подтвердив, что американцы еще способны выказывать великодушие. И я ей с радостью рассказал про первые свои двадцать четыре часа на воле, начал с Клайда Картера, конвоира моего тюремного, потом перешел к доктору Фендеру, который сидит у нас в каптерке и, кроме того, научную фантастику сочиняет. Ну, конечно, и про лимузин не утаил, как меня подвез Кливленд Лоуз.

Мэри Кэтлин все ахала, названные мной имена повторяла, чтобы увериться — правильно запомнились.

— Святые люди, — говорит. — Стало быть, не перевелись еще святые люди у нас в стране.

А я, увлекшись, рассказываю, как радушно встретил меня доктор Израел Эдель, ночной портье отеля «Арапахо», да как мило со мной держался нынче утром персонал кофейни при отеле «Ройялтон». Не мог ей сказать, как звали хозяина этой кофейни, но уж про физическую его особенность, которой он сразу выделялся среди остальных, конечно, упомянул. «У него рука сожженная, — говорю, — вроде сгоревших чипсов».

— Надо же, святой с сожженной рукой, — сказала она задумчиво.

— Да, — говорю, — и ты сама видела, как я столкнулся на улице с человеком, которого считал своим злейшим врагом. Тот самый высоченный, даже голубоглазый мужчина с портфельчиком. Ты же слышала, он простил мне все плохое, что я ему сделал, на ужин к себе пригласил, навещу его вскоре.

— Как его звали-то? — спрашивает.

— Леланд Клюз.

— Святой Леланд Клюз, — сказала она почтительно. — Видишь, как ты мне уже помог! Сама бы я в жизни ни одного из этих прекрасных людей не встретила. — И она продемонстрировала маленькое чудо запоминания, перечислив одно за другим имена этих прекрасных людей в том порядке, как я их называл: — Клайд Картер, доктор Роберт Фендер, Кливленд Лоуз, Исраел Эдель, человек с сожженной рукой, Леланд Клюз.

Сняла один из своих баскетбольных кедов. Не тот, где у нее чернильница лежала с ручками, бумагой, завещанием и прочим. В том кеде, который она с ноги стянула, всякие бумажки понапиханы, дорогие ей по воспоминаниям. Мои лицемерные любовные письма тоже там были, я говорил. Но она-то мне другое показать хотела, фотографию, на которой, как Мэри Кэтлин выразилась, «два

самых моих любимых мужчины».

На этом снимке мой былой идол Кеннет Уистлер, выпускник Гарварда, ставший профсоюзным лидером, трясет руку низкорослому, с виду глуповатому юнцу-студентику. Этот студентик — я. Уши у меня — прямо не уши, а две компотницы.

Тут-то и заявилась полиция меня забирать.

— Я добьюсь твоего освобождения, Уолтер, — заявила Мэри Кэтлин. — А потом мы вместе добьемся освобождения всего мира.

Честно говоря, хорошо было, что я от нее отделался. Хотя пытался сделать вид, что так это печально — разлучают, мол, нас.

— Береги себя, Мэри Кэтлин, — сказал я. — Похоже, мы с тобой надолго прощаемся.

17

Я повесил эту фотографию с Кеннетом Уистлером, сделанную осенью тысяча девятьсот тридцать пятого, в самый апогей Депрессии, на стене своего офиса в корпорации РАМДЖЕК, она теперь рядом с циркуляром насчет украденных кларнетов. Снимала Мэри Кэтлин, которой я дал свою камеру с гармошкой, и было это утром после того, как мы первый раз слушали, как Уистлер говорит с трибуны. В Кембридж он приехал прямо из округа Харлан, штат Кентукки, где работал на шахте и был председателем на всех профсоюзных митингах, — теперь ему предстояло выступить на митинге, созванном с целью сбора средств на нужды местного отделения Интернационального братства шлифовальщиков-монтажеров. Братством этим тогда командовали коммунисты, а теперь там всем заправляют гангстеры. Так получилось, что свой срок в тюрьме на авиабазе Финлеттер я начал отбывать как раз в тот день, когда из заключения освободился пожизненный президент ИБШМ. Пока он отсиживал, все дела вела, не покидая своей виллы на Багамах, его дочка. Он ей все время звонил. Рассказывал мне,

теперь у него в организации одни только черные да испаноязычные. А в тридцатые годы Братство было сплошь белым, что тебе скатерть накрахмаленная, — все больше скандинавы. Тогда, в добрые старые деньки, черных или по-английски говорящих с испанским акцентом туда бы, наверно, и не приняли.

Другие времена.

Выступал Уистлер вечером. А днем, за несколько часов до митинга, мы с Мэри Кэтлин первый раз в койку легли. Для нас глупые были — близость каким-то образом естественно соединялась с восторженным ожиданием, что вот скоро услышим и увидим святого, может, к нему даже прикоснемся рукой. И мне казалось: если предстоит со святым общаться, самое правильное предстать пред ним Адамом и Евой, от которых так и разит яблочным соком, разве нет?

Местечко мы с Мэри Кэтлин подыскали в квартире доцента антропологии, которого звали Артур фон Штрелиц. Он изучал уклад быта охотников за головами с Соломоновых островов. Говорил на их языке, уважал их табу. И они к нему с доверием относились. Он был неженат. Постель стояла неубранной. А квартира находилась на Брэттл-стрит, четвертый этаж стандартного дома.

Маленькое примечание для анналов: в этом доме и вот именно в этой квартире потом будут снимать очень популярный кинофильм «История любви». Картина вышла на экран, когда я начинал работать в администрации Никсона. Мы с женой решили ее посмотреть, когда она шла в Чеви-Чейз. Там про богатого студента родом из англосаксов, который женится на бедной студентке-итальянке, хотя отец его решительно против, — в общем, все выдумано. Итальянка от рака умирает. Родовитого папу прекрасно сыграл Рей Милланд. Сцены с ним самые лучшие в фильме. Рут проплакала от первого кадра до последнего. Мы сидели в самом крайнем ряду по двум причинам: я там мог покурить и никого сзади не было, кто начал бы выступать, — ну и толстуха. Плохо только, что мне никак не удавалось сосредоточиться, вникнуть в происходящее, ведь очень уж знакомой оказалась квартира, где развертывались многие эпизоды. Так и ждешь, вот сейчас Артур фон Штрелиц появится, или Мэри Кэтлин О'Луни, или я сам.

Мир тесен.

Мы с Мэри Кэтлин могли располагаться в этой квартире на весь конец недели. Фон Штрелиц отдал нам ключи. А сам уехал в КейпЭнн наве-

стить каких-то своих приятелей из немецких эмигрантов. Было ему тогда лет тридцать. Мне казалось — какой старый. Происходил он из Пруссии, из аристократической семьи. Преподавал в Гарварде, а тут весной тысяча девятьсот тридцать третьего Гитлер становится диктатором Германии. Фон Штрелиц отказался вернуться на родину. Попросил вместо этого, чтобы ему дали американское гражданство. Отец, который и раньше с ним никаких отношений не поддерживал, станет командующим корпусом СС и умрет от воспаления легких под Ленинградом. Я знаю, как его отец умер, потому что про него говорилось на заседаниях Нюрнбергского трибунала, а я там ведал размещением и питанием делегаций.

Да, уж правда: мир тесен.

Папаша его, получив в письменной форме приказ от Мартина Бормана, которого в Нюрнберге судили in absentia[46], распорядился расстреливать всех — и военных, и гражданских, — кого захватят в плен при осаде города. Таким способом пытались деморализовать защищавших Ленинград. Кстати, Ленинград построен еще позже, чем Нью-Йорк. Подумать только! Нет,

---

[46] Примечания: 46
Заочно *(лат.)*.

представляете: знаменитый европейский город, полным-полно всяких памятников, оставшихся со времен русской империи, — стоит осаждать! — и вдруг узнаешь, что Ленинград гораздо моложе Нью-Йорка.

Артуру фон Штрелицу не судьба была узнать, как опочил его папенька. Его, Артура этого, высадили на Соломоновы острова с американской подлодки в качестве шпиона, поскольку острова тогда заняли японцы. Высадили — и с тех пор никто о нем не слышал.

Ну и пусть.

Фон Штрелиц считал, что надо как можно скорее определить, для чего живут на земле люди — мужчины и женщины. Не то, говорил он, без нас обойдутся — на социальные институты работать будем, и так уж оно навеки и останется. Когда он говорил про социальные институты, имелись в виду главным образом промышленность и армия.

Он был единственным моим знакомым, который носил монокль.

И вот Мэри Кэтлин О'Луни, которой восемнадцать лет, лежит в его постели. Мы только что выпустили друг друга из объятий. Славно было бы расписать сейчас, какая она была голенькой,

какое розоватое, подобранное у нее тело. Но дело в том, что голенькой я ее ни разу не видел. Скромница она была. Как ни уговаривал, ни за что не хотела раздеваться.

А сам я стою в чем мать родила у окошка, гениталии у подоконника болтаются. Чувствую себя как всемогущий Тор.[47]

— Ты меня любишь, Уолтер? — спрашивает Мэри Кэтлин, к спине моей голой адресуясь.

— Конечно, люблю. — А вы бы что ответили?

Тут в дверь стучат. Я своему соредактору по «Прогрессисту» сообщил, где меня найти, если очень понадобится.

— Кто там? — осведомляюсь.

А с лестницы шум такой доносится, как будто бензиновый моторчик запустили. Это Александр Гамильтон Маккоун, наставник мой, в Кембридж негаданно заявился, решил взглянуть, как я тут время провожу на его-то денежки. Он звуки издавал, похожие на работающий моторчик, из-за того, что заикался. А заикался — из-за того, что пережил во время Бойни на Кайахоге в тысяча восемьсот девяносто четвертом году. Фамилию свою выговорить старается, а все не выходит.

---

[47] Примечания: 47
Бог грома, бури и плодородия в германо-скандинавских мифах.

18

Как-то так получилось, что я ему забыл сообщить, когда стал коммунистом.

А он теперь про это разузнал. Он сначала поехал ко мне в общежитие, а там, в Адамс-хаус, ему говорят — наверно, в «Прогрессисте» своем торчит. Тогда он в «Прогрессист» двинулся и выяснил, что за газета такая, где я один из соредакторов. И вот колотит теперь мне в дверь, а у самого в кулаке свежий номер зажат.

Я ничего, на запаниковал. Вот каким храбрым становишься, если только что семяпровод прочистил.

Мэри Кэтлин, повинуясь молчаливому моему распоряжению, сделанному жестами, скрылась в ванной. Я накинул на себя хитон фон Штрелица. Он его с Соломоновых островов привез. Из каких-то ракушек, что ли, сделан, а по рукавам да у шеи перья и трава сушеная.

Вот в этаком одеянии открываю я дверь и говорю старичку мистеру Маккоуну, которому тогда чуть за шестьдесят было, входите, мол, добро пожаловать.

Он до того был на меня зол, что только и мог

звуки невнятные издавать, словно мотор чихает, — пжш, пжш. И рожи смешные корчит, стараясь мне показать, до чего ему отвратительна моя газета, где на первой полосе была карикатура — распухший капиталист, очень, кстати, на него похож, — и до чего ему хитон этот мой не нравится, и неубранная постель, и портрет Карла Маркса у фон Штрелица на стене.

Выскочил он назад на лестницу, дверью шарахнул. Знать меня больше не желает!

Вот так наконец завершилось мое детство. И я стал мужчиной.

И уже мужчиной, держа под руку Мэри Кэтлин, пошел вечером послушать Кеннета Уистлера, который выступал на митинге в поддержку своих товарищей из Интернационального братства шлифовальщиков-монтажеров.

Спро́сите: а что это я был так безмятежен, так уверен в себе? Дело в том, что было за год вперед уплачено в университете, значит, я его так и так закончу. И кажется, получу стипендию в Оксфорде. Костюмов у меня достаточно — все отличного качества, все приведены в порядок. Из того, что мне посылалось, я почти все сберег, так что в банке у меня маленькое состояние.

А если понадобится, всегда можно перехватить

денег у мамы, упокой, Боже, ее душу.

Жутко самонадеянный я был молодой человек.

Жутко вероломный. Я ведь знал уже, что брошу Мэри Кэтлин, как только закончится академический год. Напишу ей два-три любовных письма, и больше ничего она от меня не получит. Уж очень она из простых.

Голова Уистлера была обмотана бинтом, а правая рука лежала в гипсе. Ведь он, если не забыли, гарвардец, из хорошей семьи, они в Цинциннати живут. Мы с ним оба корнями из Огайо. Мэри Кэтлин и я подумали тогда: видно, снова ему от всяких злых людей досталось, от полиции, национальных гвардейцев или хулиганья из организаций штрейкбрехеров.

Я вел Мэри Кэтлин под руку.

Ей еще никто не говорил, что любит ее.

Был я в костюме, при галстуке, да и почти все мужчины так были одеты. Хотели показать — смотрите, мы солидные граждане, не пьянь какая-нибудь. Кеннета Уистлера на вид можно было за бизнесмена принять. Даже выкроил минутку начистить башмаки.

Начал Уистлер свою речь с шутки:

— Опять у нас семьсот семьдесят шестой на-

стает![48]

Хохот поднялся неистовый, хотя уж чего тут было веселиться. Всех членов профсоюза месяц назад уволили за то, что они состоят в профсоюзе. Они шлифовальные станки делали, а там была только одна компания, которой требовались рабочие этой специальности. Компания «Иохансен. Шлифовальные станки», а она-то их и рассчитала. Вообще-то они все больше с мягкими материалами имели дело, вытачивали, лепили, в печах обжигали. Предки большинства из них у себя в Скандинавии были обыкновенными гончарами, их сюда привезли осваивать новое ремесло.

Митинг собрался в пустовавшем складе на окраине Кембриджа. Рядом была похоронная контора — оттуда стулья и взяли. Мы с Мэри Кэтлин сели в первый ряд.

Оказалось, Уистлера поранило прямо на шахте, такое часто случается. Он рассказывал: убирает поддерживающие столбы из угля, когда остальной пласт уже весь выбран, — воришками таких рабочих называют. Что-то там на него упало.

Описал он опасную работу в темноте и тут же, без перехода давай рассказывать про то, как

---

[48] Примечания: 48
Начало Американской революции.

пятнадцать лет назад в отеле «Ритц» устроили танцевальный вечер без алкоголя, и на этом вечере его гарвардского однокурсника по имени Иохансен схватили за руку, когда он краплеными картами пытался обставить партнеров, собравшихся перекинуться разок-другой в мужской уборной. Тот самый Иохансен, ныне президент компании «Шлифовальные станки», уволившей своих рабочих. Компанию дед этого Иохансена основал. А тогда Иохансена, рассказывает Кеннет, головой в бачок окунули, чтобы больше не вздумал краплеными картами играть.

— А он, — сказал Кеннет, — опять свои крапленые карты в ход пускает.

И добавил: Гарвард за многие ужасные вещи можно винить, за казнь Сакко и Ванцетти, например, но за то, что из Гарварда вышли личности вроде Нильса Иохансена, университет не отвечает.

— Он сроду ни на одной лекции не был, ни одной курсовой не сдал, книжки не прочел, пока там отирался. Его к концу второго курса оттуда в шею погнали. Да, — говорит, — мне его жалко. Я даже могу его понять. А чего бы он в жизни достиг без крапленых карт? Подумайте-ка, почему с вами ему этот фокус с краплеными картами

удался? Да потому что есть законы, позволяющие увольнять каждого, кто выступит на защиту своих коренных прав, и такие законы — они-то крапленые карты и есть. И полиция, которая его собственность охраняет, а не ваши неотъемлемые права, — тоже крапленая карта.

Уистлер начал опрашивать уволенных, выяснял, много ли сам Иохансен понимает в шлифовальных станках. В точку попал! Тогда рабочих проще всего было расположить к себе, заставив их обличать общество убедительнее любого философа, таким вот способом: пусть рассуждают о том единственном предмете, который знают вдоль и поперек, даже слишком, — о работе своей.

Послушали бы вы их! Один за другим они свидетельствовали, что отец Иохансена, дед его, конечно, были страшные мерзавцы, но по крайней мере умели производством управлять. Материал, и только самого высокого качества, поступал тогда на завод точно в срок, оборудование содержалось в исправности, туалеты, отопление — все работало, как положено, и кто халтурил, того наказывали, а кто добротно свое дело делал, поощряли, и в жизни такого не бывало, чтобы отгрузили покупателю станок с изъяном, и про-

чее, и прочее.

Уистлер спрашивает: а из вас мог бы кто-нибудь лучше заводом управлять, чем Нильс Иохансен? Один выступил вперед и от имени всех говорит: «Подумаешь тоже, да кого угодно ставь».

Тогда Уистлер еще вопрос задает: вы как считаете, справедливо это, чтобы кто-то целый завод по наследству получал?

И этот, который вперед вылез, подумав, говорит:

— Нет, какая ж справедливость, если он на завод заглянуть боится и всех на заводе боится. Нет, милок.

Эта стихийная мудрость до сих пор производит на меня впечатление. Думаю, так бы и Богу надо молиться время от времени, что-нибудь вроде такой вот разумной просьбы к Нему обращать: «Боже Всемогущий, охрани меня во веки веков от того, чтобы мною командовали люди, которые всего боятся».

Кеннет Уистлер пообещал нам, что скоро настанет время, когда рабочие заберут себе заводы и будут на них трудиться во благо человечества. Тогда вся прибыль, которая разным захребетникам достается да продажным политиканам, будет принадлежать самим рабочим, а также старикам,

немощным и сиротам. Все, кто способен трудиться, будут трудиться. Останется только один класс рабочий класс. Черную работу будут поочередно выполнять все без исключения, и, например, врач пусть раз в году с недельку мусорщиком повкалывает. Никаких предметов роскоши производить не станут, пока не удовлетворены основные потребности любого гражданина. Медицина будет бесплатной. Продуктов будет полно, и все доброкачественные, а к тому же дешевые. Особняки, отели, офисы — все это превратят в жилые дома с небольшими квартирами, чтобы у каждого была крыша над головой, и неплохая. А квартиры будут по жребию распределяться. И никаких больше войн, никаких тебе государственных границ, потому что все в мире станут единым классом с одними и теми же интересами — пролетарскими интересами.

И так далее, и тому подобное.

Умел же он всех очаровывать!

Мэри Кэтлин шепчет мне на ухо:

— Ты будешь такой же, как он, правда, Уолтер?

— Постараюсь, — говорю. Хотя стараться и не думал.

Знаете, в этой автобиографии мне всего труднее все время приводить доказательства, что

никогда я не был серьезным человеком. За долгие годы много раз я попадал во всякие переделки, но всегда волей случая. Ни разу я не рисковал жизнью, даже комфортом своим не жертвовал во имя человечества. Стыд и позор!

Те, кто уже раньше Кеннета Уистлера слышали, стали его упрашивать, чтобы рассказал про пикеты перед Чарлзтаунской тюрьмой, где были казнены Сакко и Ванцетти. Странно думать, что теперь приходится объяснять, кто такие Сакко и Ванцетти. Недавно спрашиваю служащего РАМДЖЕКа Исраела Эделя, в прошлом ночного портье отеля «Арапахо»: вы про Сакко и Ванцетти слыхали? — Ну как же, говорит, бандиты эти из чикагских богачей, изобретательные были убийцы. Он их с Леопольдом и Лебом спутал.

Почему у меня это пробуждает грустные чувства? В молодости мне казалось: историю Сакко и Ванцетти будут часто вспоминать со слезами на глазах, никогда о них не забудут, и сделаются они со временем такими же всем известными, как Иисус Христос. Думал: если нынешним людям потребуется по-настоящему глубоко осмыслить свою жизнь, вот им пример Страдания и Искупления — мученическая смерть Сакко и Ванцетти на электрическом стуле.

Вы сами посмотрите, последние дни Сакко и Ванцетти действительно были страданием и искуплением: истинная современная Голгофа, ведь одновременно казнили трех низкородных. Только на этот раз невинным был не один из казненных, а двое. Двое на этот раз безвинно были казнены.

А виновным был знаменитый вор и убийца по имени Селестино Мадейрос, которого судили за собственные его дела. Когда суд шел к концу, он признался, что им совершены и те убийства, за которые были казнены Сакко и Ванцетти.

— Зачем он это сделал?

— Увидел, как жена Сакко с детишками приходила, — сказал он, — и пожалел детишек-то.

Представьте себе, как эти слова произнес бы хороший актер в современной пьесе про страдание и искупление.

Мадейрос умер первым. Лампочки в тюрьме мигнули три раза.

Вторым умер Сакко. Из всех трех только у него была семья. Актер, которому дали бы эту роль, должен был бы создать образ очень умного человека, но боящегося что-то серьезное сказать свидетелям, когда его прикручивали к электрическому стулу, английский был для Сакко

неродным языком, а языки ему давались туго.

Сказал он только вот что:

— Да здравствует анархия! Прощайте, жена, ребенок и все мои друзья. Всего вам хорошего, джентльмены, — сказал он. — Прощай, мама. — По профессии он был сапожник. Лампочки в тюрьме мигнули три раза.

Последним был Ванцетти. Сам уселся на стул вслед за Мадейросом и Сакко, хотя никто ему не говорил, что уже пора на этот стул садиться. И к свидетелям обратился, не дожидаясь, пока ему объяснят, можно это или нельзя. Английский и для него был неродной язык, но выразить по-английски он мог все, что ему требовалось.

Послушайте его последние слова:

— Хочу вам сказать, что я не виноват. Никаких нет за мной преступлений, хотя я иногда грешил. А в преступлении я неповинен — и в этом, и в любом другом. Я невиновный человек. — Когда его арестовали, он был торговцем рыбой.

— И еще я хочу сказать, что прощаю некоторых, не всех, а некоторых, кто это со мной сделал, — добавил он. Лампочки в тюрьме мигнули три раза.

История же была вот какая.

Никого Сакко и Ванцетти не убивали. Они приехали в Америку из Италии, не будучи друг

с другом знакомы, в тысяча девятьсот восьмом году. В том же году, когда приехали и мои родители.

Отцу было девятнадцать. Матери двадцать один.

Сакко было семнадцать. А Ванцетти двадцать. Американским предпринимателям в то время хотелось, чтобы непрерывно росло предложение дешевого труда, и тогда рабочих можно держать в узде и постоянно снижать им зарплату.

Ванцетти потом рассказывал:

— Я первый раз удивился, когда нас в иммиграционную службу привели. Чиновники со всеми прибывшими обращались грубо, просто как со скотом. Доброго слова не услышишь, не подбодрит никто, чтобы не плакали и сходили на американский берег с легкой душой.

Мать с отцом мне то же самое говорили. Такое же их вынудили испытать чувство, словно они идиоты какие-то, которые сами изо всех сил постарались, чтобы их поскорее доставили на бойню.

Родителей моих сразу завербовал агент компании «Кайахога. Сталь и мосты», Кливленд. Мистер Маккоун как-то сказал мне, что агентам давали инструкции вербовать только белокурых

славян, потому что у отца мистера Маккоуна была такая теория: белокурые — народ с технической сметкой и выносливый, а славяне к тому же безропотны, с ними будет просто. Агента послали набрать рабочих на завод и прислугу для поместий маккоуновских. Вот так мои родители оказались в числе прислуги.

А Сакко и Ванцетти меньше повезло. Не нашлось там брокера, занимающегося живыми машинами, чтобы именно такими, как они, механизмами заинтересовался. «Куда мне было податься? Что было делать? — писал Ванцетти. — Вот прибыл я в обетованную землю. Воздушная дорога над головой грохочет, но не у нее же спрашивать. Несутся мимо автомобили, трамваи, и никакого внимания на меня не обращают». Словом, он, как и Сакко, — они все еще не познакомились друг с другом, — чтобы с голоду не помереть, стал на ломаном английском просить работы, любой работы за любые деньги, и стучался во все двери подряд.

А время шло.

Сакко, который в Италии сапожником был, приняли на обувную фабрику в Милфорде, штат Массачусетс, в том самом городе — надо же! — где родилась мать Мэри Кэтлин О'Луни. Там Сакко

женился и обзавелся домиком с садом. Сын у них родился, которого назвали Данте, а потом дочка Инес. Сакко работал шесть дней в неделю, по десять часов. Но выкраивал время, чтобы принимать участие в митингах, на которых выражали солидарность с рабочими, бастующими и требующими повышения зарплаты, лучших условий труда, прочего такого же, — выступал на них, деньги жертвовал. За все это его и арестовали в тысяча девятьсот шестнадцатом.

У Ванцетти профессии не было, поэтому он хватался за все, что предложат, в ресторане работал, в каменоломне, на сталелитейном заводе, на канатной фабрике. Он очень любил читать. Штудировал Маркса, Дарвина, Гюго, Горького, Толстого, и Золя, и Данте. В этом отношении он был совсем как гарвардец. В тысяча девятьсот шестнадцатом он руководил стачкой на фабрике, принадлежавшей компании «Плимутские канаты», Плимут, штат Массачусетс, теперь эта компания вошла в корпорацию РАМДЖЕК. После этой стачки его имя попало в черный список, нигде — ни поблизости, ни подальше ему не давали работы, и стал он торговать рыбой, чтобы как-то прожить.

Вот тогда, в тысяча девятьсот шестнадцатом,

Сакко с Ванцетти и подружились. Каждый из них много думал про ужасные условия на производстве, и каждый своим путем пришел к выводу, что поля сражений первой мировой войны — это просто такие особенно опасные цеха, где горстка подрядчиков следит за тем, как миллионы людей расстаются с жизнью, чтобы доходы, приносимые заводом, еще больше выросли. И обоим им было ясно, что Америка вскоре тоже включится в погоню за этими доходами. Им не хотелось на таких вот европейских заводах работать, и поэтому оба они примкнули к небольшой группе анархистов, итальянцев и американцев, которая перебралась до конца войны в Мексику.

Анархисты — это те, кто всей душой верят, что правительство всегда враг собственному народу.

Я и сейчас уверен: историю Сакко и Ванцетти будут глубоко переживать будущие поколения. Может, просто нужно будет о ней еще несколько раз им напомнить. И тогда все поймут, что бегство в Мексику знаменовало собой только проявление благословенного здравого смысла.

Как бы то ни было, после войны Сакко с Ванцетти вернулись в Массачусетс уже неразлучными друзьями. Их здравый смысл, благословенный или нет, основывался на книжках, которые

студенты в Гарварде читали только по принуждению, не делая из них пагубных заключений, и этот здравый смысл большинство окружающих находило смехотворным. Окружающие, а также те, кто привык направлять судьбу этих окружающих, не встречая противодействия, теперь сочли, что здравый смысл — ужас что такое, особенно если его придерживаются родившиеся не в Америке.

Министерство юстиции составило тайные списки родившихся не в Америке, которые не делали тайны из того, что многих властителей так называемой обетованной земли они находят попирающими справедливость, обманщиками, невежами и скопидомами. Сакко и Ванцетти попали в эти списки. За ними везде ходили подосланные правительством осведомители.

Печатник по имени Андреа Сальседо, друг Ванцетти, тоже попал в эти списки. Полицейские агенты, не предъявив обвинения, схватили его в Нью-Йорке и продержали в заключении восемь недель, никого к нему не допуская. Третьего мая тысяча девятьсот двадцатого Сальседо то ли сам выпал, то ли выпрыгнул, то ли был выброшен из окна кабинета на четырнадцатом этаже, где размещались службы Министерства юстиции.

Сакко и Ванцетти организовали митинг с требованием расследовать обстоятельства ареста и смерти Сальседо. Митинг был назначен на девятое мая в Броктоне, штат Массачусетс, родном городе Мэри Кэтлин О'Луни. Мэри Кэтлин было в ту пору шесть лет. А мне семь.

Сакко и Ванцетти арестовали за угрожавшую общественному спокойствию подрывную деятельность еще до того, как состоялся митинг. Преступление их заключалось в том, что у них нашли листовки с призывами принять в этом митинге участие. За это полагался большой штраф или год заключения.

Но потом их вдруг обвинили еще и в двух нераскрытых убийствах. Примерно за месяц до того были убиты два охранника, когда произошло нападение на инкассаторскую машину в Саут-Брейнтри, штат Массачусетс.

За такое, ясное дело, полагалось куда более суровое наказание, безболезненная смерть на электрическом стуле — одном для двоих.

19

Ванцетти заодно обвинили и в нападении на инкассаторскую машину в Бриджуотере, штат Массачусетс. Судили по этому обвинению и признали виновным. Вот так из торговца рыбой он превратился в опасного уголовника еще до того, как их с Сакко начали судить за убийства.

Был ли Ванцетти замешан в том нападении? Возможно, и да, хотя это не имело особого значения. А кто заявил, что особого значения это не имеет? Судья, который вел дело об убийстве, — он так и сказал: особого значения это не имеет. Судьей был Уэбстер Тейер, питомец колледжа Дартмут, представитель нескольких почтенных семейств из Новой Англии. Он сказал присяжным: «Этот человек, возможно, и не совершал преступления, в котором его обвиняют, но он все равно морально повинен, поскольку он враг существующих у нас институтов».

Даю слово, так именно и было сформулировано американским судьей, который вел процессуальное разбирательство дела. Я цитирую из книги, которая лежит у меня на столе: «Нерассказанная история рабочего движения», авторы Ричард О.

Бойер и Херберт М. Морейс, издательство «Юнайтед фронт», Сан-Франциско, 1955.

Этот судья Тейер и рассматривал дело по обвинению Сакко и опасного уголовника Ванцетти в убийстве. Их признали виновными, вынеся вердикт примерно через год после ареста: в июле тысяча девятьсот двадцать первого, когда мне было восемь лет.

Казнили их, когда мне было пятнадцать. Может, какие-нибудь разговоры про это в Кливленде и велись, но я не помню.

На днях я разговорился в лифте небоскреба РАМДЖЕК с посыльным. Он приблизительно моего возраста. Спрашиваю: вам запомнилось что-нибудь про казнь Сакко и Ванцетти? Он отвечает: да, отец говорил, что до чертиков надоели эти пересуды про Сакко и Ванцетти, казнили их, и ладно, хоть болтовня эта прекратится.

Я спрашиваю: а ваш отец кто был по профессии?

— Президент правления банка в Монпелье, штат Вермонт, говорит. Посыльный этот совсем старичок, на нем шинель из тех, которые после воины раздавали со складов армии Соединенных Штатов.

Аль Капоне, знаменитый чикагский гангстер,

тоже считал, что Сакко и Ванцетти нужно казнить. По его мнению, они подрывали исконно американские устои. Он чувствовал себя оскорбленным тем, какую неблагодарность к Америке проявили эти итальянцы, такие же иммигранты, как и он.

В «Нерассказанной истории рабочего движения» приведены следующие слова Аль Капоне: «Большевизм стоит у наших дверей… Нужно держать рабочих подальше от красных книжек и красных приманок».

И тут я вспоминаю историю, сочиненную доктором Робертом Фендером, с которым подружился в тюрьме. Это история про планету, где худшим преступлением считалась неблагодарность. Все время кого-то казнили за его неблагодарность. Казнили так, как было заведено казнить в Чехословакии. Из окон вышвыривали. Из тех, что повыше этажом.

Героя истории, сочиненной Фендером, в конце концов вышвырнули из окна за неблагодарность. Он полетел вниз с тридцатого этажа, и последнее его слово было: «Спа-а-а-а-и-и-о».

Но прежде чем Сакко и Ванцетти казнили, как это заведено в Массачусетсе, по всему миру покатились мощные волны протеста. Торговец рыбой

и обувщик стали вселенскими знаменитостями.

«Никогда в жизни, — сказал по этому поводу Ванцетти, — мы и надеяться бы не могли, что столько сделаем ради торжества справедливости, человечности и понимания между людьми, если бы не помогло несчастное стечение обстоятельств».

Если бы вправду разыгрывался современный миракль о страданиях и искуплении, актерам, играющим представителей власти, всех этих Понтиев Пилатов, все равно пришлось бы высокомерно третировать мнение толпы. Только на этот раз они бы прямо высказались за необходимость распять обвиненных.

И уже не стали бы умывать руки.

Так они, представьте себе, гордились тем, что вознамерились совершить, что попросили комиссию из трех самых мудрых, уважаемых, дальновидных и беспристрастных граждан, каких сумели отыскать в пределах штата, высказаться, справедливо ли задуманное к исполнению.

Вот только этот эпизод решил поведать Кеннет Уистлер на митинге в тот бесконечно далекий день, когда мы с Мэри Кэтлин, держась за руки, слушали его выступление.

С каким презрением охарактеризовал он хва-

леные достоинства всех трех мудрецов!

Один из этих трех был Роберт Грант, ушедший в отставку судья по делам о наследстве — в законах, стало быть, разбирается, знает, как их нужно применять. Возглавил комиссию президент Гарварда, он все еще был президентом, когда я туда поступил. Подумать только! Лоуренс Лоуэлл его фамилия. И третий — о нем Уистлер сказал, что он «в электричестве здорово разбирался, зато уж ни в чем больше», — был Сэмюел У. Страттон, ректор Массачусетского технологического института.

Пока они судили да рядили, на них сыпались тысячи телеграмм, одни с одобрением казни, но большинство с осуждением. Среди прочих телеграммы прислали Ромен Роллан, Джордж Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Джон Голсуорси, Синклер Льюис и Герберт Уэллс.

В конце концов триумвират объявил: нет сомнений, что в случае, если Сакко и Ванцетти посадят на электрический стул, справедливость восторжествует.

Так-то вот мудры даже мудрейшие из людей.

И я все думаю: а существует ли она, мудрость, может ли существовать? Или в нашей отдельно взятой вселенной она такая же химера, как вечный двигатель?

Кто считается самым мудрым в Библии — даже мудрее, чем президент Гарварда? Ну конечно, царь Соломон. Пришли к нему две женщины, поспорившие, кто из них настоящая мать ребенку, и просят, чтобы царь их рассудил, ведь его мудрость овеяна легендами. Так Соломон им посоветовал разрубить этого младенца пополам.

А мудрейшие граждане Массачусетса вынесли решение, что Сакко и Ванцетти должны умереть.

Когда объявляли это решение, вспомнил мой кумир Кеннет Уистлер, он командовал пикетами перед зданием Сената Массачусетса в Бостоне. Шел дождь.

— Природа их оплакивала, — сказал он, глядя прямо на нас с Мэри Кэтлин, стоящих в первом ряду. И захохотал.

Мы с Мэри Кэтлин не рассмеялись ему вслед, и никто в толпе не рассмеялся. А он-то с сарказмом хохотнул: вот насколько природе все равно, что люди думают и чувствуют, наблюдая происходящее.

Свои пикеты перед Сенатом Уистлер не снимал еще десять суток, до самого дня казни. А затем петляющими улицами и дальше через мост повел пикетчиков в Чарлзтаун, где находилась тюрьма. Среди пикетчиков были Эдна Сент-Винсент Мил-

лэй, Джон Дос Пассос, Хейвуд Браун.[49]

Подошедших пикетчиков встретили полиция и национальные гвардейцы. На окружавшей тюрьму ограде засели пулеметчики, направив стволы на собравшийся народ, который хотел, чтобы Понтий Пилат проявил милосердие.

А Кеннет Уистлер тащил тяжелый сверток. Это было огромных размеров знамя, длинное и узкое, — его скатали рулоном. Сшили знамя по его просьбе нынче утром.

Лампочки в тюрьме стали мигать.

Когда они мигнули три раза, Кеннет Уистлер с товарищем побежали в похоронную контору, куда должны были доставить тела Сакко и Ванцетти. Штат в их телах больше не нуждался. Тела снова стали собственностью родственников и сочувствующих.

Уистлер рассказывал: в переднем зале похоронной конторы были поставлены два помоста для гробов. И тогда они с товарищем развернули свое знамя, прикрепив его к стене за помостами.

Поперек знамени были написаны слова, которые человек, приговоривший Сакко и Ванцетти к смерти, Уэбстер Тейер, вскоре после вынесенного

---

[49] Примечания: 49
Видные писатели и журналисты того времени.

им приговора бросил одному знакомому: «Читал, как я на днях этих гадов анархистов прищучил?»

20

Сакко и Ванцетти до конца сохранили свое достоинство, не сдались. Уолтер Ф. Старбек этого не сумел.

Когда меня забрали в выставочном зале компании «Американские арфы», я вроде бы держался неплохо. Даже улыбался, пока Дельмар Пил размахивал перед носом двух полицейских циркуляром насчет украденных кларнетов и растолковывал, почему они должны меня арестовать. У меня же было стопроцентное алиби: два последних года я просидел в тюрьме.

Я им об этом сказал, но они что-то не успокоились, как я надеялся. Решили, видно, что я еще похуже типчик, чем им сначала показалось.

Участок, куда мы прибыли, так и бушевал. Набежали репортеры и эти, с телекамерами, — позарез им нужны были юнцы, которые бесчинствовали в сквере перед Объединенными Нациями и бросили министра финансов государства Шри Ланка в Ист-Ривер. Министра пока не выловили, так что хулиганам, скорей всего, предъявят обвинение в убийстве.

Вообще-то полицейский катер вытащит этого

шриланкийца из реки часа через два. Он, оказывается, уцепился за буй у Гровернор-Айленд. Газеты наутро писали, что он от страха говорить не мог. Еще бы!

Допрашивать меня не сразу начали, некому было. Просто отвели туда, где у них камеры. Даже камеру для меня не нашли, столько в участок народу всякого понабилось. Поставили мне стул в коридорчике между камерами и бросили одного. Шпана из-за решеток руганью меня осыпает, вообразили, понимаете ли, что мне не терпится любовь с ними прокрутить, а там хоть трава не расти.

Наконец ведут в обитую чем-то мягким комнату на нижнем этаже. Здесь психов содержат, пока за ними не явятся из лечебницы. Туалета нет, а то какому-нибудь маньяку еще вздумается башку о стульчак размозжить. И койки нет, и сесть не на что. Прямо на мягком полу и валяйся. Поверить трудно, но ничего в этой комнате не было, только большой кубок, который вручают чемпионам по боулингу, кто-то, видно, его тут позабыл. Я этот кубок изучил со всех сторон.

Опять, значит, тихое помещеньице в цокольном этаже.

И опять никому до меня дела нет, как уже бы-

вало, когда я состоял специальным помощником президента по делам молодежи.

Продержали меня тут с полудня до восьми вечера, еду не несут, не попьешь даже, и туалета нет, и никаких звуков сюда не доносится, а это ведь должен был быть мой первый день на воле. Тут-то и началось для меня испытание характера, которое я не выдержал.

Подумал я про Мэри Кэтлин, сколько ей пришлось всего пережить. Я еще не знал, что она и есть миссис Джек Грэхэм, но кое-что очень занятное она мне про себя рассказала: когда после Гарварда я перестал отвечать на ее письма и вообще редко ее вспоминал, она на попутках добралась до Кентукки, где Кеннет Уистлер попрежнему работал на шахте и был профсоюзным лидером. Отыскала под вечер барак, где он жил один-одинешенек. Двери не запирались, да и что оттуда унесешь? Уистлер еще не вернулся с работы. Мэри Кэтлин прихватила с собой кое-что пожевать. Возвращается Уистлер домой, а в печке огонь горит. И уже готов горячий ужин.

Вот так Мэри Кэтлин в шахтерский поселок попала. А когда к ночи Кеннет Уистлер, набравшись, к ней полез, она выскочила на залитую луной улицу сплошь из бараков и прямо в объ-

ятия молодого горного инженера угодила. Ну понятно, Джек Грэхем это и был.

Тут в памяти у меня всплыл рассказ моего друга доктора Роберта Фендера, печатавшегося под псевдонимом Килгор Траут. Назывался этот рассказ «Заснул у пульта». Там описывается гигантских размеров приемная перед Вратами Рая — вся компьютерами заставлена, а за ними сидят те, кто на Земле были дипломированными бухгалтерами, советниками по биржевым операциям и коммерческими директорами.

И не думай в Эдем попасть, пока не заполнишь подробную форму с вопросами на тот предмет, умело ли ты воспользовался возможностями, которые там, на Земле, при помощи ангелов Своих предоставил тебе Господь Бог по части бизнеса.

Весь день только и слышишь, как эксперты усталыми голосами говорят сидящим перед ними людям, которые упустили и эту вот возможность, и еще одну: «Видишь, — говорят, — опять ты заснул у пульта».

Это сколько же времени я тут сижу совсем один? Попробую подсчитать: да всего пять минут.

«Заснул у пульта» ужасно кощунственный рассказ. Герой там новопреставленный Альберт Эйнштейн. Его до того мало интересовали воз-

можности по части бизнеса, что он даже и не разобрал, о чем его спрашивают. А тот, кто за компьютером, несет какую-то ерунду про миллиарды, которые можно было выручить, если дом в Берне второй раз заложить в тысяча девятьсот пятом, а деньги вкладывать в тогдашние урановые рудники, не спеша оповещать мир, что $E = Mc^2$.

— А ты вместо этого заснул у пульта, понятно? — говорит тот, за компьютером.

— Да, — вежливо отвечает Эйнштейн, — со всеми бывает, знаете ли.

— Вот то-то, — говорит ему эксперт, — жизнь ведь с каждым по справедливости обходится. Столько замечательных возможностей предоставляется, а уж твое дело суметь их не упустить.

— Понимаю, — соглашается Эйнштейн, — теперь понимаю.

— Значит, согласен со мной?

— В чем согласен?

— Что жизнь с каждым по справедливости обходится.

— Жизнь обходится по справедливости, — подтверждает Эйнштейн.

— Если еще сомневаешься, — втолковывает ему эксперт, — я и другие могу привести примеры.

Оставим эту твою атомную энергию, а вот хотя бы: у тебя деньги просто лежали без дела в банке, когда ты работал в принстонском Институте высших исследований, а надо было их в тысяча девятьсот пятидесятом вложить в ЭВМ или, допустим, в ксероксы, в «Полароиды», и хотя жить тебе оставалось всего пять лет… — Тут эксперт пальчик поднял, дескать, Эйнштейн сам должен сообразить, как бы вышло здорово.

— Так я бы в этом случае разбогател? — спрашивает Эйнштейн.

— Скажем так: обеспечил бы материальную сторону жизни, осторожно говорит эксперт. — Но ты ведь опять… — Брови у него вверх лезут.

— Заснул у пульта? — Эйнштейну было приятно, что угадал с ответом.

Эксперт поднимается из-за компьютера, руку протягивает, а Эйнштейн вяло так ее пожимает.

— Сам видишь, доктор Эйнштейн, — говорит эксперт, — нельзя же все на волю Божию сваливать, правильно? — И вручает Эйнштейну пропуск в Эдем. — Рады тебя видеть.

Ну, Эйнштейн и отправляется в кущи, скрипочку свою любимую несет. Эксперта он уж из головы выкинул. Ему бессчетное число раз доводилось пересекать границы. И каждый раз нужно

было ответить на дурацкие вопросы, дать пустые заверения, подписать бессмысленные бумажки.

Но только он в Эдеме очутился, видит, все тут мучаются из-за того, что им эксперт сообщил. Пара одна супружеская особенно мучается: они птицеферму завели в Нью-Гэмпшире, обанкротились и руки на себя наложили, а тут выясняется, на их земле были самые большие в мире залежи никеля.

Четырнадцатилетний паренек из Гарлема, которого в уличной драке убили, узнал от эксперта, что на дне водостока лежало кольцо с бриллиантом в два карата, а он проходил мимо каждый день, ничего не зная. Кольцо было как раз то что надо, не краденое, никто о нем не заявлял. Продал бы это кольцо хоть за десятую долю его стоимости, допустим, за четыреста долларов, а потом — так ему эксперт сказал — надо было пустить эти деньги на покупку и перепродажу входивших тогда в моду диковинок, в особенности какао, вот и переехал бы с матерью да сестренками на Парк-авеню, в собственный дом, и в Эндовер бы поступил, а затем в Гарвард.

Опять Гарвард!

Жаловались Эйнштейну в основном американцы, поэтому он и решил обосноваться в

американском секторе Эдема. Это и понятно, он ведь еврей, значит, к европейцам сложные чувства испытывает. Хотя к экспертам не одних лишь американцев направляли. Все через этот опрос должны были пройти — и пакистанцы, и пигмеи, и даже коммунисты.

Уж такой у Эйнштейна был склад ума, что он всю эту экспертизу забраковал, и прежде всего по соображениям математики. Прикинул он и получилось вот что: если бы каждый живущий на Земле в полной мере использовал любую предоставляющуюся ему возможность, становясь миллионером, а там и миллиардером, то бумажных денег пришлось бы выпустить столько, что за три месяца их стоимость перекрыла бы стоимость всех природных богатств во вселенной. И еще: в таком случае не осталось бы никого, кто какую-нибудь полезную работу делал бы.

Тогда Эйнштейн подает Богу свое обращение. Он полагал, что Бог просто не в курсе, какой чушью Его эксперты занимаются. Вовсе не Бог, думал он, а Его эксперты жестоко обманывают новоприбывших относительно упущенных ими на Земле возможностей. Эйнштейн пытался выяснить, какие у них побудительные мотивы. Уж не садисты ли они?

Кончается рассказ неожиданно. Эйнштейну так и не довелось встретиться с Богом. Но Бог послал к нему архангела, который так и кипел от злобы. Этот архангел заявил Эйнштейну: если и дальше будешь подрывать уважение новоприбывших к экспертам, отберем у тебя скрипку и не вернем, сколько ни проси. Поэтому Эйнштейн впоследствии ни с кем из экспертов и словом не обмолвился. Скрипкой своей он дорожил больше всего на свете.

Рассказ этот явно целит в Господа Бога, допуская, что Он способен прибегать к дешевым уловкам вроде описаний экспертизы, чтобы Самому не нести ответ за такую скверную экономическую жизнь на Земле.

Я постарался ни о чем не думать.

Но тут в голове опять зазвенела песенка про Салли, которая просеивает золу.

А меж тем Мэри Кэтлин О'Луни, пустив в ход свое всемогущество, поскольку она была миссис Джек Грэхем, уже позвонила Арпаду Лину, главному человеку в корпорации РАМДЖЕК. И приказала ему выяснить, с чего это полиция ко мне привязалась, а также нанять самого умного адвоката в Нью-Йорке, чтобы вытащил меня любой ценой.

Когда освобожусь, Арпад Лин сделает меня вице-президентом РАМДЖЕКа. Раз уж об этом зашел разговор: у нее тут целый список хороших людей, которых тоже нужно сделать вице-президентами. Про всех них, конечно, я ей рассказал, про первых встречных, которые со мной хорошо обошлись.

Еще она велела Лину позвонить в компанию «Американские арфы», чтобы Дорис Кромм не выгоняли на пенсию, хотя Дорис совсем старая.

Да, а я у себя в обитой мягким комнате припомнил один анекдот, которой на первом курсе вычитал в «Гарвардском шутнике». Тогда он меня поразил тем, что был такой сальный. Но, став специальным советником президента по делам молодежи и снова читая на службе студенческие юмористические журнальчики, я увидел, что анекдот этот, причем слово в слово, перепечатывают, и даже несколько раз в год. Вот он:

«Ты что это так меня целуешь, как будто задушить хочешь?» спрашивает жена.

А муж говорит: «Хочу дознаться, кто это сожрал все макароны».

Вспомнилось, и посмеялся я в своем одиночестве от души. А потом словно пружинка какая завелась. Так в голове и вертится: все макароны,

все макароны, все макароны…

И настроение совсем испортилось. Поплакал я, головой о стенку бился. Кучу положил в уголке. А поверх кучи водрузил кубок за победу по боулингу.

Потом стишки начал во весь голос декламировать, которые мы в школе учили:

Я умру, и пусть умру,
Пусть умру.
Но ни словом не совру,
Не совру.

Может, я даже мастурбацией занялся. Почему бы и нет? У нас, стариков, половая жизнь куда богаче, чем молодым кажется.

Но в конце концов рухнул.

В семь вечера явился наверх, где начальник участка сидит, самый умный адвокат Нью-Йорка. Вычислил, где я нахожусь. Знаменитый был человек, неукротимостью и суровостью своей прославился, с какими защищал или обвинял кого придется. В полиции у всех поджилки затряслись, когда они увидели эту каждому известную, на каждого наводившую страх личность. Спрашивает он, по какому обвинению меня забрали.

А никто не знает. Нигде же еще не записано,

что меня из тюрьмы освободили или перевели в другую. Адвокату моему известно, что домой я не возвращался, он уж там побывал. Ему Лин сказал, что я в отеле «Арапахо» остановился, а Лину сказала Мэри Кэтлин.

Так вот эти, в полиции, и не смогли толком объяснить, за что меня заграбастали.

Кинулись в камерах меня отыскивать. А я-то не в камере, ясное дело. Те, которые меня сюда доставили и в этой комнате заперли, сменились уже. Звонят им, но никого дома нет.

Тут детектив, который все пытался задобрить моего защитника, вспомнил про помещение внизу и решил на всякий случай пойти взглянуть.

Поворачивает он ключ в замке, а я лежу на брюхе, как собака в конуре, и двери разглядываю. Носки на ту кучу в углу указывают, кубком увенчанную, туфли я зачем-то снял.

Открыл этот детектив дверь и с ужасом на меня смотрит, соображая, сколько же я тут проторчал. Получается, город Нью-Йорк ненароком совершил серьезное преступление против моей личности.

— Мистер Старбек? — с тревогой осведомился детектив.

А я молчу. Сижу себе, как сидел. Плевать мне

стало, что там со мной будет. Я, словно рыба на крючке, сопротивлялся, сколько было сил, а теперь все. Тянет меня кто-то из воды, ну и пусть тянет.

Детектив сообщает: защитник ваш явился, — а мне и в голову не приходит выразить протест, что вот, мол, арестовали, никого не оповестив, адвоката сразу не предоставили, а вдруг у меня ни одного нет, и прочее. Явился, так явился, мне все равно.

Тут и защитник в дверях показывается. Да если бы у него бивень вместо носа торчал, я бы и то бровью не повел. Он, кстати, в самом деле тот еще был тип: в двадцать шесть лет уже состоял главным советником постоянного комитета по расследованию враждебной деятельности, где председательствовал сенатор Джозеф Р. Маккарти, после второй мировой войны ставший знаменитым гонителем нелояльных американцев.

Адвокату этому было теперь под пятьдесят, но на вид все такой же нервный, взглядом так и испепеляет, а чтобы улыбнуться, ни-ни. Во времена Маккарти, наступившие сразу после того, как оскандалились мы с Леландом Клюзом, я этого человека ненавидел и боялся. И вот он — мой

союзник.

— Мистер Старбек, — говорит, — я пришел защищать ваши интересы, если не возражаете. Меня от вашего имени просила об этом корпорация РАМДЖЕК. Фамилия моя Рой М. Кон.

Чудеса он творить умеет, что правда, то правда.

Я и «habeas corpus»[50] выговорить не успел, как уж сижу в лимузине, поджидавшем у входа в участок.

Кон посадил меня в машину, а сам не сел. Пожелал всего доброго и ушел, руки не подав. Вообще ни разу до меня не дотронулся, никак не выказал, что ему известно, какой я очень даже заметной фигурой был когда-то в американской истории.

Стало быть, опять в лимузине поеду. Почему нет? В мечтах ведь все возможно. Разве Рой М. Кон не вытащил меня в два счета из тюрьмы, я даже туфли обратно надеть позабыл. И дальше пусть все будет, как в мечтах, и чтобы в машине, оставив для меня между собой местечко, сидели Леланд Клюз с Исраелом Эделем, ночным портье из отеля «Арапахо». Они там и сидели.

Оба кивнули мне озабоченно. Чувствуют, как

---

[50] Примечания: 50
Начальная фраза закона о неприкосновенности личности.

и я, что в жизни теперь все шиворот-навыворот идет.

А дальше было сами догадываетесь что: лимузин кружит да кружит по Манхеттену, словно автобус, который школьников развозит, — надо было собрать всех, кого Мэри Кэтлин О'Луни велела Арпаду Лину сделать вице-президентами РАМДЖЕКа. Это персональный лимузин Лина и был. Недавно услыхал, такие лимузины, оказывается, «аккордеонами» прозвали. Такой внутри просторный, что компания «Американские арфы» могла бы сзади свой выставочный зал оборудовать.

Клюзу, Эделю и еще тем, кого мы сейчас подберем, лично Арпад Лин позвонил, когда секретарши выяснили, что это за люди и где их искать. Клюза нашли в телефонном справочнике. Эделя вытащили из-за конторки в «Арапахо». А еще одна секретарша поехала в кофейню при «Ройялтоне», чтобы установить, как фамилия этого, у которого рука, как подгоревшие чипсы.

Позвонили и в Джорджию, в тамошний филиал РАМДЖЕКа, осведомились, работает ли у них водитель по имени Кливленд Лоуз, а в Исправительной колонии обычного режима для совершеннолетних на авиабазе Финлеттер

уточнили, состоит ли на службе конвоир Клайд Картер и отбывает ли срок арестант доктор Роберт Фендер.

Клюз спрашивает: ты можешь мне сказать, что случилось?

— Нет, — говорю. — Просто как сон, который рецидивисту в тюрьме приснился. Бессмысленный сон, сам понимаешь.

Клюз говорит:

— А башмаки твои куда девались?

— Забыл в комнате этой, мягким обитой, — отвечаю.

— Тебя, что ли, в камере для психов держали?

— Там ничего, — говорю. — По крайней мере не поранишься, даже если захочешь.

Сидевший на переднем сиденье рядом с шофером обернулся к нам. Его я тоже знал. Один из адвокатов, вчера утром сопровождавших Верджила Грейтхауса в тюрьму. И этот на жалованье у Арпада Лина. Сокрушается, что я туфли свои в участке забыл. Съезжу, говорит, в участок, заберу.

— Ни в коем случае, — запротестовал я. — Увидели уже, что я там кучу навалил, а сверху поставил кубок за боулинг, и снова меня арестуют.

Эдель с Клюзом, смотрю, от меня отодвину-

лись.

— Вот уж точно: все как во сне, — сказал Клюз.

— Ты мой гость, — говорю я ему. — Люблю гостей — чем больше их, тем веселей.

— Джентльмены, — успокаивает нас адвокат, — не волнуйтесь, пожалуйста. Не из-за чего волноваться. Перед вами скоро откроются потрясающие перспективы, такое раз в жизни бывает.

— И где это она меня видела, хотел бы я знать? — гадает Эдель. — И что, черт возьми, такого замечательного я сделал, о чем ей известно?

— Напрасно мучаетесь, — говорит адвокат. — Свои решения она почти никогда не объясняет, а кроме того, актриса хоть куда. В кого угодно может перевоплотиться.

— А может, она перевоплотилась в того черного, который вчера к вам приходил, здоровый такой, через него девок достают? предположил Эдель. — Мы с ним мило побеседовали. Восемь футов роста, представляете?

— Мы с ним так и не встретились, — отвечаю.

— Повезло, что не встретились.

— Так вы, значит, знакомы? — спрашивает у нас Клюз.

— С самого детства! — заверил я его. Раз уж сон наяву снится, пусть все будет исключительно как

во сне, еще не хватало серьезно к этому относиться. Знаю ведь, в конце концов окажусь у себя на койке, или в отеле «Арапахо», или в тюрьме. И мне все равно, где.

А вдруг проснусь уже в спальне моего крохотного кирпичного бунгало в Чеви-Чейз, штат Мэриленд, и окажется, что жена-то моя не умерла?

— Ну то, что этот верзила, который при девках, не она была, это точно, — говорит адвокат. — Можете не сомневаться: она по-всякому вырядиться умеет, но роста она небольшого.

— Кто небольшого роста? — спрашиваю.

— Миссис Джек Грэхем.

— Извините, что я в ваш разговор влезаю, — сказал я.

— А вы, видно, тоже какую-то услугу ей оказали, — говорит мне адвокат, — или что-то такое сделали, что ей очень понравилось.

— Ну да, — отвечаю, — я, когда скаутом был, в походах очень старался.

Остановились мы у облупившегося жилого дома где-то на Вест-Сайде, уж почти на окраине. Из подъезда выходит Фрэнк Убриако, хозяин кофейни. Одет-то — только во сне этакое увидишь: бархатный костюм бледно-голубого цвета, зеле-

ные ковбойские сапоги с белыми отворотами и каблуками высоченными. Рука, которая вроде подгоревших чипсов, элегантно скрыта белой перчаткой. Клюз для него откидное сиденье приготовил.

— Привет, — говорю я ему.

— А кто вы такой?

— Завтракал у вас нынче утром, — напоминаю, — вы мне кофе принесли.

— Значит, и с этим ты знаком? — осведомляется Клюз.

— Так я же в родном своем городе. — И совсем уже уверившись, что это только сон, обращаюсь к адвокату: — Знаете что, давайте за матерью моей теперь заедем.

Он с сомнением на меня взглянул.

— За вашей матерью?

— Ага. А что, нельзя? Других-то уже всех собрали.

Адвокат старается повежливее со мной обходиться:

— Вообще говоря, мистер Лин инструкций мне не давал на случай, если вы захотите кого-нибудь еще подвезти. Стало быть, за матушкой своей желаете заехать?

— Очень бы хотелось.

— А она где?

— На кладбище в Кливленде, — говорю, — но ничего, ведь вам-то это все равно, правда?

После этого он остерегался со мной в разговоры вступать.

Покатили дальше, а Убриако расспрашивает нас, на заднем сиденье, кто мы такие.

Клюз с Эделем представились. А я молчу, как молчал.

— Все эти люди, как и вы, сумели обратить на себя внимание миссис Грэхем, — объяснил адвокат.

— А вы с нею, что, знакомы? — спрашивает Убриако у нас, сидящих сзади.

Мы только плечами пожимаем.

— Ах ты, Господи, — беспокоится Убирако, — работу хоть действительно хорошую предложите? А то мне и нынешняя моя нравится.

— Сами увидите, — успокаивает его адвокат.

— Из-за вас, паразитов, у меня встреча одна сорвалась.

— Сожалею, только мистеру Лину тоже пришлось из-за вас свой распорядок на сегодня изменить. У него дочка первый раз на прием в «Уолдорф» выезжает, а он туда поехать не сможет. Вместо этого с вами встретится, джентльмены.

— Охренеть можно, — сказал Убриако. Остальные как в рот воды набрали. Проезжаем Центральный парк, по Нью-Йорку уже катим, и тут Убриако добавляет: — Прием хренов.

Клюз мне говорит:

— Только ты один всех тут знаешь. Скажи, ты ведь в курсе, что к чему?

— А ты как думал? — отвечаю. — Ведь в моем сне все это происходит.

Тут без лишних разговоров высаживают нас у особняка, который Арпад Лин занимает. Адвокат говорит: в передней обувь, пожалуйста, снимите. Так в этом доме принято. Хотя я-то и так в одних носках.

Убриако спрашивает: он что, японец, что ли, этот ваш Лин, ведь это у японцев надо обувь снимать, когда в дом входишь.

Адвокат ему объясняет: нет, Лин, можете не сомневаться, белый, однако вырос он на Фиджи, где у его родителей универмаг был. Потом я узнал, что отец Лина был венгерский еврей, а мать гречанка с Кипра. Познакомились его родители, когда оба на шведском туристском судне работали, было это в конце двадцатых годов. На острове Фиджи сошли с судна и открыли свой универмаг.

На вид Лин казался мне индейцем со Среднего Запада, только сильно подгримированным, чтобы красивее выглядеть. Ему бы в кино сниматься. Вышел он к нам в холл — халат на нем шелковый в полосочку, черные носки на резинках. Все еще рассчитывает успеть на тот прием, куда его дочка отправилась.

Еще и познакомиться не успели, как он выкладывает адвокату, ну просто как палкой по голове огрел:

— Знаете, за что этого болвана взяли? За государственную измену! А мы его вытаскивай да на работу к нам оформляй. Измена! Слыхано ли, чтобы кого освободили, кто за измену посажен? Попробуй-ка хоть самую паршивую работенку ему предоставить, патриоты от возмущения глотку сорвут.

Молчит адвокат, сказать нечего.

— Провалились бы они все к чертовой матери, — возмущается Лин. — Слушайте, свяжитесь опять с Роем Коном. А черт, мне бы в Нэшвилл вернуться, самое милое дело.

Это Лин вспомнил, что в Нэшвилле, штат Теннесси, у него было престижное издательство, ноты и тексты песен в стиле «кантри» печатало, пока эту маленькую его империю не проглотил

РАМДЖЕК. Из этой фирмы его прежней, кстати, возник в корпорации весь отдел «Музыка для дома».

Оглядывает нас Арпад Лин одного за другим и головой качает. Та еще компания подобралась.

— Вот что, джентльмены, — говорит он. — На вас обратила внимание миссис Джек Грэхем. Когда, каким образом — об этом мне она ничего не сказала. Только сказала, что люди вы честные и хорошие.

— Я не в счет, — уточняет Убриако.

— Вас-то никто не обязывает с ее мнением соглашаться, остановил его Лин. — Но для меня оно — закон. Ведено предоставить каждому из вас хорошую должность. Охотно это сделаю, и вот почему: еще не было случая, чтобы ее распоряжения не соответствовали интересам компании. Всегда повторял, что не желаю ни на кого работать, но стал вот работать на миссис Джек Грэхем и считаю, мне необыкновенно повезло. — Так серьезно это сказал.

Ничего, говорит, не имею против того, чтобы назначить вас вице-президентами. В корпорации семьсот вице-президентов, ведающих разными отделами, то есть их возглавляющих, — и это считая лишь тех, которые в совет входят. А если

подотделы принять в расчет, совсем другая получится цифра.

— Вы-то сами знаете или нет, как она выглядит, эта миссис Джек Грэхем? — пристает к нему Убриако.

— Мы давно не встречались, — сказал Лин. То есть вежливо ушел от неприятного ему разговора. Никогда он с ней не встречался, и никаких тут особенных тайн нет. Впоследствии сам признал, что понятия не имеет, как миссис Грэхем на него внимание обратила, я своими ушами это слышал. Возможно, говорил он, она прочла статью о нем в журнале, издаваемом фирмой «Дайнерз клаб», — там такая есть рубрика «Идущие наверх», и про него материал дали.

Но уж что точно, то точно; он перед ней прямо на брюхе ползал. Свое представление о миссис Грэхем лелеял и его же боялся, как Эмиль Ларкин — свои представления о возлюбленном им Иисусе Христе. Хотя, конечно, ему с этим культом больше повезло, поскольку невидимое божество иной раз ему даже звонило, посылало письменные указания да распоряжения, что надо сделать.

Однажды он так вот выразился:

— Работать у миссис Грэхем для меня все равно что религиозное чувство испытывать. У меня

ведь раньше никакой моральной опоры не было, хоть выколачивал я прилично. Не было у меня цели в жизни, пока не стал я президентом корпорации РАМДЖЕК, чтобы служить ей верой и правдой.

Иной раз невольно подумаешь: счастье — оно всегда что-то религиозное в себе заключает.

Лин сказал, что будет сейчас по одному вызывать нас в библиотеку.

— Миссис Грэхем ничего мне не сообщила про то, кем вы были раньше, какие у вас особые интересы, так что вы уж сами мне о себе расскажите. — Велел Убриако первому в библиотеку пройти, а остальные пусть подождут в гостиной. — Выпить не хотите ли чего-нибудь, сейчас прислуге скажу.

Клюз ничего не хотел. Эдель попросил, чтобы принесли пива. Ну, а я, раз уж мне такой замечательный сон снится, потребовал *pousse-café*, коктейль цветов радуги, которого сроду не видел, но читал про него, готовясь к экзамену на степень доктора миксерологии. На дно наливают густой ликер, сверху еще один, послабее и другого цвета, — ложечкой его надо зачерпнуть, да поосторожнее, — а потом еще и третий, и так далее, причем с каждым слоем все светлее и светлее — главное,

чтобы ликеры не смешивались.

На Лина это произвело впечатление. Даже название коктейля вслух повторил — не ослышался ли?

— Конечно, если не трудно, — говорю. А что тут такого трудного? Все равно что модель парусника в стакане построить да полностью этот парусник оснастить.

— Никаких проблем! — заверяет меня Лин. Впоследствии я узнал, что у него присказка такая излюбленная. Вызывает прислугу и велит *pousse-café* мне принести, да побыстрее.

А сам с Убриако в библиотеку удаляется, оставив нас в гостиной — там, кстати, был маленький бассейн. В жизни не видел, чтобы в гостиной бассейны были. Слыхал, конечно, про такое, но одно дело слышать и совсем другое — когда прямо у тебя перед глазами столько воды плещется, а ты в гостиной сидишь.

Подошел я к бассейну, наклонился, воду рукой пробую — не холодная ли? — а оказалось, прямо супчик подогретый. Вытаскиваю руку и сам себе не верю: нет, подумать только, в самом деле мокрая. Да, в самом деле мокрая у меня была рука и не сразу высохла, пришлось вытирать.

Все, видно, не во сне, а наяву происходит. Вон и

мой *pousse-café* несут.

Фортели всякие выкидывать тут не годится. Надо со всей серьезностью к происходящему отнестись.

— Спасибо, — говорю.

— К вашим услугам, сэр.

Клюз с Эделем устроились на диване длиной в полквартала. Я к ним присоединился, пусть, думаю, оценят, какой я сделался послушный.

А они все гадают, когда это миссис Грэхем обратила внимание, какие они добродетельные да замечательные.

Клюз сокрушается, что не так уж много было у него возможностей проявить свои добродетели, пока он продавал календари и спички, звоня в квартиры.

— Еще хорошо, если выкрою время послушать, как швейцар хвастается своими военными подвигами, — говорит.

Вспомнил швейцара в небоскребе Флэтирон, тот хвалился, что первым из американцев перешел по мосту через Рейн в Ремаген, когда была вторая мировая война. Захват этого моста оказался исключительно важен, по нему армии союзников так и хлынули, не сбавляя скорости, этакие храбрые там подобрались ребята. Иногда

мне кажется, что этот швейцар на самом-то деле был миссис Грэхем, переодетая в солдатскую форму.

Израел Эдель так и сказал: да, точно, это миссис Грэхем была, переодетая в солдатскую форму.

— У меня, — добавил, — иногда такое бывает чувство, будто половина наших клиентов в «Арапахо» — переодетые женщины.

Про то, что миссис Грэхем, очень может быть, нередко мужчиной переодевается, вскоре и Арпад Лин заговорил, причем так неожиданно!

А Клюз все про вторую мировую войну, никак не остановится. Сильно она его волнует. Говорит мне: вот мы с тобой, когда шла война, просто чиновниками были, значит, голову себе морочили, воображая, будто имеем какое-то отношение к удачам и неудачам на фронте. «Войну, — говорит, — солдаты выиграли, Уолтер. И нечего себе голову всякими фантазиями дурить».

Он, оказывается, считает, что все эти воспоминания про войну, которые написаны теми, кто не был на фронте, — жульничество одно, чтобы создать впечатление, будто говоруны и газетные краснобаи вкупе с салонными болтунами сделали что-то для победы, хотя победу добывали воевавшие.

Телефон в холле зазвонил. Слуга, снявший трубку, сообщает Клюзу: это — вас, вы вот с того аппарата на столике для кофе, который перед вами, поговорите. Черно-белый такой аппарат из пластика, в форме Снупи, знаменитой собаки из комикса, который называется «Орешки». Издательство, которое этот комикс печатает, подчинено корпорации РАМДЖЕК, тому самому отделу, куда меня начальником определят. Чтобы по такому аппарату разговаривать, как я вскоре выяснил, надо собаке в брюхо говорить, а ее нос себе в ухо засунуть. Ну, и почему нет?

Звонила из дома жена Клюза Сара, старая моя приятельница. Она только что вернулась с дежурства, нянькой при пациенте сидела, и видит его записку: где он, что делает и как с ним связаться по телефону.

Он ей сказал, что вот и я тут рядом, а она, похоже, ушам своим не поверила. Просит: трубку ему передай. Клюз и протянул мне эту пластиковую собаку.

— Привет, — говорю.

— Быть не может! — говорит она. — Ты что там делаешь?

— Пью коктейль *pousse-café* у бортика бассейна.

— Представить себе не могу — ты и *pousse-café*!

— А вот тем не менее.

Спрашивает она, как это мы с Клюзом встретились.

Ну, я рассказал.

— Мир тесен, Уолтер, ох, до чего тесен мир. — И допытывается, сказал мне Клюз или не сказал, какую я им хорошую службу сослужил, дав против него показания.

— Знаешь, чокнулись вы, по-моему, — говорю.

— Что мы, по-твоему?

— Чокнулись. — А она и слова такого не слыхала. Пришлось объяснять.

— Я такая глупая, — говорит. — Ничего не знаю, Уолтер. — По телефону голос у нее был совсем как прежде. Как будто снова тысяча девятьсот тридцать пятый год настал, и поэтому особенно меня кольнуло, когда она сказала:

— О Господи, Уолтер! Нам с тобой уже за шестьдесят, ты подумай! Время летит — ужас просто.

— Да что толковать, Сара.

Пригласила она меня вместе с Клюзом к ним вернуться поужинаем, а я в ответ: охотно бы, только не знаю, как тут у нас все сложится. И спрашиваю: живешь-то ты в каком районе?

Оказывается, у них с Клюзом квартирка на цо-

кольном этаже того самого дома, где бабушка ее жила, — в Тюдор-сити. Спросила она, помню ли я бабушкины апартаменты, слуг этих дряхлых, мебель, от которой во всех четырех комнатах было не протолкнуться?

Помню, говорю, и начинает нас разбирать смех.

Я не сказал ей, что у меня сын тоже живет в Тюдор-сити. Потом выяснилось, что она-то прекрасно про это знала, и про жену его, и про детишек приемных — у Станкевича из «Нью-Йорк таймс» в том же доме квартира, всего тремя этажами выше той, которую Клюз с Сарой занимают, и всем жильцам прекрасно семейка моего сына известна, потому что дети ведут себя просто кошмарно.

Хорошо, говорит мне Сара, что мы еще смеяться не разучились после всего, что пришлось вынести. «Чувство юмора сохранили, говорит, — и на том спасибо». Вот и Джули Никсон то же самое сказала, когда ее папу из Белого дома попросили: «Чувство юмора ему не изменяет».

— Да, — согласился я, — по крайней мере хоть с юмором все у нас в порядке.

— Послушайте, официант, как это у меня муха в супе оказалась?

— Что? — переспрашиваю.

— Муха у меня в супе оказалась.

И напоминает мне: помнишь, мы с тобой по телефону все шутками обменивались, вот и эта все время у нас была в ходу. Я напрягся. Как же ответить-то полагается, ах ты, Господи, телефонные эти наши разговоры, словно машина времени в прошлое доставила. Ну и отлично — она меня из тысяча девятьсот семьдесят седьмого года перенесла в четвертое измерение.

— У нее соревнования — заплыв на спине, мадам, — говорю.

— На спине? А что это у вас за суп такой с гробами?

— Опечатка в меню, мадам, извините. Должно быть: с грибами.

— Почему сметана такая дорогая?

— Туда сливок много идет, мадам, а коровам, понимаете, неудобно в бутылочки эти доиться.

— Что за напасть, все мне кажется, будто нынче вторник, говорит она.

— Нынче и есть вторник.

— Ах, вот почему мне так кажется! Скажите, пожалуйста, а расстегаи у вас не подают?

— Сегодня не пекли, мадам.

— Жаль, мне вот все снилось, как я расстегаем

закусываю.

— Приятный, должно быть, сон, мадам.

— Жуткий! — говорит. — Все расстегаи, расстегаи — проснулась, а пижама на полу валяется.

В четвертое измерение ей еще как нужно было сбежать, не меньше, чем мне. Потом я узнал: у нее, оказывается, в тот вечер пациентка умерла. А Саре она очень нравилась. И было пациентке всего тридцать шесть лет, только сердце совсем никуда ожиревшее, расширенное, слабое.

Представляете себе, какие чувства при нашем разговоре испытывал Клюз, сидевший напротив? Я, помните, напрягся, глаза прикрыл и до того из времени выключился да в иное пространство перенесся, словно мы с его женой прямо у него на глазах любовью занимаемся. Конечно, зла он на меня не держал. Вообще ни на кого зла не держит, как бы скверно с ним ни обходились. Но не очень-то приятно было ему наблюдать, как у нас с Сарой, пока по телефону говорили, старая любовь оживает.

Вы хоть что-нибудь встречали столь же неистребимое и многоликое, как супружеская неверность? Такого нигде больше в подлунном мире не найдешь.

— Хочу на диету сесть, — говорит Сара.

— Могу дать тебе совет, как в минуту сбросить двадцать фунтов лишнего жира.

— А как?

— Голову себе отрежь, — говорю.

Клюзу-то лишь мои слова слышны, оттого шутку никак не ухватит — то конец, то начало. А тут все вместе важно.

Спрашиваю, помнится, Сару, по-прежнему ли она закуривает в постели после близости.

Клюз не знал, что она ответила, а ответила она вот как:

— Не знаю. Внимания не обращала. — И тут же ко мне пристает: — А ты чем занимался, пока в официанты не пошел?

— Вычищал птичий помет из часов с кукушкой, — говорю.

— Вот скажи-ка тогда, почему в птичьих какашках беленького много?

— Беленькое, не беленькое, какашки они какашки и есть, сказал я. — Ладно, сама-то ты чем занимаешься?

— На фабрике работаю, где шьют панталончики.

— Ну и как там на фабрике, хорошо за панталончики платят?

21

— Да ничего, — говорит, — жаловаться не буду. Тысяч десять в год получается. — Сара кашлянула, подав мне условный знак, который я не сразу понял.

— Кашляешь ты сильно, — говорю, не подумав.

— И не проходит.

— Выпей две таблетки, ну знаешь, какие. Как раз то, что тебе нужно.

Слышу — в трубке словно бы водичка буль-буль-буль. А потом она спрашивает: от чего таблетки-то?

— Слабительное, — говорю, — самое эффективное слабительное, какое медики выдумали.

— Слабительное!

— Ага, — говорю, — сиди теперь, не шелохнись, не покашляй.

И еще мы вспомнили шутку про больную лошадь, которая будто бы у меня в конюшне стоит. На самом-то деле никогда лошадей у меня не было. Стало быть, иду к ветеринару, и он мне дает полфунта красного порошка, который нужно скормить лошади. Говорит: вы трубочку из бумаги сверните, засыпьте туда порошок, трубочку в

рот ей вставьте и дуйте, пока в горло не попадет.

— Как лошадка-то? — спрашивает Сара.

— Все в порядке с ней, вылечил.

— А вот ты что-то весь красный.

— Так она сначала поперхнулась.

Любопытно ей:

— Еще не разучился смеяться, как твоя мать смеялась?

Это без всяких подковырок было сказано. Саре действительно нравилось, как я подражаю смеху мамы, и по телефону я часто это делал. Только уже много лет не пробовал. А нужно не просто тоненький голос сделать, нужно, чтобы звук получился красивый.

Тут вот в чем сложность: мама никогда не смеялась громко. Когда еще служанкой была в Литве, ее приучили тихонько в кулачок посмеиваться. Считалось: услышит хозяин или гость, как где-то слуги хохочут, и, чего доброго, решит, что это над ним.

Поэтому у мамы, если ее совсем уж одолевал смех, получались едва слышные чистые такие звуки, словно крутят музыкальную шкатулку или колокольчик вдали послышался. Удивительно красиво это выходило, хоть она вовсе и не старалась.

И вот, позабыв, где нахожусь, я набрал в легкие воздуха, сдавил себе горло и воспроизвел, как смеялась мама, — очень уж хотелось старой моей подруге приятное сделать.

Как раз в эту минуту вернулись из библиотеки Арпад Лин с Фредом Убриако. Еще успели мою руладу услышать.

Говорю Саре: извини, не могу больше с тобой разговаривать, и трубку повесил.

Арапад Лин уставился на меня тяжелым взором. Приходилось мне от женщин слышать про то, как мужчины мысленно их раздевают. Сейчас вот и у меня появилось такое чувство. Потом я узнал, что именно это и происходило: Арпад Лин пытался себе представить, как я выгляжу, если одежду снять.

У него мелькнуло подозрение, что я на самом деле миссис Джек Грэхем, которая, переодевшись мужчиной, явилась его проверять.

22

Конечно, не мог я это там же, на месте сообразить — что он меня за миссис Грэхем принимает. И когда он стал мне разные знаки внимания оказывать, для меня это было столь же необъяснимо, как остальные события, происходившие в тот день.

Опасаться начал, что он такой со мной предупредительный, потому как готовится объявить нерадостную новость: не гожусь я для корпорации РАМДЖЕК, работы нет, и сейчас его лимузин доставит меня обратно в отель «Арапахо». Но если так, что-то уж слишком много страсти в его взорах. Из кожи вон лезет, только бы мне понравиться.

Не Исраела Эделя, не Леланда Клюза, нет, меня он считает нужным информировать, что Фрэнк Убриако сделан вице-президентом объединения «Макдоналдсы. Гамбургеры», входящего в РАМДЖЕК.

Я кивнул: очень разумно, мол.

А Лину мало, что я просто кивнул.

— Отличный пример, когда должность и человек просто созданы друг для друга. Вы не на-

ходите? Ведь наша корпорация, скажу я вам, для того и существует, чтобы талантливый человек мог всего лучше свои способности использовать.

Обращался он исключительно ко мне, так что мне пришлось буркнуть: конечно, конечно.

И то же самое повторилось после того, как он побеседовал с Клюзом, потом с Эделем, обоих приняв на службу. Клюз стал вице-президентом спичечного концерна — видимо, по той причине, что долго спичками вразнос торговал. А Эдель сделался вице-президентом хилтоновского отдела ассоциации «Гостеприимство, лимитед» — вероятно, оттого что три недели пробыл ночным портье в отеле «Арапахо».

Вот и моя очередь в библиотеку отправляться. «Хоть вы приглашены последним, но на самом-то деле для нас вы самый первый», — говорит Лин заискивающе. А когда дверь в библиотеку за нами закрылась, совсем уж разошелся с этими своими заигрываниями. «Заходи попить чайку, сказала муха пауку», мурлыкает. И подмигивает мне: дескать, вы же понимаете.

Мне это все очень не нравилось. Интересно, как он с другими в библиотеке своей разговаривал?

Стол там был, какой как раз бы подошел для кабинета Муссолини, а рядом вращающееся

кресло.

— Присаживайтесь, — говорит, — присаживайтесь. — Брови то вверх, то вниз так и ходят без остановки. — Креслице-то самое для вас подходящее, а? Правильно говорю? Самое подходящее для вас кресло.

Думаю: смеется надо мной, точно смеется. Ничего, надо стерпеть. Уж сколько лет никакого чувства достоинства я не проявлял. Так что уж теперь-то.

— Сэр, не понимаю я, что такое происходит.

— По́лно, — отвечает и пальчиком покачал, — так уж и не понимаете.

— Но все же скажите, как это вы меня отыскали да и вообще за кого принимаете?

— А к чему вам знать, за кого я вас принимаю?

— Я Уолтер Старбек, — выдавливаю из себя.

— Старбек так Старбек, если вам угодно.

— Впрочем, — говорю, — неважно, кто я такой, раз я ничего из себя теперь не представляю. Если вы на самом деле работу можете дать, мне бы самую скромную, другой не нужно.

— У меня есть указание сделать вас вице-президентом, — сказал он, — причем указания исходят от человека, к которому я отношусь с огромным уважением. И я их выполню.

— Мне бы лучше барменом, — говорю.

— Ну конечно! — засмеялся он. — Вы же *pousse-café* любите.

— Могу сам приготовить, если потребуется. У меня диплом доктора миксерологии.

— Еще смеяться можете этак по-особенному, если захотите.

— Знаете, — говорю, — я, пожалуй, домой пойду. Не беспокойтесь, я пешком. Тут недалеко. — И в самом деле недалеко, всего-то кварталов сорок. Туфель, правда, на мне нет, но не больно они и нужны. Как-нибудь и босиком доковыляю.

— Когда домой соберетесь, — сказал он, — мой лимузин к вашим услугам.

— Да я прямо сейчас уйти хочу. Доберусь как-нибудь. День был уж очень для меня трудный. В голове шумит. Выспаться нужно, просто выспаться. Если услышите, что где-то бармен требуется, хотя бы не на полный день, дайте мне знать в отель «Арапахо».

— Актер бы из вас замечательный получился! — сказал он.

Отвернулся я, потупился. Смотреть на него противно — да и на всех остальных тоже.

— Какой там еще актер, — говорю. — Отродясь я на сцене не играл.

— Кое-что хочу вам сообщить, только не пугайтесь.

— Не понимаю, о чем вы?

— Вот все мне одно и то же твердят: вас они знают, а друг друга первый раз в жизни увидели. Это как объяснить:

— У меня работы нет, — тяну я свое. — Только что из заключения освободился. Бродил вот по городу, чтобы время убить.

— Как странно! — удивляется он. — Значит, вы в заключении находились?

— С каждым случиться может.

— Не стану допытываться, за что, — говорит он. А на самом деле, конечно, дает понять, что мне, то есть не мне, а миссис Грэхем, которая мужчиной переоделась, нет необходимости придумывать все новые и новые байки — разве что это удовольствие доставляет.

— Уотергейт, — сказал я.

— Быть не может! — Очень его это поразило. — Я вроде бы всех до одного знаю, кого за Уотергейт посадили. — Потом выяснилось, что он не просто всех по именам знал, а со многими был коротко знаком, уж куда короче, взятки им давал в виде незаконных пожертвований на избирательную кампанию и защитникам их кое-что подбрасы-

вал, когда начались процессы. — Как же это я ни разу про Старбека не слышал, хоть про Уотергейт толковано-перетолковано?

— Не знаю, — сказал я, а глаза все так же потуплены. — Такое чувство, словно я в музыкальной комедии сыграл, и критики в восторге, обо всех исполнителях взахлеб пишут, а меня забыли. Найдите старую программку, я всем свою фамилию в ней покажу.

— Отсиживали-то, наверное, в Джорджии?

— Там. — Видимо, знал об этом, потому что Рой М. Кон кое-что про меня выяснил, прежде чем в участок за мной ехать.

— Тогда с Джорджией все понятно.

А что там может быть непонятно с Джорджией, хотел бы я знать?

— Так вот где вы с Клайдом Картером познакомились, и с Кливлендом Лоузом, и с доктором Робертом Фендером.

— Угу, — говорю. И что-то страшно мне стало. С чего бы этому бонзе, который ворочает одной из самых крупных корпораций в мире, интересоваться каким-то жалким арестантиком? Или он подозревает, что я кое-что такое знаю про Уотергейт, о чем пока еще никто не пронюхал? В кошки-мышки он со мной поиграть, что ли, выду-

мал, прежде чем меня лапой своей прихлопнет?

— А вот Дорис Крамм, — говорит, — ее вы, конечно, тоже знаете?

Как хорошо, что я о ней понятия не имею! Ни в чем я не виноват, разве нет? Напрасно, значит, он против меня плел. Ошибочка у него вышла, в два счета докажу. Не знаю я никакой Дорис Крамм.

«Нет, — чуть не заорал я, — никакой Дорис Крамм я не знаю!»

— Так ведь вы же меня упрашивали не увольнять ее из компании «Американские арфы».

— Ничего подобного, — говорю.

— Извините, сам не понимаю, с чего это я.

И тут меня настоящий ужас охватил, потому что я понял, что на самом-то деле эту Дорис Крамм знаю. Так секретаршу ту зовут, старуху древнюю, которая в выставочном зале рыдала да слезы размазывала у себя за конторкой. Но не дождется он, чтобы я признался, пусть и не надеется!

А он-то знает, что я ее знаю, вот какие дела! Все он знает!

— Хочу вас обрадовать, — говорит, — я сам ей позвонил и сказал, что она может не уходить на пенсию, если не хочет. Пусть себе работает, пока не надоело. Чудненько все получилось, да?

— Нет, — отвечаю. А что тут ответишь? У меня

этот выставочный зал стоит перед глазами. И все кажется, что я там был лет тысячу назад, может быть, в какой-то другой своей жизни, еще до того, как мне на свет родиться. Там еще Мэри Кэтлин О'Луни со мной вместе была. Арпад Лин — ему же все известно — сейчас вот и ее назовет.

Весь этот кошмар, который вот уже целый час продолжается, вдруг предстал передо мной как цепь логически связанных событий. Я знаю что-то такое, чего не знает даже Лин, никто в мире на знает, кроме меня. Вообразить невозможно, но так оно и есть: Мэри Кэтлин О'Луни и миссис Джек Грэхем — одно лицо.

И тут Арпад Лин берет мою руку, подносит ее к губам и целует.

— Прошу меня извинить за то, что я угадал, кто вы такая, мадам, — говорит, — но смею думать, вы нарочно переоделись довольно небрежно, чтобы легче было догадаться. Будьте уверены, тайна останется между нами. Для меня великая честь, что наконец вижу вас перед собой.

Опять поцеловал мне руку, ту самую руку, за которую нынче утром цеплялась своими грязными пальцами Мэри Кэтлин.

— Да и давно пора было нам повидаться, мадам, — все не успокоится Арпад Лин. — Мы уж столько

лет прекрасно работаем вместе. Давно пора было встретиться.

До того мне стало противно, что меня целует этот автомат ходячий, — я и вправду как самая настоящая королева Виктория себя повел! Изъявил ему поистине королевское неудовольствие, хотя выразил его словами, всплывшими из кливлендского моего детства, когда с мальчишками мяч гонял. «Соображаешь, — говорю, — что несешь? Нашел себе бабу с яйцами!»

Говорил уже, никакого чувства собственного достоинства у меня не осталось за последние годы. А этот Арпад Лин за какие-то секунды все свое достоинство растерял, так ему и надо, ведь подумать только, этакий получился ляпсус!

Побледнел он, слова выговорить не в состоянии.

Попробовал в руки себя взять, но не очень-то у него получилось. Ему бы извиниться, так нет, уж слишком все случившееся его потрясло, куда только весь лоск да шарм подевался. И так, и сяк крутит, до истины хочет добраться.

— Но ведь вы с нею знакомы, — процедил он наконец. А в голосе смирение чувствуется, признал он для себя то, что теперь и мне становилось понятно: я-то, если захочу, посильнее его могу

сделаться.

И я все его сомнения на этот счет развеял.

— Хорошо знаком, — говорю. — Она, будьте уверены, все сделает так, как я скажу. — Это я, однако, лишку хватил. Очень уж хотелось его на место поставить.

Хотя он и без того еле на ногах стоит. Между его божеством и им самим втерся кто-то третий. Теперь самое время ему голову понурить.

— Прошу вас, — сказал он после долгой паузы, — вы, пожалуйста, замолвите за меня словечко, если случай представится.

А мне больше всего на свете хотелось теперь высвободить Мэри Кэтлин О'Луни из той призрачной жизни, в которую ее увлекли демоны сознания. Я знал, где ее отыскать.

— Слушайте, — сказал я вконец расстроенному Лину, — вы не в курсе, где сейчас можно пару башмаков купить, поздно ведь уже?

Ответил мне он так, словно вещал оттуда, где я скоро окажусь, из лабиринтов глубоко под Центральным вокзалом:

— Нет проблем.

23

И вот пожалуйста: спускаюсь в эти лабиринты по железной лестнице, предварительно удостоверясь, что никто за мной по пятам не следует. Пройду несколько шагов, остановлюсь и голос подам: «Мэри Кэтлин! Это, я Уолтер. Слышишь, Мэри Кэтлин?»

Спросите: а что на ногах-то у меня было? Шикарные кожаные туфли со шнурками, завязанными бантиком. Мне их Декстер дал, десятилетний сын Арпада Лина. Как раз мой размер. Декстеру они для танцевальной школы были нужны. А теперь он туда не ходит. Предъявил свой первый ультиматум родителям, и с успехом: или, говорит, забирайте меня из танцевальной школы, или с собой покончу. Так он эти уроки танцев ненавидел.

Миленький такой был мальчик, стоит в пижамке, а поверх купальный халат наброшен, он только что поплавал в гостиной, где бассейн. Столько сочувствия ко мне проявил, жаль ему стало старичка, которому на маленькие ножки нечего надеть. Я словно добрый эльф из сказки, а он тот самый принц, который подарил эльфу

чудесные бальные туфельки.

Красивый он необыкновенно. Глаза большущие, карие. А на голове словно черные кольца одно в другом уложены. Все бы отдал за такого сына. Хотя и то сказать, мой-то сын все бы отдал за такого отца, как Арпад Лин.

Правильно, так и нужно.

— Мэри Кэтлин, это я, Уолтер, — кричу. — Уолтер это, слышишь?

Спустился до самого конца, и тут меня ждало первое предзнаменование, что не все так уж замечательно. Сумка у лестницы лежит с надписью «Блумингдейл», а из нее тряпье вываливается, оторванная голова куклы и журнал «Вог», издаваемый корпорацией РАМДЖЕК.

Встряхнул я эту сумку, все высыпавшееся обратно затолкал, как будто больше ничего и не требуется — теперь все будет в порядке. И вдруг вижу на полу кровь. Ее-то обратно не вольешь, раз пролилась. А дальше еще кровь, и еще — всюду.

Не хочу страх на вас наводить без толку, не стану добиваться, чтобы у вас мурашки по спине забегали, пока будете читать, как я обнаружил Мэри Кэтлин с отсеченными руками, которая обрубками на меня машет. На самом-то деле ее просто сбила на Вандербильт-авеню машина с

шашечками, а от помощи врача она отказалась — не волнуйтесь, мол, пустяки.

Хотя совсем даже были не пустяки.

Тут, может быть, ирония судьбы дала себя знать, хотя в точности я этого не знаю. Но весьма, весьма вероятно, что Мэри Кэтлин сбил таксомотор из ей же принадлежащей компании.

Нос у нее был сломан, потому и пролилось столько крови. Да и похуже были переломы. Не могу сказать, какие именно. Ей же кости переломанные никто не пересчитывал.

Она в туалет забилась, в кабинку. Я по пятнам крови догадался, в какую. Никаких не было сомнений, она там или не она. Из-под дверцы кеды ее бейсбольные видны.

Ладно, спасибо еще, что труп не валяется. Прокричал я опять: «Уолтер это, чего ты боишься?» Тогда она задвижку отодвинула и открыла дверцу. Не нужно ей было по этим делам, просто сидит на стульчаке, как на табуретке. Хотя лучше бы уж по назначению попользовалась, до того чувствовала себя оскорбленной жизнью. Кровь из носа больше не идет, но вот усики у нее появились, прямо как у Адольфа Гитлера.

— Бедняжка ты моя, — говорю.

Похоже, не очень-то она и расстроилась, что

так выглядит.

— Конечно, бедняжка, — отзывается. — И мать моя была бедняжка. — Вы ведь помните, ее мать умерла от заражения радием.

— Кто это тебя так?

Она мне про это такси рассказала. Только что, говорит, отослала письмо Арпаду Лину, подтвердив все свои распоряжения, сделанные по телефону.

— Давай я скорую вызову, — предложил я.

— Нет, не нужно. Не беспокойся.

— Но тебе же к врачу надо!

— Еще чего, давно к врачам не хожу.

— Так ведь сама же себе диагноз не поставишь?

— Умираю я, Уолтер, — говорит. — Какой еще диагноз?

— Последней умирает надежда, — сказал я и уж чуть было по лестнице наверх не кинулся.

— Не смей снова оставлять меня одну! — кричит она.

— Я жизнь тебе хочу спасти.

— Сначала послушай, что я тебе должна высказать, — остановила она меня. — Сидела я вот тут, думала: Господи, после всего, что выпало пережить, после всего, чего добивалась, ни души

рядом, чтобы выслушать мою последнюю волю. Побежишь сейчас за Скорой, так не с кем будет по-английски двумя словами перебросится.

— Дай я тебя поудобнее устрою, — предложил я.

— Мне и так удобно. — В общем-то так оно и было. Тряпья на ней много всякого понаверчено, согревает. А головкой прислонилась к стенке кабины, лоскутья подушкой служат.

Обитаемое пространство вокруг нас время от времени содрогалось от грохота. Что-то еще там, наверху, умирает, а именно — железнодорожный транспорт Соединенных Штатов. Полупараличные локомотивы волокут за собой совсем парализованные вагоны — отправляются, прибывают.

— Мне твоя тайна известна, — говорю я ей.

— Какая? У меня, знаешь, очень много тайн.

Ожидал, что у нее глаза на лоб полезут от удивления, когда я ей расскажу, что знаю: ей принадлежит контрольный пакет акций РАМДЖЕКа. Глупо, конечно. Она же мне сама про это сообщила, просто я мимо ушей пропустил.

— Ты что, оглох, Уолтер?

— Да нет, все слышу, говори.

— Мало всего остального, так еще мою послед-

нюю волю во всю глотку проорать приходится.

— Зачем орать? — успокаиваю ее. — Только не хочу я про какую-то последнюю волю слушать. Ты же такая богатая, Мэри Кэтлин! Можешь целый госпиталь для себя одной нанять, если потребуется, так неужели они тебя на ноги не поставят?

— Я жизнь эту ненавижу, — говорит она. — Все, что было в моих силах, сделала, чтобы она стала для каждого лучше, да только, видно, в одиночку не больно чего добьешься. А у меня больше нет сил. Хочу уснуть, вот и все.

— Так зачем же тебе жить, как ты живешь! — возразил я. — Я вот для чего к тебе пришел, Мэри Кэтлин. Я тебя защитить хочу. Мы найдем людей, которым можно полностью довериться. Говард Хьюз,[51] когда понадобилось, нанял мормонов, потому что у них моральные принципы такие твердые. И мы тоже мормонов наймем.

— О Господи, Уолтер, — сказала она — да неужели ты думаешь, что я с мормонами мало дела имела?

— Правда?

— Да было время, когда одни мормоны меня окружали. — И рассказывает мне печальную

---

[51] Примечания: 51
Известный американский промышленник (1905–1976).

историю, до того печальную, я и не думал, что этакое на свете бывает.

Случилось это, когда она еще жила, окруженная роскошью, еще пыталась как-то своим огромным богатством пользоваться, чтобы хоть какое-нибудь в этом находить наслаждение. Странная она была, и многие все норовили снимок ее сделать, или захватить да всячески помучить — или убить. Охотно бы ее убили и из-за денег ее, и из-за связей, и просто из чувства мести. РАМДЖЕК уже очень много других компаний обобрал или пустил по ветру, даже навязывал свою волю правительству кое-каких стран поменьше да послабее.

Поэтому Мэри Кэтлин никому, кроме верных своих мормонов, не открывалась, кто она такая, и вынуждена была все время переезжать с места на место. Вот так и вышло, что однажды очутилась она в принадлежащем РАМДЖЕКу отеле в Манагуа, столице Никарагуа, на самом верхнем этаже. Там, на этом этаже, двадцать номеров люкс было, она их все и заняла. Две лестницы с этажа под нею были заложены кирпичом и замурованы, как ту перегородку со стеклянной дверью замуровали в гостинице «Арапахо». А лифт так ходил, что только одна кабинка на самый верх поднималась, и обслуживал эту кабинку лифтер из мормонов.

Считалось, что даже директор отеля не в курсе, кто это у него верхний этаж занимает. А на самом деле в Манагуа, конечно, все до одного догадывались, кто занял в гостинице верхний этаж.

И вот что произошло: она, не подумавши, как следует, решила по городу в одиночестве побродить, вспомнить захотела, как это оно обыкновенным человеком побыть, она же многие годы такого была лишена. Надела парик, затемненные очки и пошла.

Видит, в парке на скамейке сидит американка средних лет и плачет, ну, она и подсела к ней. Оказывается, американка эта из Сент-Луиса. Ее муж был пивовар, в объединении «Анхойзер-Буш» работал, которое в РАМДЖЕК входит. В Никарагуа они поехали серебряную свадьбу отметить, им в туристском бюро посоветовали езжайте в Никарагуа. И нынче утром муж ее умер от дизентерии.

Ну, Мэри Кэтлин пригласила ее к себе в отель, номер свободный — у нее же их полно было — предоставила, а мормонам велела проследить, чтобы женщину эту и тело ее мужа доставили в Сент-Луис на принадлежащем РАМДЖЕКу самолете.

Распорядилась, заглядывает в номер к своей

гостье, чтобы рассказать, что и как, а та лежит, задушенная шнурком от занавески. Особенно-то вот что ужасно: кто бы там эту женщину ни задушил, ясно ведь, что ее за Мэри Кэтлин приняли. У женщины обе руки обрублены. Так их и не смогли найти.

Мэри Кэтлин через несколько дней улетела в Нью-Йорк. И стала разглядывать в бинокль бродяжек с сумками, у нее тогда были апартаменты в гостинице «Уолдорф». Кстати, этажом выше жил генерал армии Дуглас Макартур.

Никуда она из своего небоскреба не выходила, никого у себя не принимала да и сама ни к кому не ездила. Из прислуги гостиничной никто к ней не допускался. Мормоны ей поесть приносили снизу, постель перестилали, делали всю уборку. Но все равно однажды получает она письмо с угрозами. Розовый надушенный конвертик, поверх бельишка ее дамского положен. И сказано в письме: автору известно, кто она такая, а ей придется держать ответ за то, что в Гватемале законное правительство свергли. Он, автор, весь этот небоскреб взорвет.

И тут Мэри Кэтлин не выдержала. Бросила своих мормонов, которые хоть преданы ей были, а защитить не могли. Решила самостоятельно

защищаться, напяливая на себя тряпье, которое в мусорных баках находила.

— Послушай, — сказал я, — если ты из-за денег этих такая несчастная, почему ты от них не откажешься?

— Отказалась уже! — говорит. — Когда умру, ты, Уолтер, стяни с меня кеды. В левом завещание мое лежит. Корпорацию РАМДЖЕК я завещаю законному ее владельцу — американскому народу. — И она улыбнулась. Жуткое было зрелище: человек счастлив до небес и по этому случаю ощерился распухшими деснами, из которых торчат два-три гнилых зуба.

Я подумал: умерла, кажется. Ан нет, пока еще жива.

— Мэри Кэтлин, — окликнул я ее, — ты меня слышишь?

— Не умерла еще, — шепчет.

— Побегу кого-нибудь на помощь кликнуть, ты уж не удерживай.

— Если уйдешь, я тут же умру, — сказала она. — Точно тебе говорю. Я теперь как только захочу, так и умру. Время сама могу выбрать.

— Такого никто не может.

— А бродяжки могут, — говорит. — Такая вот у нас особенность — награда за все. Когда начнем

умирать, этого мы тоже не знаем. Но уж коли начали, Уолтер, время можем сами выбрать, до минуточки. Хочешь, прямо сейчас умру, не успеешь до десяти досчитать?

— Ни сейчас, ни вообще, — сказал я.

— А тогда не уходи никуда.

Я и не ушел. А что мне оставалось делать?

— Спасибо, что ты меня обнял.

— Да я с радостью, только скажи.

— Хватит и одного раза в день, — сказала она. — Обнял сегодня, ну и спасибо.

— Знаешь, ты у меня была самая первая женщина. Не забыла, как у нас все вышло-то?

— Не забыла, как ты меня обнимал. Как говорил, что любишь. До тебя мне такого никто ни разу не сказал. Только мама все повторяла, что любит, но потом умерла.

Я снова почувствовал на глазах слезы.

— Ты не думай, я знаю, это ты просто так говорил.

— Да нет, что ты! — запротестовал я. — Господи, я ведь правда любил тебя!

— Ничего, ты не виноват, что родился без сердца. По крайней мере ты старался поверить в то, что дорого людям, у которых есть сердце, значит, все равно ты был хороший.

И перестала дышать. И глаза у нее остановились. И она умерла.

Эпилог

Но это не все. Всего никогда не бывает.

Девять часов вечера, идет к концу мои первый день на воле. Осталось еще три часа. Я поднялся наверх и сообщил полицейскому, что там, в подвале, лежит труп бродяжки с сумками.

Привык он по службе ко всему на свете, циничным стал. Ответил мне: «А еще что новенького?»

Так что, пока не явились санитары со Скорой, пришлось мне самому дежурить у тела старой моей подруги, как поступило бы любое животное, для которого порядочность не пустой звук. Скорая не спешила, знали ведь, что она все равно уже умерла. Когда они наконец приехали, тело уже остывало. По этому поводу санитары друг с другом что-то заспорили. Пришлось выяснять, в чем дело, ведь говорили они не по-английски. Оказывается их родной язык Урду. Оба они из Пакистана. По-английски еле могут связать два слова. Если бы Мэри Кэтлин не при мне умерла, а при них, они бы, конечно, сочли, что под конец у нее шарики за ролики зашли.

Подавляя рыдания, я попросил их немного рассказать, что это за язык такой — урду. И узнал,

что на урду создана литература, не уступающая никакой литературе в мире, хотя поначалу это был убогий и некрасивый язык, искусственно выдуманный при дворе Чингисхана. Сперва его с военными целями использовали. Начальники и управители отдавали на урду распоряжения, которые могли понимать повсюду в Монгольской империи. А потом уже поэты придали этому языку красоту.

Век живи — век учись.

Я сообщил полиции девичью фамилию Мэри Кэтлин. И свою настоящую фамилию тоже. С полицией дурака валять я не собирался. Но пока еще не был готов оповестить всех и каждого о кончине миссис Джек Грэхем. Последствия, можно не сомневаться, будут подобны лавине или чему-нибудь такому.

А кроме меня, на целом свете некому эту лавину спровоцировать. Только спровоцировать ее я пока еще не был готов. И во, все я тут не хитрил, как некоторые потом утверждали. Просто я от природы такой, что боюсь лавин.

Вот я и отправился к себе в отель «Арапахо», безвредный маленький эльф в чудесных бальных туфельках. Много было сегодня радости, смешавшейся с горем, много горя, перемешанного с

радостью. И эта смесь лишь начинала бродить.

В вестибюле, понятное дело, дежурил новый ночной портье, поскольку Исраэла Эделя забрал к себе Арпад Лин. Этого портье прислали из конторы, где предоставляют работников по экстренному вызову. Вообще-то постоянная его должность — портье в «Карляйле», тоже одной из гостиниц, принадлежащих РАМДЖЕКу. Вышколенный такой, форма на нем с иголочки. Видно, чуть с ума не сошел, весь вечер имея дело с потаскухами, только что выпущенными уголовниками да психами.

Он мне сразу сказал: я служащий отеля «Карляйль», а здесь я только временно. То есть не думайте, что я всю жизнь в такой компании вращаюсь.

Я ему свою фамилию сказал, а он говорит: тут вам кое-что оставили, и записка есть.

Оказалось, полиция привезла мои башмаки, изъяла разобранные кларнеты из шкафа в моем номере. А записка была от Арпада Лина. От руки написана, как и завещание Мэри Кэтлин, которое теперь лежало у меня во внутреннем кармане — вместе с дипломом доктора миксерологии. А карманы плаща набиты были всем прочим, что я из кедов Мэри Кэтлин вытащил. Оттопырились

карманы эти, словно сумки седельные.

Лин предупреждал, чтобы его записку я никому не показывал. Дело в том, что из-за всей этой суеты, когда мы у него дома были, он так и не успел предложить мне пост в корпорации. Полагает, мне больше всего подойдет тот отдел, которым раньше руководил он сам, — «Музыка для дома». В этот отдел теперь входят также «Нью-Йорк таймс», киностудия «Юниверсал пикчерс», фирма «Братья Ринглинг», система магазинов «Барнум и Бейли», а также издательство «Делл»[52] и много еще чего. Фабрика, которая делает консервы для кошек, тоже в этот отдел входит, но я пусть об этом не беспокоюсь. Ее переведут в подчинение другого отдела — «Продовольствие для всех». Фабрика эта прежде «Нью-Йорк таймс» принадлежала.

«Если вас эта работа не привлекает, — писал он, — предложим другую, которая устроит больше. Я бесконечно рад, что у нас будет сотрудничать человек, непосредственно общающийся с миссис Грэхем. Прошу передать ей мои самые теплые пожелания».

Еще был постскриптум. Там говорилось, что

---

[52] Примечания: 52

В издательстве «Делл» печатаются книги самого Воннегута.

Лин взял на себя смелость договориться назавтра на одиннадцать утра о моей встрече с неким Морти Силлсом. Адрес такой-то. Видимо, этот Силлс в РАМДЖЕКе кадрами ведает или что-то такое, подумал я. Выяснилось, что это портной.

Нет, вы подумайте, как мультимиллионер об Уолтере Ф. Старбеке заботится, посылает его к своему личному портному, чтобы одеть, как подобает безупречному джентльмену.

На следующее утро мне по-прежнему леденил душу страх перед лавиной. Денег у меня прибавилось на четыре тысячи долларов, но теперь я, строго говоря, стал вор. Мэри Кэтлин в виде стелек использовала для своих кедов четыре банкноты по тысяче долларов.

В газетах о ее смерти ничего не было сказано. Да и с чего бы? Кому это не все равно? Был некролог, посвященный пациентке Сары Клюз, той женщине с никудышным сердцем. Осталось трое детей. Муж ее месяцем раньше погиб в автомобильной катастрофе, так что дети теперь сироты.

Пока Морти Силлс снимал с меня мерку для костюма, я все думал, какой ужас, что никому нет дела, как похоронить Мэри Кэтлин. Там, у портного, был и Клайд Картер, только что до-

ставленный самолетом из Атланты. Ему тоже все шили новенькое, хотя Арпад Лин с ним еще и не встречался.

Клайд здорово трусил.

Я ему сказал: брось, все в порядке.

Ну, после ленча поехал я в морг и сказал, что беру на себя заботы о погребении. Это легко устроилось. Кому она нужна, эта ссохшаяся бродяжка? Родственников нет. Хорошо хоть я нашелся, приятель ее единственный.

Последний раз взглянул на тело. Больше в этой оболочке никто не обитает. «Никого нет дома».

Похоронная контора была по соседству, в следующем квартале. Попросил забрать тело из морга, набальзамировать, подобрать подходящий гроб. Ритуала не было. Я даже на кладбище не поехал, в Морристаун, штат Нью-Джерси, где этакий бетонный улей — крипта называется. Об этой крипте я прочел нынче утром в «Нью-Йорк таймс», где было рекламное объявление. Соты прикрыты изящным бронзовыми дверцами с именем занимающего вот этот вот ящичек.

И надо же так случиться, что гравер, который наносил имена на дверцы, года через два будет арестован за то, что вел автомобиль, находясь в нетрезвом состоянии, и при аресте его ужасно

рассмешит фамилия полицейского, который произвел задержание. Такую фамилию он встречал всего раз, в мрачной своей мастерской. Фамилия этого полицейского — он помощник шерифа округа Моррис — была, ну, вы догадались, Фрэнсис Икс О'Луни.

Этому О'Луни стало любопытно, не родственница ли ему женщина в крипте.

Полистал он в кладбищенской конторе тощую папочку с документами, выяснил, что Мэри Кэтлин доставили из нью-йоркского морга. Под предлогом выяснения, не подвергалась ли покойная арестам или содержанию в лечебнице для душевнобольных, он отослал отпечатки пальцев в ФБР.

И вот так рухнула корпорация РАМДЖЕК.

* * *

Во всей этой истории был еще один странноватый оттенок. Еще до того, как О'Луни установил окончательно, кто была Мэри Кэтлин, он влюбился в тот ее образ, который себе придумал, воображая ее в молодости. Кстати, представлял он ее себе совершенно неверно. Думал, что она была высокая, пышная, темноволосая, а на самом деле была она худенькая, маленькая ростом и

рыжая. Думал, она из недавно приехавших в Америку, была прислугой у миллионера — человека с большими странностями, жившего в особняке, по которому бродят привидения, — и что к этому миллионеру ее тянуло, но и страх разбирал, а миллионер грубо с ней обходился и довел до смерти.

Подробности эти выплыли на бракоразводном процессе, когда О'Луни уходил от жены, с которой прожил тридцать два года. Целую неделю, если не больше, про этот процесс писали на первых полосах, помещая снимки крупным планом. О'Луни к тому времени уже прославился. Газеты называли его «Человеком, который зажег красный свет перед РАМДЖЕКом», и прочее в том же роде. Жена подала в суд, утверждая, что он к ней охладел из-за призрака. Отказывался с нею спать. Перестал чистить зубы. Каждый день опаздывал на работу. Став дедом, словно этого и не заметил. На ребеночка хоть бы посмотрел.

И особенно отвратительно в его поведении вот что: даже точно узнав, как на самом деле выглядела Мэри Кэтлин, он все равно остался влюблен в ту свою фантазию.

— Никто у меня этого не отнимет, — говорил он. — Дороже у меня в целом мире ничего нет.

Слышал, его из полиции выгнали. А жена опять в суд на него подала, на этот раз хочет получить причитающееся ей с продажи прав на экранизацию его фантазии. Этакое маленькое состояние, если все подсчитать. Фильм будет снят в Морристауне, в старом особняке с привидениями. Не знаю, правду ли пишут в колонке слухов, но вроде как собираются объявить конкурсный просмотр девушек на роль молодой иммигрантки из Ирландии. Шерифа О'Луни уже согласился играть Аль Пачино, а Кевин Маккарти сыграет миллионера со странностями.

Зажился я что-то вольной пташкой, а теперь, говорят, пора мне опять садиться. Как раз в том, что я останки Мэри Кэтлин обобрал, никакого преступления не было, потому что у трупов такие же права собственности, как у недоеденных сэндвичей. Однако мои действия подпадают под разряд предусмотренных главой «Е» разряда 190.30 уголовного кодекса штата Нью-Йорк, а эта глава трактует о противозаконном сокрытии завещания.

Завещание это я спрятал в своем личном сейфе, который завел в банке Хэноверского промышленного треста, являющемся структурным подразделением корпорации РАМДЖЕК.

Попробовал вот сейчас растолковать своей собачке, что хозяину придется на некоторое время уехать, потому что он нарушил положение раздела 190.30. Понимаешь, говорю, законы для того и пишут, чтобы их соблюдать. А она ничего понять не может. Ей голос мой нравится. Что ни скажу, ей все приятно выслушать. Стоит, хвостиком помахивает.

Жил я на широкую ногу, уж не сомневайтесь. Взял ссуду под низкий процент и купил себе дом на две семьи. Акции приобрел текстильные и мебельные. Каждый вечер я то в «Метрополитен-опера», то в нью-йоркском балете «Сити-Бэлли», на лимузине туда езжу.

У себя дома устраивал дружеские вечеринки, на которые собирались пишущие музыку для РАМДЖЕКа, исполнители, а также киноактеры и звезды цирка, ну там Исаак Башевис Зингер, Майк Джаггер, Джейн Фонда, Гюнтер Гебель-Уильямс и прочие[53]. А когда РАМДЖЕК приобрел в собственность галерею Мальборо и Объединение американских живописцев, на мои вечеринки стали приходить также художники, скульпторы

[53] Примечания: 53

Среди киноактеров и рок-звезд упомянут и выдающийся еврейский писатель Исаак Башевис Зингер (1904 — 1991), лауреат Нобелевской премии.

и так далее.

Спрашиваете, как у меня в РАМДЖЕКе дела складывались? Пока я возглавлял свой отдел, руководя также различными структурами, открыто или тайно ему подчиненными, мы завоевали одиннадцать платиновых дисков и сорок два золотых плюс двадцать один Оскар, одиннадцать Национальных премий по литературе, два диплома «Американской лиги», и еще два — «Национальной лиги», и еще два — за победы в состязаниях «Всемирная серия», и еще пятьдесят три бронзовых граммофона[54], — а капитал каждый год приносил не меньше 23 процентов. Я даже ввязался в корпоративные дрязги, чтобы ни за что не допустить перевода фабрики, где делали консервы для кошек, под опеку отдела «Продовольствие для всех». Увлекательная была борьба. Осатанел, но своего добился.

Два раза мои сотрудники лишь самую малость не дотянули до Нобелевской премии. Но два лауреата у нас и так было — Сол Беллоу[55] и мистер Зингер.

---

[54] Примечания: 54

Престижные награды в шоу-бизнесе и спорте.

[55] Примечания: 55

Американский романист Сол Беллоу (род. 1915) получил Нобелевскую премию по литературе в 1976 г.

А моя фамилия — первый раз мне такая честь — появилась в «Кто есть кто». Вообще-то не Бог весть какое достижение, поскольку моему отделу подчинено объединение «Галф и Вестерн», а им в свою очередь подчиняется «Кто есть кто». Их анкету я заполнил всю, только умолчал о своем тюремном сроке и о фамилии сына, а так — все что положено: место рождения, в каком учился колледже, какие занимал должности, девичья фамилия жены.

Интересуетесь, приглашал я или нет на вечеринки сына, чтобы он мог лично познакомиться с героями и героинями своих статей? Нет, не приглашал. Может, думаете, он ушел из «Таймс», когда я сделался его начальником? Нет, не ушел. Вообразили, поди, что он мне написал или хоть по телефону поздравил? Ничего подобного. А я, по-вашему, пытался с ним установить контакт? Один раз, действительно, попробовал. Сижу я у Леланда с Сарой в квартире на цокольном этаже. Выпиваем, хотя я это не люблю и со мной такое не часто случается. И подумалось: физически я совсем рядом со своим сыном. Его квартира всего в каких-то тридцати метрах у меня над головой.

Сам бы не стал, Сара меня заставила ему позвонить.

Ну, набрал я номер. Было часов восемь вечера. Трубку снял один из моих внуков, спрашиваю, тебя как зовут?

— Хуан, — говорит,

— А фамилия как?

— Станкевич. — Кстати, по завещанию моей жены Хуану и его брату Херальдо причитались западногерманские выплаты за конфискованную книжную лавку ее отца, которую отобрали, когда Вену в тысяча девятьсот тридцать восьмом заняли немцы, произведя аншлюс, то есть захват Австрии Германией. Завещание жена давно составила, когда наш Уолтер был еще ребенком. Ей адвокат посоветовал оставить свои деньги внукам, тогда сыну налогов платить не придется. Она старалась по-умному распоряжаться деньгами. Я тогда сидел без работы.

— А папа твой дома? — спрашиваю.

— В кино пошел.

Я вздохнул с облегчением. Не сказал ему, кто звонил. Сказал, перезвоню попозже.

Что до подозрений, которые насчет меня питал Арпад Лин: ну и пусть, каждый волен подозревать, что ему угодно и сколько угодно. Указаний от миссис Грэхэм с удостоверяющими отпечатками пальцев более не поступало. Последнее было

просто письменным подтверждением, что надлежит сделать вице-президентами Клюза, меня, Убриако, Эделя, Лоуза, Картера и Фендера.

Потом наступило пугающее молчание — но ведь и прежде бывали периоды пугающего молчания. Один такой период продолжался целых два года. И все это время Лин действовал согласно мандату в виде письма, которое Мэри Кэтлин направила ему в тысяча девятьсот семьдесят первом, ограничившись единственным распоряжением: «Приобретать, приобретать, приобретать».

Самого подходящего человека она нашла для этого дела, не сомневайтесь. Арпад Лин и родился на свет для того, чтобы приобретать, приобретать, приобретать.

Хотите знать, какая была моя самая большая ложь, когда мы с ним беседовали? Пожалуйста: что я каждую неделю миссис Грэхем вижу и что она в чудесном настроении, все у нее прекрасно, и она вполне удовлетворена тем, как идут наши дела.

В судебном заседании я показал под присягой: он, по всему судя, верил мне безоговорочно, что бы я ему про миссис Грэхем ни говорил.

Если же подойти со стороны теологии, странное

у меня было с ним положение. Мне был известен ответ на все те фундаментальные вопросы, над которыми его заставляла размышлять избранная им жизнь.

Зачем ему все приобретать да приобретать? Затем, что его божеству угодно передать богатство Соединенных Штатов народу Соединенных Штатов. А где оно обретается, его божество? В Морристауне, штат Нью-Джерси. Удовлетворено оно тем, как выполняет он свои обязанности? Оно не может быть удовлетворено или не удовлетворено, оно мертво, как деревяшка какая-нибудь. Что ему дальше делать? Подыскивать новое божество, которому он станет служить.

Если подойти со стороны теологии, странное у меня было положение и с миллионами его подчиненных, поскольку для них-то он сам божество, которому положено знать, чего оно добивается и почему.

Так-то вот — а теперь то, чем владела корпорация, распродается федеральным правительством, которое наняло двадцать тысяч новых бюрократов (половина из них юристы), чтобы следили за порядком. Считается, что РАМДЖЕКу у нас в стране принадлежало абсолютно все. Поэтому многие испытывали некоторое разочарование,

узнав, что на самом деле принадлежит ему только 19 процентов, меньше одной пятой. И все равно РАМДЖЕК — истинный гигант в сравнении с другими концернами. Вторая по величине корпорация в Свободном мире владеет лишь половиной того, что было у РАМДЖЕКа. А если пять следующих объединить вместе, получится две трети РАМДЖЕКа, всего-то.

Выяснилось, что долларов, чтобы приобретать все распродаваемое федеральным правительством, полным-полно. Даже президент Соединенных Штатов поражен тем, как, оказывается, много разошлось по миру долларов за все эти годы. Получается так, словно он попросил всех без исключения обитателей нашей планеты: «Пожалуйста, подметите свой дворик, а листья присылайте ко мне».

В сегодняшней «Дейли ньюс» на внутреннем развороте помещена фотография причала в Бруклине. На причале — с акр длиной, не меньше, — навалены тюки, на вид вроде бы хлопок. А в действительности это тюки с американской валютой, доставленной из Саудовской Аравии, этакие баррели долларов, предназначенных для покупки объединения «Макдоналдсы. Гамбургеры», одного из отделов корпорации РАМДЖЕК.

Под снимком подпись: «Вернулись наконец!»

Кто счастливый обладатель всех этих тюков? Согласно завещанию Мэри Кэтлин О'Луни — американский народ.

Вам непонятно, в чем, на мой взгляд, ошибочен предложенный Мэри Кэтлин план мирной экономической революции? Хотя бы в том, что федеральное правительство вовсе не готово вести все дела РАМДЖЕКа так, чтобы была польза народу. И еще: сами эти дела по большей части затевались для получения прибыли, а нуждам народа служили примерно так же, как ураган с грозами. Мэри Кэтлин все равно что пятую часть климата народу завещала. Уж такой был у РАМДЖЕКа бизнес, что радости и трагедии обыкновенных людей значили для него не больше, чем для того дождя, который шел в ночь гибели Мадейроса, Сакко и Ванцетти на электрическом стуле. Их казнили, а дождь-то все равно шел.

Экономика — тот же безмозглый климат, и ничего более.

Неплохо подшутили над народом, вручив ему такой подарок.

На прошлой неделе в мою честь устроили прием с ужином, можно сказать отвальную. Решили

отметить мой последний полный день на службе. Происходило это событие в доме Леланда Клюза и его милой жены Сары. Они так и жили у себя на цокольном этаже в Тюдор-сити, а Сара, как и прежде, работала сиделкой по вызовам, хоть Леланд и заколачивал теперь в корпорации РАМДЖЕК около ста тысяч долларов в год. Но деньги в основном жертвуются им на программу «Приемные родители», при помощи которой оказывают поддержку детям разных стран мира, попавшим в тяжелое положение. Леланд с Сарой, если не ошибаюсь, помогают пятидесяти детям, так они говорили. У них есть письма от этих детей и фотографии, которые они всем показывают.

В глазах некоторых я теперь стал героем — необычное, знаете ли, чувство. Исключительно благодаря мне корпорация РАМДЖЕК просуществовала последние два года с лишним. Не спрячь я подальше завещание Мэри Кэтлин, и никто бы из них, явившихся на прощальный ужин, вице-президентом РАМДЖЕКа в жизни не сделался. Да мне бы и самому указали приличествующее место, впрочем, еще укажут, если только дотяну до конца свой новый срок, — стану я бродягой с сумой.

Что, опять ни цента в кармане, спрашиваете?

Точно. Адвокаты дорого мне обошлись. Да и те адвокаты, которые вели мое уотергейтское дело, пристали со счетами, не отвяжешься. Так я им и остался должен немалую сумму за их хлопоты.

Пришел на тот прощальный ужин бывший мой конвоир, а ныне вице-президент объединения «Крайслер. Автомобили и кондиционеры», входящего в РАМДЖЕК, Клайд Картер, и красивая его жена Клаудия тоже пришла. Клайд заставил всех от хохота корчиться, голосом своего троюродного братца-президента объявив, что «я никому не даю лживых обещаний», посулив снести трущобы в Южном Бронксе и так далее.

И Фрэнк Убриако тоже пришел со своей новой женой красавицей Мерилин, ей всего семнадцать лет. Фрэнку-то уже пятьдесят три. Они на дискотеке познакомились. Вроде как очень друг с другом счастливы. Она говорит, ей стало любопытно, почему у него белая перчатка на одной руке, а на другой нет, с этого и началось. Должна же она была выяснить, почему. Сначала он ей врал, что руку эту ему покалечил из огнемета коммунист-китаец во время Корейской войны, но потом сознался, что сам ее спалил, полезши за часами в кипящее масло. Они с Мерилин любят рыбок из тропических морей. Купили такой

кофейный столик в виде аквариума, и там эти рыбки плавают.

Фрэнк изобрел новый кассовый аппарат для объединения «Макдоналдсы. Гамбургеры». Все труднее становилось найти служащих, которые хорошо знают цифры, и поэтому Фрэнк клавиши эти с аппарата снял, заменив другими, на которых нарисованы гамбургеры, молочные коктейли, чипсы, кока-кола и прочее. Надо счет приготовить — официант просто пройдется пальцем по такой клавиатуре, помня, что клиент заказывал, а уж автомат сам что надо сложит и вычтет.

За это изобретение Фрэнку большую премию выплатили.

Думаю, новые владельцы из Саудовской Аравии с работы его не погонят.

Доктор Роберт Фендер, который по-прежнему сидел все там же в Джорджии, телеграмму мне прислал. Мэри Кэтлин хотелось, чтобы его тоже сделали вице-президентом РАМДЖЕКа, но никак было не вытащить Фендера из тюрьмы. Государственная измена — дело уж слишком серьезное. Клайд Картер написал ему, что я к ним в исправительную колонию возвращаюсь и по этому случаю устраивается прощальный ужин, пусть телеграмму пришлет.

А в телеграмме написано всего два слова через черточку: «Тинь-линь».

Помните, конечно, — это из его рассказа про судью с планеты Викуна, которому надо было подыскать себе новое тело, и он, добравшись до авиабазы Финлеттер, влетел в мое ушное отверстие, после чего, пока я не умру, ему придется испытывать то же, что я испытываю, и делить мою судьбу.

У Фендера судья рассказывал, что на их планете и здоровались, и прощались вот так: «Тинь-линь».

Ну, как гавайцы «алоха» говорят — тоже и здравствуй, и прощай означает.

Здравствуй, прощай. А что еще говорить-то? Наш язык явно слишком словами изобилует.

Спросил я у Клайда, не знает ли он, что сейчас пишет Фендер.

— Научно-фантастический роман про экономику, — сказал Клайд.

— А под каким псевдонимом, не говорил?

— Килгор Траут.

Моя верная секретарша Леора Бордерс тоже пришла. И муж ее Лэнс. Этому Лэнсу хирурги только что грудь отхватили. Говорит, на двести случаев приходится один такой, когда грудь уда-

ляют мужчине. Век живи — век учись.

А еще несколько моих приятелей по РАМДЖЕКу должны бы были явиться, но не решились. Почувствовали, что репутацию свою могут подмочить, выказав ко мне дружеское расположение, а значит, могут поставить под угрозу и свое служебное благополучие в будущем.

Зато прислали телеграммы кое-кто из тех, кто бывал у меня раньше на вечеринках, — Джон Кеннет Гелбрайт, Сальвадор Дали, Эрика Джонг, Лив Ульман, рок-группа «Летучие гонщики» и другие.

В телеграмме от Роберта Редфорда[56], помню, было написано «Держитесь твердо».

Ну, не то чтобы эти телеграммы посылали мне, отдавшись порыву сострадания. Сара Клюз потом призналась, что она всю неделю разным людям названивала, напоминала.

Арпад Лин просил Сару передать мне вот эти слова, только для моих ушей предназначенные: «Отличное представление». Как хочешь, так и понимай.

Кстати, ликвидация РАМДЖЕКа происходила

---

[56] Примечания: 56

Джон Кеннет Гелбрайт (род.1908) — известный экономист; Эрика Джонг (род. 1942) — писательница-феминистка; Лив Ульман (род. 1938) — шведская киноактриса; Роберт Редфорд — киноактер.

уже не под его руководством. Ему предложили пост директора Американской телефонной и телеграфной компании, которую только что приобрела новая корпорация из Монако, называющаяся БИБЕК. Пока никто толком не знает, что этот БИБЕК такое. Некоторые думают, что там всем русские заправляют.

Ладно, спасибо и на том, что в этот раз найдутся и у меня настоящие друзья, пока отсиживаю.

На столе, прямо посередине, стояла ваза с большим букетом желтых тюльпанов. Опять апрель.

За окном шел дождь. Природа меня оплакивала.

Посадили меня на самое почетное место справа от хозяйки — от Сары Клюз, сиделки нашей заботливой. Из тех четырех женщин, которых я любил в своей жизни, с нею мне всего легче обо всем на свете разговоры вести. Может, это оттого, что никогда я ей ничего не обещал и никогда ее не обманывал. Господи, а сколько всего я попусту наобещал своей матери, и бедной своей жене, и Мэри Кэтлин!

Пришел Исраель Эдель со своей не очень красивой женой Нормой. Говорю: не очень красивой — по той простой причине, что она всегда терпеть меня не могла. Не знаю уж, почему. Я ее ничем

не обидел, а уж перемена участи, случившаяся в жизни мужа, радует ее до небес. Если бы не я, так бы он сейчас и дежурил по ночам в «Арапахо». А теперь Эдели перестраивают купленный ими дом на Бруклин-Хайтс, еще бы не перестраивать — при его-то деньжищах. И все равно она на меня так смотрит, словно меня приволокла в зубах кошка с помойки. Что тут поделаешь, бывает. По-моему, у нее не все дома. С год назад выкидыш у нее был, а ждала двойняшек. Не из-за этого ли она слегка тронулась? Химия там у нее расстроилась, что ли. Как знать.

Слава Богу, хоть рядом со мной не села. Рядом села другая черненькая, Евхаристия Лоуз, красавица жена Кливленда Лоуза, бывшего шофера из корпорации РАМДЖЕК. Теперь он вице-президент отдела «Транспорт для всех». Жену его и правда так зовут — Евхаристия. Если с греческого это имя перевести, оно означает «счастливая и благодарная», не пойму, отчего люди редко дают такие имена своим дочерям. Но вообще-то мы ее Юка называем.

Она все по южным своим краям тоскует. Там, говорит, люди дружелюбнее, и непосредственнее, и проще, чем здесь. Без конца уговаривает Кливленда уйти в отставку да поселиться где-нибудь

в Атланте или неподалеку — сейчас особенно к нему с этим пристает, ведь «Транспорт для всех» перекуплен компанией «Спорт и отдых, интернешнл», а за этой компанией стоит мафия, все знают. Просто доказать не могут.

А мою фирму проглотил западногерманский концерн «И.Г. Фарбен».

— Да, кончились времена старого доброго РАМДЖЕКа, — говорю я Юке. — Можно не сомневаться, что кончились.

Подарки мне приготовили, чепуху всякую, хотя не только чепуху. Израел Эдель преподнес мне резиновую штуку в форме шарика мороженого, а внутри пищалка, — это песику моему поиграть тибетскому, который похож на швабру, только без ручки. Когда молод был, о своей собаке и думать было нельзя, до того Александр Гамильтон Маккоун не переносил собак. Так что первый раз у меня своя собачка, очень мы друг к другу привязаны, даже спит она на моей постели. Храпит сильно. Жена тоже храпела.

Я ее никогда не вязал, но мой ветеринар доктор Ховард Падве утверждает, что у нее сейчас ложная беременность, поэтому резиновый шарик вроде мороженого она принимает за своего щенка. Прячет его по разным закоулкам. По лест-

ницам таскает, схватив зубами. Даже молоко у нее по этому случаю появилось. Приходится ей уколы делать, чтобы все обошлось.

Удивительное дело, до чего всерьез заставила ее матушка-природа к этому шарику относиться с коричневой резиновой вафлей и розоватым резиновым мороженым. Все думаю: у самого-то у меня тоже ведь к кое-каким ерундовым поделкам вроде этой есть смешная сентиментальная привязанность. Хотя никакого значения это не имеет. Мы существуем без всякой цели в жизни, если ее себе не выдумаем. На этот счет у меня сомнений нет. Удел человеческий в нашей разваливающейся вселенной ни на йоту не переменился бы, если я, вместо того, чтобы жить как живу, ничем бы другим не занимался, кроме перетаскивания шарика резинового мороженого из угла в угол лет шестьдесят без остановки.

Клайд Картер с Леландом Клюзом куда более дорогой подарок мне приготовили — компьютер, который играет в шахматы. Размером он с коробку из-под сигар, но стал бы втрое меньше, если убрать ящичек для фигур. Сам-то компьютер вроде пачки сигарет, может, чуть побольше. «Борис» называется. У этого «Бориса» есть узкое длинное окошечко, которое сообщает о его ходах.

И он даже способен высмеивать ходы, которые делаю я. «Да вы что!» — читаю в окошечке, или: «В шахматы первый раз играете?», или: «Ловушку, думает, заготовил!», или: «Ферзь под ударом, смотреть надо!».

Такой вот стандартный набор шахматных шуточек. Мы такими же целый день перебрасывались с Александром Гамильтоном Маккоуном, когда много лет назад я согласился стать для него шахматной машиной, чтобы он за это послал меня в Гарвард. Если бы «Бориса» уже тогда изобрели, сидеть бы мне на каких-нибудь жалких курсах, а потом на всю жизнь стать сборщиком налогов, заведующим канцелярией склада пиломатериалов, страховым агентом или чем-нибудь в этом роде. А я вместо этого попал в Гарвард и оказался самым скверным из его питомцев после Путци Хенфштенгля, любимого пианиста Гитлера.

Хорошо еще, я успел пожертвовать Гарварду десять тысяч долларов, прежде чем адвокаты опять вытянули из меня все до последнего цента.

Пришло мне время ответить на все тосты, которые за этим прощальным ужином произносились в мою честь. Поднялся я. Спиртного-то я ни капельки не выпил.

— Я рецидивист, — говорю. Слово это, как я понимаю, значит вот что: человек, который все снова и снова совершает преступления или антиобщественные поступки.

— Отличное словцо, — отозвался Леланд Клюз.

И все засмеялись.

— Наша очаровательная хозяйка обещала, что будет еще два сюрприза, — продолжаю я.

Первый, как оказалось, — появление моего сына, который в окружении маленькой своей семьи человеческой пришел с верхнего этажа, а второй — вот он: прокрутили запись тех давних моих показаний, когда меня допрашивал конгрессмен от Калифорнии Ричард М. Никсон вкупе с другими. Пластинка была на семьдесят восемь оборотов, старая совсем. Представляете? «Мало мне других сюрпризов досталось», — пробормотал я. А Кливленд Лоуз говорит:

— Приятных-то и правда мало, старик.

— Ты это по-китайски скажи, ну-ка. — Он ведь был пленным, пожил у китайцев, если не забыли.

Что-то такое Лоуз промяукал, действительно на китайский похоже.

— А может, он кисло-сладкую свинину попросил принести, откуда мы знаем? — засомневалась

Сара.

— Конечно, где вам понять.

Тут устриц подали, и все на них накинулись, а я говорю, вот многие думают, что устрицы распаляют похоть, хотя на самом деле ничего подобного.

Все на меня зашикали, а Сара Клюз тут же мною сказанное в шутку обратила.

— Знаете, — сказала она, — Уолтер недавно двенадцать штук съел, а подействовали только четыре.

У нее накануне опять пациент скончался.

Все опять хохочут.

А мне вдруг грустно стало и досадно, до чего мы все глупые. Ведь, если разобраться, все скверно. Иностранцы, уголовники да обезумевшие от жадности другие концерны прибирают к рукам оставшееся от РАМДЖЕКа. Мэри Кэтлин народу завещала свое богатство, а оно оказалось только грудами быстро девальвирующейся валюты, да и ту растрачивают на содержание гигантской армии новых бюрократов, на гонорары юристам и консультантам, ну и так далее. А что останется, так наши политические лидеры утверждают — пойдет на покрытие процентов по национальному долгу, то есть народ получит только новые скоростные автобаны, новые здания под разные

конторы и усовершенствованные вооружения, какие он вполне заслужил.

И еще мне стало грустно оттого, что снова придется в тюрьму садиться.

Поэтому и решился я вслух осудить наше легкомыслие.

— Знаете, что в конце концов прикончит наш мир? — говорю.

— Холестерин! — сказал Фрэнк Убриако.

— Несерьезность, — сказал я. — Никто в голову не берет: что есть, что будет, а главное, как мы до такого дошли.

Израел Эдель — у него докторская степень по истории — решил, что я хочу доказать, будто мы, если такое возможно, еще глупее стали, чем были. И давай шикать да цокать. И другие к нему присоединились — шикают, цокают. Надо полагать, изображают внятные сигналы из космоса, пойманные радиотелескопами всего за неделю до нашего прощального ужина. Это была последняя сенсация, газеты так и захлебывались, даже РАМДЖЕК убрали с первых полос. А по всей стране только и знали, что шикать да цокать, вот как мы на своем ужине.

Что эти сигналы значили, никто даже предположить толком не мог. Хотя ученые заявили,

что сигналы, если они на самом деле оттуда и исходят, достигли Земли через миллион лет после того, как были посланы, а то и побольше. И если Земля ответит, разговор получится очень неспешный, уж можете не сомневаться.

Вот почему я и прекратил высказываться хоть о чем-нибудь всерьез. Отшутился и сел на место.

Ужин завершился тем, что явились — я уже говорил — мой сын с невесткой и двумя детьми, а потом была поставлена пластинка с записью моих показаний перед комитетом Конгресса в тысяча девятьсот сорок девятом году.

Невестка с детьми, похоже, ничего такого особенного не находили в том, чтобы под конец воздать должное свекру и деду, который, если разобраться, славный, в общем-то, старик, подтянут, одет со вкусом. Думаю, детям больше всего во мне понравилось, что я немножко на Санта Клауса походил.

А вот на сына глядеть было жалко. Запуганный супругой, болезненного вида молодой человек. Маленького роста, вроде меня, а толстый — почти как мать его была в последние свои годы. Да совсем облысел, хотя вот у меня до сих пор волосы еще не облетели. Лысину он, видимо, от своих еврейских предков унаследовал.

Садит сигареты без фильтра, одну от другой прикуривает. И все время кашель его разбирает. Пиджак весь в дырках прожженных. Понаблюдал я за ним, пока та пластинка крутилась, и вижу: до того нервничает, что сразу три сигареты у него в руках дымятся.

Приветствовал он меня с такой подчеркнутой формальностью, словно он немецкий генерал, который сдается под Сталинградом. Ясное дело, в его глазах я по-прежнему чудовище. Уговорили его сюда прийти, хоть он не хотел, и правильно, что не хотел, — жена с Сарой Клюз уговорили.

Худо дело.

Пластинка особого впечатления не произвела. Дети, которым давно бы уж пора спать, галдят, носятся.

Поставили пластинку, думая оказать мне честь, — пусть те, кто, может быть, ничего про это не знает, сами убедятся, до чего я был чистым юным идеалистом. Те показания, которыми я ненароком заложил Леланда Клюза, сказав, что он в прошлом коммунист, видимо, записаны на другой пластинке. Ее не запустили.

Самому мне по-настоящему интересны были только последние мои слова. Я их позабыл.

Конгрессмен Никсон интересуется: почему

я, сын иммигрантов, которых американцы прекрасно приняли, протеже американского капиталиста, относившегося ко мне как к сыну и пославшего в Гарвард, — почему это я проявил такую неблагодарность к американской экономической системе?

Ответ, который я дал, не отличался оригинальностью. Я вообще ничего оригинального собой не представляю. И я повторил то, что мой кумир Кеннет Уистлер когда-то, давным-давно, сказал в ответ на такой же примерно вопрос. Уистлер выступал свидетелем на процессе, когда рабочих обвинили в бесчинствах. Судья присмотрелся к нему и спрашивает: как это такой образованный молодой человек, к тому же из хорошей семьи, настолько прочно связал свою жизнь с пролетариями?

Позаимствованный мною и повторенный перед Никсоном ответ звучал так: «Спрашиваете, почему, сэр? А потому, что была Нагорная проповедь».

Когда пластинка кончилась, раздались жидкие аплодисменты.

А вот теперь все. Прощайте.

У.Ф.С.

Именной указатель

Агню, Спиро Т.
Адам
Адамс, Элис Воннегут
Амати, Николо

Банкер, Арчи
Барлоу, Фрэнк Икс — см. Фендер, Роберт
Бедная крошка — см. Фейли, Бонни
Беллоу, Сол
Бим, Тимоти
Бойер, Ричард О.
Бордерс, Леора
Бордерс, Лэнс
Борман, Мартин
Браун, Хейвуд
Брейди, Джим

Ванцетти, Бартоломео
Воннегут, Алекс
Воннегут, Курт-старший
Воннегут, Курт-младший

Гебель-Уильямс, Гюнтер
Гелбрайт, Джон Кеннет

Гелиос
Геринг, Герман
Гибни, Питер
Гилберт, Уильям
Гиммлер, Генрих
Гитлер, Адольф
Голсуорси, Джон
Горгона
Горький, Максим
Грант, Роберт
Грант, Улисс С.
Грейтхаус, Верджил
Гросс, Георг
Грэхем, Джек-младший
Грэхем, Джек — вдова
Гувер, Герберт
Гудини, Гарри
Гюго, Виктор

Дали, Сальвадор
Данте, Алигьери
Дарвин, Чарльз
Денни, Кайл
Джаггер, Майк
Джервис, Колин
Джервис, Нэнси Хоукенс (Мать)
Джонг, Эрика

Диллинджер, Джон
Дон Жуан
Дос Пассос, Джон
Дюрер, Альбрехт

Ева

Жанна д'Арк

Зевс
Зингер, Исаак Башевис
Золя, Эмиль

Иван Грозный
Идзуми
Иисус Христос
Иохансен, Нильс
Иуда Искариот

Капоне, Аль
Карл IV, император «Священной Римской империи»
Картер, Джимми
Картер, Клайд
Картер, Клаудия
Каспер, Джордж
Кинкейд, Эдвин
Киссинджер, Генри
Клейком, Ллойд Д.

Клейком, Роберт (Меднорожий)
Кливленд, Гровер
Клюз, Леланд
Клюз, Сара
Колсон, Чарлз У.
Кон, Рой М.
Крамм, Дорис

Ларкин, Эмиль
Леб, Ричард
Леонардо да Винчи
Леопольд, Нэтен
Ли, Роберт Ф.
Ливингстон, Давид
Лин, Арпад
Лин, Декстер
Линдберг, Чарлз Август
Лорел, Стэн
Лоуз, Евхаристия
Лоуз, Кливленд
Лоуэлл, Лоуренс Э.
Льюис, Джон Д.
Льюис, Синклер

Мадейрос, Селестино
Макартур, Дуглас
Маккарти, Джозеф Р.

Маккарти, Кевин
Маккоун, Александр Гамильтон
Маккоун, Джон
Маккоун, Дэниел
Маккоун, Клара
Маккоун, Элис Рокфеллер
Маркаччо, Майкл Д.
Маркс, братья
Маркс, Карл
Матфей
Мерлин
Милланд, Рей
Миллэй, Эдна Сент-Винсент
Митчелл, Джон Н.
Морейс, Херберт М.
Муссолини, Бенито

Нерон
Никсон, Джули
Никсон, Ричард М.
Ницше, Фридрих

О’Луни, Мэри Кэтлин — см. Грэхем, Джек — вдова
О’Луни, Фрэнк Икс
Онассис, Джеки
Офелия

Падве, Говард
Пачино, Аль
Персей
Пиаф, Эдит
Пил, Дельмар
Понтий Пилат

Райли, Джеймс Уитком (Кукурузный бард)
Рассел, Лилиан
Ревир, Пол
Редфорд, Роберт
Ривера, Джерри Ча-Ча
Робин Гуд
Рокфеллер, Джон Д.
Роллан, Ромен
Рузвельт, Франклин Делано

Сакко, Данте
Сакко, Инес
Сакко, Никола
Салливен, Артур
Саломея
Сальседо, Андреа
Санца, Карло ди
Саттон, Беатрис
Силлс, Морти
Синатра, Фрэнк

Солженицын, Александр
Соломон
Сталин, Иосиф
Станкевич, Анна Кайрис — см. Старбек, Анна Кайрис
Станкевич, Станислав — см. Старбек, Станислав
Станкевич, Уолтер Ф.
Станкевич, Херальдо
Станкевич, Хуан
Старбек, Анна Кайрис
Старбек, Станислав
Старбек, Уолтер-младший — см. Станкевич, Уолтер Ф.
Старбек, Уолтер Ф.-старший
Страдивари, Антонио
Страттон, Сэмюел У.
Стэнли, Чарли Мортон

Тейер, Уэбстер
Толстой, Лев
Томас, Норман
Тор
Траут, Килгор — см. Фендер, Роберт
Трумэн, Гарри Г.
Тутанхамон

Уайет, Редфорд Олден
Уайет, Сара — см. Клюз, Сара
Убриако, Мерилин
Убриако, Фрэнк
Уинклер, Кермит
Уистлер, Генри Найлс
Уистлер, Кеннет
Ульман, Лив
Уокер, Шелтон
Уэллс, Герберт Джордж

Фаэтон
Фейли, Бонни — см. Бедная крошка
Фендер, Роберт
Фиглер, Джон
Фонда, Джейн

Харди, Оливер
Хелмс, Ричард М.
Хенфштенгль, Путци
Хитц, Бенджамен Д.
Холдмен Х.Р.
Хьюз, Говард
Хэпгуд, Мэри
Хэпгуд, Норман
Хэпгуд, Пауэрс
Хэпгуд, Уильям

Хэпгуд, Хатчинс

Черчилль, Уинстон
Чессмен, Кэрил
Чингисхан

Шапиро, Бен
Шевалье, Морис
Шиллер, Фридрих
Штрелиц фон, Артур
Шоу, Бернард

Эдель, Исраел
Эдель, Норма
Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид
Эйнштейн, Альберт
Эрлихман, Джон Д.

Курт ВОННЕГУТ

Курт Воннегут — уникальная фигура в современной американской литературе. Трагикомические произведения писателя, проникнутые едкой иронией и незаурядным юмором, романы, фантастика и гротеск в которых неотличимо переплетены с реальностью, сделали Воннегута одним из самых известных прозаиков XX века.

«Рецидивист» — роман, в определенной степени знаковый для позднего творчества Курта Воннегута — писателя, чье владение фирменным сказовым стилем достигает истинного совершенства.

Перед вами — умная, тонкая и блистательная книга, обладающая, помимо всех вышеперечисленных, еще одним достоинством, — здесь Воннегут продолжает историю одного из самых обаятельных героев своей ранней прозы.

www.elkniga.ru
ISBN 978-5-17-062516-1
9 785170 625161

■ КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ■